

БИБЛИОТЕКА «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОГО РОМАНА»

АБДУЛЛА КАХХАР
ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА



АСКАД МУХТАР
РОЖДЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА 1967

АСКАД МУХТАР

РОЖДЕНИЕ

РОМАН

Авторизованный перевод с узбекского
Алексея ПАНТИЛЕВА

Послесловие
М. СУЛТАНОВОЙ, М. ПРОТАСОВОЙ

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Молодость ездит в открытых кузовах грузовиков, в общих вагонах для курящих.

В общем вагоне вся жизнь на виду. Тесно, шумно, весело. Легко знакомишься, люди откровенны, особенно если людям чуть больше или чуть меньше двадцати и многие твои ровесники. Соль и табак здесь, как у солдат, из общего котла. Хочешь спать — спишь, хочешь петь — поешь. А колеса стучат и стучат, подобно сердцу, оставляя позади километры «дальнего следования».

В Ташкенте была пересадка. Она длилась полсуток, но столицы так и не увидели. Начальник партии Потчаев кудахтал, точно насадка, боясь выпустить из-под крыла хоть одного своего птенчика... Затем *строители* собрались в одном вагоне.

Строителями они назывались потому, что ехали на стройку. Ехали со всех четырех сторон света, из самых отдаленных районов республики. Но никто из этих парней еще ничего не построил в своей жизни, если не считать песочных крепостей и бумажных кораблей детства. Ребята, что называется, на подбор: спроси у них трудовые книжки — предъявят комсомольские путевки!

Потчаев вез их с тайной опаской, — как бы не всыпали за такие кадры. Но не подавал виду. После пересадки и он пришел из тихого купейного в общий вагон — побыть со «своими людьми».

Сперва его не заметили, хотя он начальственно откашлялся у двери, поправляя на животе ремень с богатым набором под серебро и забывая, что тут и места на полках и отношение друг к другу — без плацкарт.

В середине вагона на узкой боковой верхней полке сидел, скрестив под собой ноги, юноша из Бухары по прозвищу Лукмонча.

На его стриженном затылке остроконечная пестрая ковровая тубетейка, на носу толстые роговые очки. Лоб выпуклый и чистый, как у ребенка, на висках блестят капельки пота — от жары и вдохновения.

Паренек невысок ростом, тощ, костляв и нескладен, как куст саксаула. Зато в серых его глазах — бездымный пламень. Он из тех, которые замолкают, когда заходит речь о составе бетона, и разливаются соловьем, когда дело касается состава атмосферы Марса.

Поэтому его, Рахима Лукманова, и прозвали в вагоне Лукмончой. Был на востоке в древности легендарный врач-энциклопедист Лукмон. Лукмонча — значит Лукмон-младший, Лукменыш...

— Так вот, дорогие мои братцы среднеазиатцы! — говорил Лукмонча, и его все слушали. — Надо понять, куда мы едем. — Он взмахнул рукой, задел за ребро вентилятора и, замычав от боли, стал сосать ушибленное место. — Вот что надо понять. Для меня это не стройка — новая земля, как для Колумба Америка или... как Земля Санникова!

— Чего-чего? — переспросили с нижней полки.

— Земля Санникова, которую академик Обручев сам выдумал... И для меня эта земля не просто горы, три тысячи шестьдесят восемь над уровнем моря. Бывают горы, знаете, ни рыба ни мясо... Моя земля — это *руда!* Да будет вам известно: на русском языке кровь, понимаете, кровь, называется рудой. Вот что надо понять...

— Все ты знаешь... — перебил лениво-насмешливый голос.

— Знаю! И говорю, что там, на той земле, и ты, и я, и он — все вы будете людьми... а если хочешь знать — кровными братьями, потому что руда — кровь! Где есть руда, все есть...

— О-о, в Грэц-ции все есть, в Грэц-ции все есть... — язвительно проговорил тот же голос, передразнивая Лукмончу, и ребята невольно засмеялись, узнав хриплые интонации актера Абдулова из кинофильма по чеховскому водевилю.

С нижней полки, потягиваясь и покряхтывая, поднялся долговязый, сутуловатый парень. У него были

сильно оттопыренные уши и редкие зубы, взгляд равнодушно-утомленный.

Среди птенцов Потчаева он один оказался столичным жителем и еще на станции в Ташкенте поразил провинциалов своей кепочкой с крошечным козырьком, рубашкой с «молнией», курткой с кожаными плечами, желтыми сапогами, от которых невозможно глаз отвести.

Все в нем было не просто, не так, как у других. Небрежная, ленивая повадка, чрезмерно вислые плечи, вяло болтающиеся руки. Сидел он развалиясь, заложив ногу за ногу и крутя вокруг пальца цепочку с ключом. Говорил усмехаясь, позевывая, и изредка ловко подергивал щекой, будто бы скрывал тик — следствие контузии или иного тайного недуга. И так и сыпал модными жаргонными словечками, дурашливыми шуточками и байками, давно надоевшими ему самому. К тому же он здорово плевался сквозь зубы — со свистом, очень метко.

В списках Потчаева он числился Самадовым, но называл себя на персидский лад — Самади, для красоты. Он был бы, пожалуй, привлекательным парнем, если б не ломался.

— Хэлло... Лукмонча! — сказал Самади, подергав щекой. — А скажи, старик, есть ли там у тебя бенгальские тигры или хоть кабаны — в общем стоящий зверь, который может выдержать взгляд человека?

— Зачем?

— Старик, я тебя не узнаю. Спроси Хемингуэя, зачем в Африке львы! Ты можешь свалить кабана одной пулей? Снять голубя с лету? Что, задумался?

Лукмонча слегка побледнел.

— Я тебе отвечу. Я могу ударить человека, который застрелит голубя... или даже воробья!

Кругом одобрительно зашумели. Самади ощерил свои редкие зубы. В словесных перепалках он собаку съел.

— Хэлло, старик, а какого ты пола? Ты имеешь представление, сколько весит мой удар правой? Вообще — кто ты такой?

— А ты?

— Я? Бывший крепостной раб школы-десятилетки. А потом вольный студент.

— Что значит вольный? Не принятый в институт?

— Конечно! Зато теперь я свободный художник в душе, искатель теплых мест на практике, человек без профессии, охотник без ружья, будущий герой стройки...

— Ты герой?

— А что? Будь покойничек, это мне по вкусу! У тебя есть профессия?

— Я лично парикмахер,— простодушно ответил Лукмонча.

Дружный хохот прокатился по вагону. Ребята были на стороне бухарца, он всем нравился, но — парикмахер... Очень смешное слово... Самади сел, скрестив руки на груди:

— Больше вопросов не имею. Сам стриженный.

У окна, на самом удобном месте, расположился, тесня соседей, крупный парень-тяжеловес. Спinoй он притиснул в угол мешок с барахлишком и едой, ногами прижал под лавкой другой узел, локтем опирался о третий, точно был привязан к ним.

Он постоянно что-то жевал, смачно причмокивая толстыми губами, тупо уставясь в одну точку круглыми сытыми глазками, похожими на пуговицы. Руки, низкий лоб его и крепкая грудь были мясисты, ворочался он на скамье, как буйвол в вязкой топи. Одет теплее всех — в длиннополное ватное пальто, сильно потрепанное, обут в сыромятные сапоги, но, видать, в узлах и мешках у него имелось к случаю кое-что и поновее и попримичнее. Одеть его в чистое, городское — видный парень.

Звали его Халдаром. Он помалкивал в своем углу, а когда открывал рот, в нем узнавали андижанца. И слов в его речи было маловато, и слова у него звучали то гортанно, то шепеляво...

— Эй, вы... ладно трепаться! — окликнул он Самади и Лукмончу, ковыряя ногтем в зубе.— Сказали бы толком... про дело: как там условия?

Самади не повернул к нему головы. А Лукмонча с веселым интересом свесился с полки:

— Трудные, брат, условия. Хорошие условия. Работать придется. Начинать придется.

— Как это — начинать?

Лукмонча поправил на носу очки:

— А так... Берешь бритву, намыливаешь бороду — и с богом!

Самади скривил губы, чтобы не рассмеяться, а Лукмонча опять сел на любимого конька.

Лукмонча вез с собой целый альбом газетных вырезок и говорил с уверенностью знатока, много раз бывавшего на стройке:

— Имейте в виду: рудное тело в Кайраккыре, например, огромное. Хватит на полвека, вернее — на шестьдесят лет! Но этот район забросили. Почему? Стали бурить — хлынули подпочвенные воды с жуткой силой. Представляете: наводнение из-под земли... Ну и разведчики-ученые махнули на то мокрое место рукой. А вот недавно нашелся смелый человек, молодой гидрогеолог, между прочим женщина, Ульяна Басова... Вот уж она показала класс!

В вагоне стало тише. Лукмонча торжественно развернул свой альбом.

— Пришла, посмотрела и говорит: «Мелко плаваает! Я подниму кайраккырскую руду!» И предложила свой метод. Вот ее портрет.

Альбом пошел по рукам. С газетной вырезки, вклеенной в альбом, смотрело привлекательное, скромное и серьезное женское лицо. У Ульяны Басовой были прекрасные, густые светлые волосы и строгие серые глаза. Сфотографировали ее в парусиновой шахтерской робе. По виду ей не дашь больше двадцати пяти, — улыбка доверчивая, как у девчонки, но во взгляде прокрадывается нечто такое, что не располагает к особой фамильярности. Парни почтительно цокали языками. Лишь Самади не оробел:

— Ничего бабеч! Первый сорт, но не экстра!

— А что ты, что ты понимаешь? — вспылал Лукмонча.

— То, что тебе не снилось, старик. Правда, цирюльники соображают в женском поле, но не из колхозной цирюльни, милый мой.

Халдар дольше других не выпускал из медвежьих лап альбома, и от его пальцев остались жирные отпечатки.

— М-да, — изрек он наконец, — загребла, наверное, денег гору... За это во как платят... аккордно! Руды — на полвека, а деньжищ — на век.

Самади томно глянул на него через плечо, сказал в нос:

— Загадка: что я за зверь? У меня что в мешке, то и в животе, что в животе, то и в голове. Длинный рубль!

Халдар вдруг со злобой заорал:

— А может, скажешь — ты не за рублем? Ты не за рублем? Врешь, знаем! Сами ученые... Нашел дурачков...

Самади скучливо отвернулся от него. Отодвинулись и остальные, отобрав альбом.

— К сведению сопляков и других избранных мира сего! — сказал Самади. — Предсказываю. Где стройка, там и газеты. Немного терпения — и будут наши портретики в спецовках ходить по рукам. Беру на себя обязательство попасть в многотиражку!

— Говорят, ни черта еще там нет, голый камень, — буркнул Халдар.

— Смотря для кого. Меня персонально ждет отель в семь этажей с цоколем в конце аллеи кипарисов, среди пышных цветов, а в отеле, в бельэтаже, — номер люкс с полированной мебелью, ванной и совершенно отдельным стульчаком, независимым от человечества.

— Брось врать!

— Не веришь? Спроси у Потчаева. Только этим он меня взял...

— А меня ждет город, — сказал Лукмонча, — город, который я сам построю!

— Ой, держите меня, — застонал Самади, — у меня схватки!.. Видели Петра Первого?

— А ты можешь мне сказать, — спросил Лукмонча запальчиво, — кто основал Новосибирск?

Молчание.

— Известный русский писатель, инженер-путеец... Гарин-Михайловский!

Услышав это, строители шумно заметались на полках, размахивая руками. Так им пришлось по душе, что Лукмонча взял верх. Кто-то свистнул, точно на стадионе. Табачный дым сизыми космами заметался под потолком вагона.

Особняком против Халдара, не говоря ни слова и, казалось, не слушая разговоров, сидел рослый худощавый парень с задумчивым мужественным лицом, как бы освещенным изнутри светлым, желтоватым загаром. Он был старше других, спокойнее и сдержаннее. Плотные сжатые губы его тверды. Видно, настойчивый, а может, гордый парень. Маленькие, тонкие усики делали его удивительно похожим на поэта Хамзу.

Халдар следил за ним сперва с подозрением. Не спит,

не ест. С места не сходит. Только курит не переставая и глаз не спускает с чужих мешков. А когда глянет на хозяина мешков, под скулами его начинают кататься желваки.

— Ты сам откуда? — спросил Халдар, не выдержав.

— Из Карши.

— Зовут как?

— Джуман.

«И похоже, — подумал Халдар, жуя, — этот тип из Кашкадарьинской долины».

— А правда, что якобы там, в горах, крепко платят? Хорошие, говорят, деньги... Болтают? А?

— Не знаю.

— Видно, у тебя своих полно, если не знаешь... набиты карманы! — Халдар ткнул двумя пальцами в ноги Джумана. — А может, тут хранишь для верности? За голенищем... Едешь — не взять, а потратить? А?

Джуман не ответил.

— Понятное дело, — проговорил Халдар, облизывая губы. — Коли ты это скрываешь, значит, другом не будешь.

Джумандохнул ему в глаза табачным дымом:

— Тебе — другом? Я думаю — вряд ли.

— Э, нужен ты мне! — буркнул Халдар и грубо взмахнул увесистой ладонью перед самым носом Джумана.

Но Джуман мгновенно перехватил ее на лету и так стиснул толстые потные пальцы, что Халдар, мыча, отворил мясистую пасть, полную непрожеванной еды. И опять в вагоне на минуту стихло. Даже Самади удостоил Джумана несколько менее рассеянным взглядом.

— Б-больной! — пробормотал Халдар, мотая рукой.

— Угадал, — сказал Джуман вполголоса. — Сердце у меня болит.

И тотчас Лукмонча с обезьяньей ловкостью спрыгнул с верхней полки, никого не задев, перескочил через барственно вытянутые ноги Самади и осторожно подсел к Джуману.

— Слушай, брат... ты что говоришь? Почему так говоришь? Ты серьезно говоришь?

Джуман положил ему руку на плечо:

— Тебе могу сказать — да.

— Ясно. Тогда извини. Больше не спрашиваю. Точка! Гроб! — скороговоркой вымолвил Лукмонча, глядя на Джумана неотрывно, в четыре глаза.

— Отчего же, спроси,— сказал Джуман, скупно улыбаясь. Его подкупали и деликатность Лукмончи и его горячий, ребячески откровенный интерес.

— Спроси, спроси! — раздалось голоса со всех сторон.

— Валяй, стриги...— добавил Самади.

Лукмонча попытался насупиться, но выпуклый его лоб оставался гладок и чист.

— Слушай, брат, я спрошу тебя одним словом: девушка?

— Да... вроде...— ответил Джуман. И крепко, с хрипом, затянулся.

Разумеется, Лукмонче и в голову не пришло, что у кашкадарьинца тахикардия, спазмы или грудная жаба. И Лукмонча угадал, чуткая душа.

Строители исподтишка переглядывались. Никто из них еще не испытывал этой боли в сердце. Уважительный и смешливый шепоток прошелестел в коридоре. Из других купе потянулись любопытные: «Где он?», «Кто он?», «Этот вот, с усиками?»

Разговор принимал интимный оборот. Разговор терял деловой характер. И Потчаев, до сих пор терпеливо слушавший всех, почувствовал, что настал его черед.

Он поднялся с уголка скамьи, который ему уступили, чтобы он не стоял торчком и не мозолил глаза, и еще раз значительно откашлялся, давая знать о себе. В нем и по одежде можно было опознать начальство: гимнастерка, галифе, сапоги хромовые. Лицо на редкость бледное,— ночей не спит, думает... Кожа на скулах прозрачная, и, когда он волнуется, повышает голос, на ней проступают белые пятнышки ветряных лишаев. Смотрит, как полагается руководящей личности, сквозь тебя и глубже, но во взгляде что-то неверное, опасливое, ищущее. И в помине нет того, что в глазах у Басовой Ульяны на стертом сереньком газетном оттиске.

Кстати, он не бреется. На подбородке у него торчат редкие, слегка завивающиеся волосики; усы не растут. Присмотришься — он ровесник своим подопечным. Но в том-то и дело, что они комсомольцы, а он пом по комсомольской части. Пуще всего Потчаев боится, что его похлопают по плечу.

Преобразался он на собраниях. Любил и умел говорить речи.

— Дорогие товарищи! — сказал Потчаев. Голос у него был приятный, бархатный, рокочущий. — Несколько слов... Собственно, вся история комсомола состоит из мобилизаций. Юность каждого поколения шла по путевкам комсомола на те или иные фронты и участки. Мобилизовывали молодежь в Чека, на улучшение торговли, на борьбу с бандитизмом, во флот и в авиацию. На Дальний Восток, в полуночную Арктику, на Урал, в Кузнецк и на наш узбекский Чирчик, а после войны — поднимать из руин город-герой на Волге, Днепрогэс, в Каховку и в Куйбышев, на стройки коммунизма. Словом, на самые славные и трудные дела посылал комсомол своих лучших, верных талантливых сынов.

— Лекция? — тихо спросил кто-то из-за плеча Лукмончи.

А Лукмонча подумал: «И за что его невзлюбили?»

— Я хочу сказать, товарищи: ныне очередь за вами! («Мог бы сказать: за нами», — подумал Лукмонча, и ему захотелось тут же крикнуть это Потчаеву.) В каждом поколении есть свой первый эшелон — крылатая молодость, а она ищет счастье в полете, там, где трудно, где требуется воля, стойкость, упорство... Молодость принимает на себя первый удар в труде и в бою!

— Пра-авильно! — протяжно возгласил Самади, а соседу шепнул: — Не лекция... инъекция...

Потчаев со вниманием посмотрел на Самади и сдержанно, деловито, крякнул, прочищая горло, как делают опытные ораторы, пока им аплодируют.

— Взять на поверку любого из вас... Вот, к примеру, вы, товарищ, в углу... вы, вы! Как ваша фамилия?

— Сариев, — ответил Джуман, запинаясь от неожиданности.

— Вы, если не ошибаюсь, сказали: сердце болит! Может быть, допускаю, — в какой-то степени необдуманно. Далее — и не случайно — возникает вопрос о девушке. Я не хочу касаться... так сказать, задевать личные чувства... и прочее. Но позволено будет спросить: а как, Сариев, обстоит в том же вашем сердце с чувством долга?

— И с давлением крови, — вставил Самади с озабоченным видом.

Потчаев был глух, как тетерев, когда говорил речи, но пятна лишаев на его скулах загорелись белыми огоньками. Панибратских реплик он терпеть не мог.

— Не поэтому ли,— продолжал он, строго погрозив пальцем Самади,— вы не дали должного отпора товарищу из района...

— Хе! — сразу в голос перебил Халдар.— А я возьму и обратно поеду, домой... в район...

— ...и не разъяснили по-товарищески то, что следовало разъяснить... человеку,— добавил Потчаев менее зычно, глядя на Халдара покровительственно-укоризненно.— Скажите нам, Сариев: что вы думаете о своей цели?

Джуман засмеялся, словно бы от неловкости:

— По правде сказать?

— Да, конечно!

— Ничего.

Наверху кто-то фыркнул в кулак. Джуман досадливо сморщился.

— Поэтому я и хотел вас спросить: что вы думаете о нашей судьбе? Вот, к примеру, вы заключили со мной договор... Может быть, тоже в какой-то степени необдуманно... Договор — на два года. Ладно. Но почему на два года? А дальше что? Дальше куда? На все четыре стороны? — Потчаев с важностью заложил большие пальцы за пояс.— Вот и значит, что вы не чувствуете себя по-настоящему комсомольцем, строителем. На наших глазах одно поколение комсомольцев, завершив стройку в одном конце страны, с ходу, не теряя темпа, бросалось на новую стройку в другом конце. У строителя жизнь на колесах!

— На крыльях,— подсказал Самади.

Потчаев не уловил иронии.

— Вы принимаете эстафету от героев Магнитки тридцатых лет, от воскрешенного Донбасса сороковых годов, от молодежи Волги и Дона — пятидесятых. Разве это не честь, разве не счастье? Чем вы недовольны?

— Я скажу чем! — воскликнул Лукмонча, подняв руку, как на уроке в школе.

— Прошу, пожалуйста.

— Товарищ начальник, может так быть, что ты поешь песню, красивую песню, просто вдохновенно, а людей клонит ко сну?

— С-странный вопрос...

— Тогда — другой: товарищ начальник, а может так быть, что у комсомольца, в общем довольно молодого, ваших лет, вместо сердца — отдел кадров?

Потчаев растерянно огляделся, тонкие его губы задрожали от обиды. На миг он потерял свою начальственную внушительность.

— Вот когда вы... — сказал он, сильно заикаясь, — когда на вас будет возложена задача... когда вы примете на свою голову ответственность... и когда вас потянут за то, за это... а первым долгом за таких, как вы... интересующихся... вот тогда посмотрим, как запоете!

Лукмонче стало его жалко. Он не мог смотреть, как у человека дрожат губы, и готов был извиниться.

Но Потчаев повернулся и ушел, хлопнув дверью.

— Чихал я на него, — сказал Халдар.

— Пошел выпить рюмку, другую... лимонада! — сказал Самади.

— А может, он невредный парень? — подумал вслух Лукмонча.

— Говорит гладко. Я так не умею, — сказал Джуман. — А вот что он знает? Что он видел, кроме «задачи» да «ответственности»? Жил он сам «на колесах»? Мне пришлось пожить...

Это было интересно всем. В купе, где сидел Джуман, стало тесно донельзя.

— Громче давай! — крикнули из соседнего купе. — Ти-хо!

— Кто из вас, орлы, был в армии? — спросил Джуман, выпрямляясь.

Тишина.

— А я отслужил действительную... В армии здорово учат, много учат. Три года трубил в танковой части. Можно сказать, пропах бензином и железом. Ну, и научился, конечно, курить, перед девушками не тушеваться и немного слесарить, немного машину водить, в радиоприемнике провода паять без боязни, что током ударит... Вернулся я, а в районе у нас жуткая неразбериха, ничего не найдешь, никого не поймешь. Во-первых, укрупнение колхозов, во-вторых, перекраиваются два смежных района. А время самое авральное — уборка хлопка. Райком комсомола оказался на перепутье, в одной-единственной комнатке, половину занимал шкаф с бумагами, половину — кровать, на которой ночевал секретарь, новый че-

ловек. Я стал работать на хлопкозаготовительном пункте по слесарной части, и тут же меня срочным порядком кооптировали в члены районного комитета комсомола. Я и опомниться не успел... Сидим раз ночью на кровати секретаря, совещаемся. Пришло указание: выделить шестнадцать человек во главе с членом комитета на строительство большого оросительного канала. Я и вызвался добровольцем... В тот момент как я мог знать, что будет и что я с собой творю!

Джуман достал из помятой пачки и медленно раскурил новую папиросу. Все молча ждали.

— Была там одна девушка — Гюльрез. Работала в райкоме. Переписывала наши протоколы. У нее на машинке не хватало буквы «о», она печатала «с» и дописывала ей бочок от руки. Я напаял поломанную ножку, получилось, как в мастерской... Гюльрез мне руку поцеловала за это. Смешная... Между прочим, нередко мы видели ее с заплаканными глазами. Она скрывала, но мы видели. У нее отец и брат старший погибли в войну, а мать заболела от горя, слегла и не встала. Гюльрез осиротела. И вообще она была очень чуткая, всех жалела, особенно инвалидов войны. И все ее жалели и любили.

Самади отвалился на спину, сложив руки на груди. Ему уже все было ясно. Халдар в который раз принялся пересчитывать подъемные, плюя себе на пальцы.

В вагонное окно глядел мутный, пасмурный день. Стекло было забрызгано крупными каплями дождя, они наползали друг на друга и сливались в дрожащие струйки.

Джуман тоскливо посмотрел в окно, на руки Халдара и опустил голову.

— Короче говоря, мы с Гюльрез дали друг другу слово. Она колебалась, я ее уговорил. Я думал — она не верит мне или боится... Себя я считал тогда очень смелым. Гордился, что женюсь на дочери и сестре воинов, павших в бою. Мы часто подолгу говорили с ней об ее отце и брате. Они для нее были святыми и для меня тоже... Потом я уехал. Она меня провожала как родного. А когда я приехал через год, она была замужем.

Строители оторопели. Затем заговорили хором. Кто-то выругался. Все были в гневе.

— Нет, не ругайте ее, — сказал Джуман. — Она вышла за однорукого. Он намного старше ее. Пришел с фронта

без руки. Служил в одной части с ее братом. Носит золотой орден — Отечественной войны первой степени. Говорит, что брат Гюльрез умер на его руках под Токсовом, на Ленинградском фронте. Возможная вещь, конечно...

Плотно сгрудившиеся вокруг Джумана ребята неохотно, ворча, расступились. В купе проталкивался пожилой проводник со свернутыми в две трубки и сбитыми набок флажками на поясе.

— Надымили, накопили! Не вагон, кузня. Ей-богу, жаловаться на вас неохота... Остается на самого себя рапорт писать.

Лукмонча обнял Джумана за плечи, без слов крепко стиснул и полез на верхнюю полку. Долго лежал там, под потолком, закинув руки за голову, и думал над тем, что слышал. Думал: какая из жизни Джумана следует мораль? Но ничего так и не надумал.

2

К вечеру, уже в сумерках, из тамбура донеслись визгливые крики. Там шла тяжелая возня. Что-то стеклянное или жестяное грохнулось о пол и рассыпалось, звеня и дребезжа. Дверь с треском распахнулась. В вагон ворвался парнишка лет семнадцати, взлохмаченный, расхристанный. За ним гнались.

— Держи! Держи вора!

Парнишка мчался по вагону, перепрыгивая через вещи, увертываясь от тянувшихся к нему рук, выдерживая из них полы своего пиджака. Он был ловок, как бес. Еще у двери он бросил под ноги преследователям коричневый кожаный саквояж. Тот раскрылся, и из него вывалились белье, большой плоский флакон одеколona и множество бумаг, частью в папках, частью сшитых скрепками. Длиннорукий визжащий человек, выскочив из тамбура, споткнулся о саквояж и растянулся в проходе во весь рост, поверх папок и бумаг. Это был Потчаев и его бумаги.

За ним остановился, супя брови и беззвучно смеясь, проводник.

— Э-эх, дядя! И схватить не сумел...

— Где он? Где он? — снова взвизгнул Потчаев.

— Дождидается тебя на насыпи,— отозвался проводник, заглядывая в окно.— Если шею не свернул...

Парнишка исчез. Потчаев принялся подбирать бумаги.

Потрясая ими, он не переставал кричать, захлебываясь от возмущения, и теперь в голосе его не было прежней приятности и красоты:

— Надо поднять общественное мнение... вырвать с корнем беспощадно... подобные гнилые пережитки прошлого, бросающие тень, позорное пятно...

Ребята, сочувственно поддакивая, азартно жестикулируя, помогали ему складывать бумаги. Он не замечал смешинки в их глазах и еще больше распалялся...

Когда он убрался со своим саквояжем в купейный вагон, Джуман, мигнув ребятам, чтобы посторожили у дверей, сунул руку под скамью у ног Халдара и вытащил из-под нее злосчастного воришку. Джуман сам спрятал его там, схватив на бегу в охапку и распинав узлы Халдара.

— Вылезай, пережиток... Покажись, какой ты есть.

Паренек дрожал всем телом. На невымытых его щеках размазались слезы. Он был худ и черен, как обугленная щепка, но, видимо, силенкой не обижен. Смотрел на всех немирно, зло и то и дело облизывал сухие губы. Длинные его волосы были заправлены под новенькую светлую кепку наимоднейшего фасона, как у Самади. Короткий пиджачок надет на голое тело, бурое от загара и грязи.

Едва встав на ноги, он снова кинулся бежать. Но попал в руки Джумана и стал биться и изворачиваться, мыча от натуги, точно припадочный.

— Пусти! Спрыгну я...

— Убьешься, дурак.

Парнишка попытался укусить Джумана. Джуман рассердился:

— А ну, тихо! А то я тебя сам помну.

Паренек сник.

— Садись. Не трись.

Джуман толкнул его на свое место у окна и повернулся к Халдару:

— Эй ты, сытый, дай ему поесть.

Халдар волком, исподлобья, глянул на Джумана, на ребят, столпившихся вокруг, набычился, держась за

узлы, однако не посмел послушаться. Положил на столик лепешку, помидор и зеленого лука, бранясь сквозь зубы.

— Соли дай,— напомнил сверху Лукмонча.

Халдар дал.

Парнишка стал жадно есть. На хлеб закапали слезы. И у Лукмончи тоже защемило в горле.

— Как тебя звать? — спросил Джуман спокойно.

— Бек...

— Может, эмир? Настоящее имя знаешь?

Бек пожал плечами, не поднимая головы.

— Отец, мать есть?

— Отец...

— Где он?

— Кто его знает...

— А мать? Померла?

— Не знаю точно...

— Где ж она?

— Если б я знал...

— А все-таки что с ней? — спросил Лукмонча.

— Она сидела...

— Как... сидела? Где?

— Где, где! В тюрьме.

— Вот это анкетка! Люкс... — начал было Самади и умолк под взглядом Джумана.

— И давно ты этак промышляешь? — поинтересовался Халдар. Он считал себя вправе спросить свое, раз кормил даровым харчем.

— Сто лет, — ответил Бек.

— Что же, случалось грабануть большие деньги, а? Говори правду!

Бек оскалился на него, словно маленькая, ловкая, злая ласка на медведя:

— Тысячами брал! Мешками... Брезентовый мешок, а в нем пачки, пачки...

— Вре-ешь! — пропел Халдар, выпучив круглые глазки, под общий хохот.

Телеграфные столбы поплыли мимо окна медленнее, колеса застучали реже. Поезд подходил к станции.

Бек заерзал на месте, оглядываясь, облизывая губы.

Джуман тихо засмеялся:

— Что будем с ним делать, ребята? Неужели бросим?

Строители с сомнением переглядывались.

— Спроси его сперва: хочет он работать?

— Не хочет, конечно...

Бек опять затрясся, точно в лихорадке, стукнул себя кулаком в грудь:

— Не могу я... Поверьте, не могу!

— Скажи — не хочешь.

Бек опустил голову:

— Пришьют меня... за вас...

Джуман вынул из пачки папиросу, протянул ее Беку:

— На, дохни.

Бек торопливо прикурил от папиросы Джумана, затаился несколько раз подряд.

— И помни,— добавил Джуман, сбрасывая пепел в настенную вагонную пепельницу,— таких, как ты, у нас не должно быть.

— А вот я есть! Есть, понял?! — вскрикнул Бек с надрывом.

Тогда Лукмонча соскочил вниз, встал против Бека, сказал твердо, как Джуман:

— Не кричи. Чего ты кричишь? Сейчас бы ты валялся на откосе покалеченный, без памяти. И нужен был бы большой хирург, чтобы сшить тебя заново, вдохнуть в тебя человеческое сознание.— Лукмонча показал на Джумана.— Считай, что он — этот хирург. Он тебе старший брат навек! Держись за него. Не отходи ни на шаг, пока не прогонит... Теперь понял, кто ты есть?

Самади встал и хлопнул Лукмончу по спине, говоря отрубным басом:

— Цицерон! Атилла! Лукмонча Македонский!

И ребята одобрительно и дружелюбно рассмеялись.

На станции в вагон вошел проводник. Бек хотел было юркнуть под скамью. Его удержали, велели сидеть на виду.

— За тебя же, чудака, комсомол... Привыкай!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Сорок километров от станции проехали в открытом кузове пятитонки, все дальше на юг и восток от Ташкента. Отправились с песней, потом примолкли, чтобы не глотать пыль,— она стелилась за машиной, как дымовая

завеса, — а прибыли под холодным дождем, промокшие до белья. Дорога была разбита, грузовик трясло и качало, он гремел, как телега по булыжной мостовой. Час такой езды оглушает, выматывает душу. Ребята осунулись, их знобило. Но все смотрели вперед. Смотрели с нетерпеливым ожиданием: когда же появится то необыкновенное, невиданное и необозримое, что называется стройкой?

Смотрели и не видели.

Лукмонча обещал, что она будет незаурядной, большой. Судя по газетным вырезкам из его альбома, она уже развернулась от низин Сазлыкская до подоблачных Курминских хребтов, на километры и километры вширь и ввысь. И Потчаев говорил заманчиво. Земля прошита штольнями рудников, заложены обогатительные фабрики, размечены улицы будущего города... Где же все это?

Лукмонча беспокойно осматривался, протирая стекла очков. Одногорбые и двугорбые холмы печально распростерлись вокруг. Они выжжены летним зноем и кажутся безжизненными. Скучный, серый дождик подчеркивает их убогость. Сыро и холодно. Мутные, бурые ручьи распарывают овраги, выворачивая наизнанку их глинистое мясо. А дали унылые, гор не видно, они скрыты рваными кошмами туч. Ни красоты, ни величия. Вообще ничего пожегого...

Озабоченно покусывал губы и Джуман. Он служил в армии, строил канал. Но и он не знал, что большие и даже великие стройки начинаются вот с этих долгих тесных, разбитых дорог, в клубах жгучей пыли, в брызгах из грязных луж. Много позднее появляются котлованы, которые подчас годами выглядят захламленными, замусоренными, неказистыми. И словно бы в последний час внезапно вырастает из суеты кранов и машин бетонный гребень плотины, превращающий реку в море.

Впрочем, здесь и на дорогах было пока нелюдно, мало машин. И лужи еще без цветных пятен солярки и мазута.

На развилке строителей ссадили с пятитонки. Дальше пошли пешком, таща на себе вещички, вверх по крутой, скользкой тропе, к гребню пустынного увала, заслонявшему собой горизонт. Шли, растянувшись в редкую извилистую цепь, не менее часа. Самади стонал, скулил и непрерывно чертыхался на нескольких европейских и ази-

атских языках. Халдар ташил, как самосвал, свои мешки, пыхтя и отдуваясь.

Остановились у навеса с горном и наковальней, под гладкой зеленоватой скалой, словно обросшей мхом. Строители смотрели и думали: сколько этой кузне — век, два? Не ее ли именем названа вся эта местность?

Потчаев куда-то ушел, глядя на свои хромовые сапоги, вымазанные в глине по голенища.

Вдруг издалека донесся глухой грохот, похожий на несильный раскат грома.

Лукмонча вскрикнул:

— Рвут... в горах... Чует мое сердце — это аммонал! — и выбежал из-под навеса.

За ним, теснясь, устремились все. Вышел с тремя узлами и Халдар. Но горы кругом были затянуты блеклым туманом. Ничего не видно. И эхо короткое, неясное. Несколько минут стояли под незримым морозящим дождем в немом ожидании: не грохнет ли опять? И не дождалась.

Вернулся Потчаев. Сапоги его были обмыты. На плечи накинута новый, сухой плащ.

— Товарищи, пожалуйте... в пятый!

— По-жа-луйста... — шепнул Самади. — К чему бы это?

Ребята вышли на гребень увала и увидели ряд длинных приземистых бараков, крытых толем. Пятым оказался самый длинный, с тамбуром.

В нем были кирпичный пол и нары из свежооструганных, крепко пахнущих хвоей досок в два этажа, человек на шестьдесят. С непривычки показалось темновато, зато тепло, и под ногами твердый грунт! На нарах ватные матрасики, аккуратно застеленные простынями и байковыми одеялами. Простыни торчат поверх одеял белыми каймами. Подушки взбиты. Чистота, порядок... В точности как предсказывал, едуци сюда, Самади — люкс!

Только два места в пятом были заняты. На них спали после смены старожилы. Но, разумеется, они тотчас проснулись и с любопытством принялись разглядывать новеньких. Разглядев, остались довольны: прибыли свои, сверстники, народ что надо!

Пятый наполнился запахом мокрой одежды, сырым полевым воздухом, домашним жилым духом.

Один из старожилы, плечистый, мускулистый парень,

сидевший у приоткрытого окна в безрукавке, выставив из-под одеяла голые колени, окликнул Джумана:

— Эй ты, танкист в фуражке, давай ко мне, с тобой веселее будет.

— А ты сильно храпишь? — спросил Джуман, подходя.

— Сам терпеть не могу храпчивых. Первого, кто захрапит, — в окно!

— Точно.

Парень протянул руку и назвал себя Сангиным. Рукопожатие его было железным.

Видимо, он таджик. На лоб надвинута шапка густых, мелко вьющихся волос. Брови срослись на переносице. На выпуклой смуглой груди и ногах ниже колен кудрявятся волоски. Взгляд веселый и добродушный.

— Откуда вы?

— Отовсюду.

— Оно и видно. С каждого поля по ягоде. И все больше зеленые... Школяры, что ли?

— Есть и такие.

— Ладно, разберемся. Сам такой. А это что за фрукт? — спросил Сангин, со смехом глядя на Бека.

Бек держался близ Джумана, точно пес у ноги хозяина. Только прятаться он не мог отучиться. И здесь, как в вагоне, стоило хлопнуть дверью — Бек глядел под нары.

— Это мой братишка, — сказал Джуман.

— Это воришка... грязная образина! — крикнул Халдар с нар у противоположной стены барака.

Сангин босиком прыгнул на кирпичный пол и пошел к Халдару, чтобы рассмотреть его. Тот непроизвольно заслонился от него локтем, покрикивая: «Но, но, но...» Сангин отошел.

— Мой брат Бек, — повторил Джуман.

— Ну да, — понимающе проговорил Сангин, — ты — танкист, он — связист! Взаимодействие...

На этот раз и Бек рассмеялся. Глаза у Сангина сияли.

— А я вроде как нестройной. Хотел стать учителем. Люблю это дело, понимаешь, детишек вразумлять. И начал было... А весной взял и поехал — посмотреть, как жизнь учит. Пускай она мне намнет бока. От этого, говорят, в башке просветление...

— Интересно, что же ты здесь делаешь, нестройной? — спросил Джуман, разглядывая его массивный торс гиревика или борца. — Работаешь заместо подъемного крана?

Сангин вздохнул смешливо, но не особенно весело:

— Нет, исполняю обязанности бульдозера.

— Что это значит?

— Посмотришь — увидишь... Работенка общедоступная.

Джуман понял и поразился:

— Что же, тебя ничему лучшему не обучили?

— Говорят, здесь не училище.

— Кто говорит?

— Здешние учителя!

— А ты что?

— Я тебя дожидался. Что ты скажешь... — Сангин потер ладонью сизый после бритья подбородок. — Как у ребят настроение?

— Ничего, — ответил Джуман неопределенно и повел его знакомить с Лукмончой.

Где Лукмонча, там и Самади. Всю дорогу от Ташкента они препирались, опостытели друг другу, но устроились рядом.

Внезапно остро и сочно запахло чесноком. Джуман, глотнув слюну, повернулся в сторону Халдара. Так и есть! Буйвол снова принялся жевать. И что удивительно — не один. Он тоже нашел себе приятеля по вкусу.

Им оказался другой старожил пятого — Кимсан, парень из соседнего кишлака, зеленевшего в низине на другом берегу Сазлыксяя.

Парень низкорослый и невзрачный, с плоским лицом и приплюснутым носом, с неровными, выпирающими из-под верхней губы зубами, но сразу видно, что добряк и труженик, готовый постараться и в работе и для товарища. Кимсан был охотником ходить под рукой у сильных, независимых парней. Халдар показался ему таким, и он прилип к Халдару.

Все лето Кимсан работал подручным экскаваторщика, но не собирался сменить брезентовые туфли из кишлачного сельмага и пастуший чекмень, подпоясанный веревкой. Не любил он транжирить, о чем говорил всем откровенно, без утайки и стеснения.

В его кишлаке жили наполовину узбеки, наполовину

казахи, и потому Кимсан говорил с нежным казахским акцентом.

— Что ты, что ты,— внушал он Халдару и с хрустом ел его чеснок,— даже не думай и не надейся! Нет у нас в помине таких ставок. Разве что буровые мастера в горах, ну, взрывники, разные геологи... те, может, и больше выколачивают. Вон Басова У-лья-на... слышал? Она такое придумала — миллион стоит! Но все равно и нам на нашей зарплате можно... вполне можно скопить денег.

Это соображение Халдара крайне заинтересовало. Он сунул Кимсану еще чесноку.

— Копишь? — жарко спросил он, склонясь к его уху.

— А как же!

— Ты копишь?

— Я...

— И много уже — того?

— Сколько заработал, столько и того...

— И где же ты их... в сберкассе?

— Зачем! Какие тут сберкассы!

— При себе держишь?

— На себе...

— Мо-ло-дец! — сказал Халдар, ткнув Кимсана мясистым кулаком в затылок.— Вот это уважаю.

— А что? Поднакоплю еще несколько — и домой, свадьбу справлять. Меня в колхозе моя дожидается.

— Красивая?

— Спрашиваешь! Сам я, видишь, какой... а она! Одно слово — полная луна, только не в небе. Можно и солнцем назвать, только что с глазами... Первая на весь кишлак. Дочь председателя, второй год секретарь комсомольской организации, боевая!

— Надеешься, стало быть?

— Обещала: «Пойдешь на стройку — станешь человеком, а я тебя буду ждать...» Отец, правда, против.

— Улома-аешь. Это ты верно, в черепке у тебя варит: хотя невеста и дочь председателя, а жениху с пустым карманом нельзя.

— В том-то и дело.

— Копи, копи! Недоспи, недожри, а копи!

— А я что говорю!

Халдар притянул его к себе за шею:

— Ты этих-то не слушай... Прощелыги, трепачи. И того вон остерегайся, Бека... Понял мой разговор?

Джуман слышал их шелот, слов не разобрал, но смысл их уловил без труда. Этим смыслом от них разило, как чесноком.

Услышал и Бек, лежа на нарах, речи Халдара и с неистовой злостью, судорожно вытянувшись, вцепился зубами в угол подушки.

2

Распахнулась дверь. Ее отворили явно не рукой, а ногой. Грузно перешагнув через порог, вошел кряжистый, широколицый мужчина в брезентовом плаще с откиннутым капюшоном и в сильно помятой белой фуражке с большим козырьком, похожим на кетмень. За ним, а вернее — при нем, вошел Потчаев. И по тому, как вошел Потчаев, стало ясно, что мужчина в помятой фуражке здесь всем и всему начальник.

Лицо у начальника обветрено, обожжено солнцем, как у простого рабочего, и дышит бодростью, энергией, решимостью. Но заметно, особенно молодому глазу, что щеки слегка обвисли и оттого выражение рта кажется постоянно недовольным, на висках и на носу просвечивает сетка бледно-голубых жилок, и думается: уж не пьет ли он? В глазах и под глазами усталость, но не та, что у Самади, не игрушечная, а такая, в которую хочется взглядеться.

Пройдя на середину барака, он снял и бросил на стол фуражку, сел на стул лицом к спинке, опершись о нее локтями, еще более раздался вширь и стал похож на старый, коренастый тутовник. Наголо обритая круглая его голова блестела.

— Та-ак...— сказал он, оглядывая ребят.— Ну, здравствуйте. С приездом. Я Рахманкулов.

— Начальник нашего четвертого стройуправления,— добавил Потчаев.

— Хорошо ли доехали? — спросил Рахманкулов.

— Спасибо,— ответили ему хором, и Потчаев — первый.

— Замечаю, вы уже устроились. Молодцом, молодцом! Во всяком случае, встреча была не сухой...

— Осенью это не редкость,— заметил Потчаев, чтобы поняли: начальник намекает на дождь.

Ребята заулыбались.

— Но ничего, ничего, привыкнете... А? — зычно спросил Рахманкулов.

— Конечно! — отвечал один Потчаев.

— Хорошо бы сейчас баньку, — сказал Джуман. — Первым делом, как в армии.

Потчаев строго посмотрел на Джумана и сказал Рахманкулову:

— Организуем, товарищ начальник.

— Та-ак, — повторил Рахманкулов и бросил через плечо: — Сколько вас?

Потчаев развернул списки:

— Сорок семь человек.

— Какие профессии?

Потчаев начал перекличку. К общему удивлению, среди прибывших оказались и чабаны, и плотники, и пекаря, и трактористы, и сапожники, и шоферы, и киномеханики... А Халдар сказал о себе с вызовом, загибая на руке пальцы:

— У меня профессия не одна. Я заведовал магазином — это раз! Работал завхозом — это два. Потом экспедитором — это три. Был агентом по страхованию — это уже четыре...

— Хватит, хватит! — перебили его. — На все руки мастер...

Лишь Бека Потчаев не окликнул. Джуман оглянулся — на нарах Бека не было.

— Так, — сказал Рахманкулов. — Ну, вот что вам надо усвоить с самого начала: сроки нашей стройки очень сжатые. За два с половиной года мы должны сдать основные, важнейшие объекты комбината. Сейчас развернулось строительство обогатительной фабрики, основных штолен, перевалочных пунктов, железнодорожной ветки к открытому карьеру...

Лукмонча не выдержал, поднял руку:

— Товарищ Рахманкулов, постойте! А где же оно... вот это замечательное, что вы говорите?

— Что такое? — с досадой выговорил Рахманкулов.

— Я отдаю баню и десять процентов будущей зарплаты, — воскликнул Лукмонча, — только проведите меня, покажите поскорей все это?

— Правильно... Посмотреть... Интересно... — раздались голоса со всех сторон.

Рахманкулов громко расхохотался:

— Ну, милые мои, у меня четвертое стройуправление, а не бюро туризма и экскурсий!

В бараке стихло.

— Повторяю: сроки крайне сжатые. Перед нами задача — возвести комплекс рудодробилки и сортировочного цеха. Это дело мы только-только разворачиваем. А ваш участок пока еще целиком, так сказать, в организационном периоде... Нет у меня для вас начальника, вот что меня режет. Временно ставлю инженера Казимова. Ну, а поскольку участок в основном молодежный, по всем вопросам будете сноситься с моим помощником по комсомольской работе — его вы знаете...

— Зна-аем! — насмешливо крикнули сзади. Потчаев протяжно откашлялся.

— Сроки жесткие, товарищи. Они установлены правительством. Они для нас закон.— Рахманкулов исподтишка, сдержанно вздохнул, погладил ладонью бритый затылок.— Можно на вас положиться?

Теперь он смотрел почти просительно, и в голосе его прозвучала такая живая неофициальная озабоченность, что ребята разом все зашумели:

— Можно, товарищ начальник! Работать приехали! Мы не туристы...

Рахманкулов поднялся со стула:

— Так.

Потчаев быстро отставил стул в сторону.

— Субханкул Рахманкулович, я уже докладывал... В эту партию затесался преступный элемент. И что странно и непонятно — нашел организованную коллективную поддержку. Инициатор этого безобразия — Сариев Джуман.

Рахманкулов насупился.

— Где он?

— Я! — отозвался Джуман по-армейски, выступая вперед.

— Да нет... этот... как его?... мальчик...

Ребята рассыпались по бараку, стали искать Бека всем миром. И нашли его в дальнем углу под нарами. Но вытащить на свет не смогли. Он вцепился в доски, как клещ,— не отдерешь.

— Не троньте его! — вдруг закричал Джуман и растолкал ребят.

— Как его зовут? — негромко и чуть хрипловато спросил Рахманкулов.

— Бек.

Кровь медленно отлила от загорелого лица начальника. Он подошел к стулу и оперся о него.

— Откуда он?

— Кто его разберет!

— Родители есть?

— Сам не знает...

— Ну что ж, — сказал Рахманкулов, угрюмо глядя на Джумана, — под вашу личную ответственность. — И резко повернулся к Потчаеву: — Завтра с утра выделите двадцать человек на расчистку площадки под цементный склад, пятнадцать — на земляные работы, на железно-дорожную ветку, остальных — на гравий.

— Будет исполнено.

Рахманкулов коротко кивнул и пошел к двери.

Джуман едва не вскрикнул: «И это все?»

— У меня вопрос... — сдавленно выговорил он в напряженной тишине, когда Потчаев уже открыл перед Рахманкуловым дверь.

— К Потчаеву! — ответил начальник, не оборачиваясь.

Джуман растерянно взглянул на Сангина. И тот подмигнул ему, весело осклабясь.

Потчаев проводил начальника за дверь. Вернувшись, встал у стола и легонько, очень грациозно коснулся его края кончиками пальцев, точно пианист клавиатуры рояля. Он знал наперед, какие его ждут вопросы, и был готов к красноречию.

Начал Самади.

— Маленькая информация, — сказал он, выступая вперед в желтых сапогах и в одних трусах блекло-сиреневого цвета. — Если это так, а начальник три раза сказал «так», я заявляю: гуд бай! Братся за лопату и тачку у колыбели узбекской цветной металлургии! Гран мерси! Такой прелести в любом кишлаке хоть отбавляй...

— Позвольте, Самадов, — ехидно перебил Потчаев, — а что такое значит «гуд бай»? Не желаете работать? Не держим. Положите на стол подъемные до копейки и, между прочим, комсомольский билет... По-жал-луй-ста!

Самади отодвинулся, состроив оторопело-комичную гримасу.

— Пожалуйста...— беззвучно выговорили его губы.

— Тогда к чему же было спрашивать, какая у нас профессия? — спросил Лукмонча, протирая очки.

— А может, прикажете, — с изящным поклоном осведомился Потчаев, — открыть для вас парикмахерскую? С дамским залом?

Халдар открыл пасть и загоготал. Чесночный ветер пронесся по бараку. Кимсан посмотрел на дружка и после некоторого колебания хихикнул в кулак.

— Товарищ Потчаев, — сказал Джуман как бы против воли, стесняясь своих слов, — но все-таки я слесарь, имею разряд... прошу это учесть.

— Учли. У меня записано.

— И больше вам нечего мне сказать?

Потчаев выдержал эффектную паузу.

— А вас, Сариев, послали сюда не потому, что вы слесарь, а потому, что вы комсомолец. И вам, Сариев, надо бы знать, что и в бою приходится рыть окопы. И города, Сариев, начинаются не с высоких башен, а с ям под фундаменты...

Джуман без улыбки склонил голову набок и нараспев сказал Лукмонче:

— Кра-асиво говорит!

Лукмонча с полной серьезностью поцокал языком.

— Здорово красиво...— И спросил скромно: — А скажите, вообще-то нам, из пятого, доведется строить те высокие башни?

Потчаев, чрезвычайно довольный тем, как срезал Сариева, на минуту замешкался, соображая, что же вызвало такой восторг у слесаря и у парикмахера. Затем ответил, деловито сутулясь:

— Это не входит в задачу нашего четвертого стройуправления.

Ребята один за другим стали расходиться по нарам. И Потчаев, напомнив, что сегодня же все должны встать на комсомольский учет, покинул барак.

Сангин подошел к Джуману. Сангин улыбался:

— Ладно, не расстраивайся прежде времени. Завтра покажу тебе общежитие девушек. А хочешь — сейчас? Одевайся!

— И много тут их? — спросил Джуман равнодушно.

— Много ли, мало ли, а есть одна... Покажу — ска-

жешь, стоит о ней думать или нет. Пойдем. Познакомлю.

Джуман с невольным отчуждением покачал головой, лег на бок.

Кто-то грубо ткнул Сангина кулаком в бок. Сангин обернулся — Халдар. Стоит, жует, почесывая щеку.

— Чего тебе?

— Э... нашел кого звать! Он заяц в этом деле. Меня познакомь. Не бойся, не отобью! Этого добра на всех хватит...

Сангин потемнел. Добрую улыбку словно стерло с его лица.

— Ты!..— сказал он Халдару.

Тот отпрыгнул.

3

Джуман лежал и думал. И думы его были унылые, серые, как туман за узким окном.

Ребята разбрелись, расползлись по бараку. Лежат, молчат, дремлют. Каждый занят своим. Все врозь.

Настроения, которое было в вагоне, нет и в помине. Ни споров, ни интереса, ни той особенной спайки, которая возникла сама собой, когда обороняли в пути Бека от проводника и Потчаева.

Все зыбко, неустойчиво, временно. «Участок — в организационном периоде...»

Джуман на секунду смежил глаза. Но тут же беспокойно приподнялся, оборачиваясь к соседним нарам. На них, уткнув невымытый нос в подушку, лежал Бек и одним горячим и злым глазом неотрывно смотрел на Джумана.

— Ну что? Зачем спрятался от Рахманкулова?

— На кой он мне сдался!

— Срамишь меня.

— Ты сам тут не хочешь... Не нравится. Только боишься — погонят из комсомола.

— Нет, я не того боюсь, брат, совсем не того.

— А чего?

— Как бы на тебе насекомых не оказалось...

— А, юлишь, крутишь! Скажи прямо: как бы самого не зазекали. А то — выговор с предупреждением... Все вы перед начальством крутите хвостами. И ты такой же, да?

— Я... такой же, как все эти ребята, да. И еще я — кандидат в члены партии.

— Ты?

— Да, брат. А у тебя, видно, хуже, чем я думал: насекомые — в душе...

Бек стремительно вскочил, стукнулся теменем о верхние нары, упал на одно колено, рывком распахнул полы пиджачка и, выпятив голую, замызганную цыплячью грудишку с проступающими под кожей ребрами, трясаясь, дергаясь, зашептал сквозь зубы:

— На!.. на!.. Выдергивай их! И к ногтю... и к ногтю...

Казалось, он повалится, вывернется и забьется в припадке.

— Один раз на армейских учениях, — спокойно сказал Джуман, — когда взорвали цистерну с бензином, вроде бы атомную бомбу, и мы на танках пошли по тому месту... я видел труса, необразованного, темного дурачка, — он вот так же выламывался в истерике. А у тебя чтоб я больше этого не видел.

Бек запахнул на груди пиджак, тихо сел и сказал:

— Ладно.

К ним опять стягивались ребята со всех нар. Один Халдар гремел жестяной кружкой у бака с водой — поил чеснок. Кимсан мимоходом присел на корточки перед постелью Бека и так и застыл, широко открыв рот.

Бек рассказывал, что помнил, что знал понаслышке, — может, правду, а может, и выдумку...

Его мать была, как говорят, большим человеком. Она была номенклатурным работником. Ее все в городе знали. И знакомые и незнакомые с ней здоровались. А незадолго до конца войны она вдруг куда-то делась. Бек ее долго не видел. Он тогда ни шута не понимал. Под стол ходил. Приехал из командировки отец и сказал: «Твоя мать тебе не мать, она обманывала всех. С этого дня о ней ни слова, нет ее и не было!» Кончилась война, и отец привел в дом незнакомую женщину и сказал, что она Беку настоящая мать и что только теперь, к счастью, он ее отыскал.

И прежде Бек редко видел отца, чурался его и не любил. Наверное, потому, что отец постоянно был в разъездах, и потому, что первая мать его недолюбливала, а отец ее терпеть не мог. Об этом Беку говорила новая

мать. Каждый день говорила, по нескольку раз. И еще она говорила, что никто Бека не любит и все его ненавидят за то, что он помнит первую мать, самую плохую, самую подлую и безобразную на свете бабу. Новая мать была очень красивой и... Об этом Беку тоже сказали один раз, но точно.

Бек спросил, правда ли то, что он о ней слышал. Она жестоко, до кровавых полос, высекла Бека по голому заду отцовским ремнем. Остервенела, пока секла, потом отлеживалась полдня с веером на кушетке. Так он узнал, что это точно, а то, что она болтала про первую мать,— скорей всего враки. Отлежавшись, она сказала, что приедет отец и убьет Бека до смерти, неделю подряд будет бить. Этим ее словам Бек поверил и убежал из дому в чем был.

Попал он на вокзал и ночью уехал на площадке товарного вагона. Целую ночь ехал и приехал в другой город. И не запомнил, из какого города приехал. Вообще он забыл все, что было до этого. Фамилию свою забыл, чтобы не вернули его к отцу. И имя отца забыл. И свое имя. Зато он помнит все, что было после этого... до мелочи помнит. Никогда не забудет.

— Ну, а имя своей матери... неужели не помнишь? — спросил Джуман.

— Какой? Первой?

— Матери! — сердито повторил Джуман. — Сколько у человека бывает матерей?

— Ах, ее... Конечно, помню. Что спрашиваешь?

— Так, может, она уж на свободе,— вмешался Сангин. — Может, она реабилитирована, ищет тебя... Милый друг! Ты что, с неба свалился?

— Никто меня не ищет,— сказал Бек.

Сангин с силой хлопнул себя по волосатой ноге:

— А ты? Ты ее искал? Справлялся? Делал что-нибудь?

Бек махнул рукой:

— У меня с мильтонами...

— Разрыв дипломатических отношений,— добавил Самади, мотая ключом на цепочке. И осмотрелся в недоумении: а где же Лукмонча?

Уже полчаса, как Самади ощущал необъяснимое неудобство. И вот наконец понял — не слышно голоса Лукмончи.

Заметил это и Джуман. Поискал его глазами на на-
рах. Не нашел...

Лукмончи в бараке не было.

Он шел один вверх, в горы. Шел, упорно ускоряя шаг, задыхаясь от высоты, с нежно-красным, как молодая морковь, лицом, с упоенно-одержимым взглядом. Он и впрямь чувствовал себя первооткрывателем неисхоженных земель.

Дождь перестал. Туман поредел. Небо разъяснилось. И выше туманов и дождей открылись белоснежные крутые плечи и алмазные головы Тянь-Шаня, над которыми поднимаются только люди на косых дюралевых крыльях.

На далеких склонах, в поднебесье, зеленели и синели гребенчатые стены тяньшанских елей, не знающих ни осени, ни зимы. Под ними темнели каменные зевы пропастей, в которые не заглядывает солнце. Ниже, так глубоко внизу, что захватывает дух, ртутью поблескивала не то река, не то озеро, заросшее по берегам колючим кустарником, непролазным камышом.

Лукмонча с ходу лег на камни, чтобы немного отдышаться. И тут за гранью ближней скалы, прямо перед собой, неожиданно увидел котлован. Обыкновенный котлован, незаметный в горах. Гигантский котлован, метров в двадцать глубиной, с четырьмя экскаваторами на дне и цепочкой самосвалов, которые казались сверху игрушечными.

Битый камень валялся повсюду в котловане, подобно мусорным кучам на пустыре. Тяжелая серо-желтая каменная пыль, смоченная дождем, превратилась в грязь. Самосвалы грузили в ней, как в глине, визгливо газуя. Но котлован не показался Лукмонче неказистым.

Котлован был прекрасен. Экскаваторы железными ковшами подбирали камень, разворачивались всем телом, точно гуси, и сваливали его в самосвалы так, что под ним грузно оседали кузова, словно бы разом насыщаясь. В этом камне таилась руда, кровь земли, сгустки ее силы. Из котлована, как из рупора, несся слитный гул, и это был не каменный гул, машинный.

Лукмонча вскочил на ноги и огляделся как бы сызнова. И вдруг будто прозрел. Он увидел то, что хотел видеть.

На миг ему показалось, что отвесный скат противоположной горы стронулся с места и медленно пополз вбок. Он всмотрелся и увидел, что ползет лишь узкая лента, опоясывающая гору. Красная лента товарных вагонов с черными и белыми черточками платформ и цистерн.

В ближней долинке внезапно возникло крошечное яркое остроугольное пятно. Лукмонча прищурился, вглядываясь, и тихо, радостно засмеялся. Казалось, что земля ткнула ему в лицо этим пятном. Там, в долине, стоял огромный, многоэтажный дом. Там стояла башня, высокая башня!

В одном, другом, третьем месте на плоских, круглых, горбатых спинах Лукмонча различил клинообразные вышки буровых станков. Они выглядели неподвижными, даже заброшенными. Но они работали, зондируя стальными, алмазными шупами каменное чрево гор.

Потом так же неожиданно Лукмонча увидел вдали деррик-краны. Их было много. На фотографиях в газетах их решетчатые стрелы пронзают небо. В натуре они скромней. Лукмонча то находил, то вновь терял их в каменной тесноте. Пытался сосчитать и не смог.

Все, что он видел, было обыкновеннее, будничнее и незаметнее, чем он ожидал...

Но тем отчетливее и полнее им овладевало желанное, гордое, головокружительное ощущение размаха.

Повсюду он видел дороги, дороги и железные трудолюбивые руки. А сколько их в глубине, в недрах, в темных провалах штолен и шахт! Здесь хозяева горняки, подземники. И чудилось Лукмонче, что он слышит ровное, покойное биение железного сердца, мерный, редкий, могучий пульс.

Очень далеко, в открытой скалистой лощине, Лукмонча заметил красный флаг, огненно вспыхнувший в лучах предзакатного солнца. А может, ему померещилось, что он его различает... Ему повезло: он видел, как на месте, где горел флаг, тяжелым, крутым валом вздулись серые скалы и медленно-медленно поднялись в воздух, дробясь и раскалываясь, окутываясь черным облаком, которое громоздилось все выше и рваным занавесом расплзлось в стороны.

Несколько секунд Лукмонча ждал звука. И вот он ударил в уши, навалился и сдавил голову незримыми тисками и долго, мучительно долго не отпускал. Многого-

лосое эхо запрыгало по ступеням и террасам гор. Лукмонча инстинктивно открыл рот.

Затем он бросился бегом вниз, к баракам, крича и размахивая руками, зовя своих друзей. Спускаться было легче. Он скакал, как коза.

Ребята из пятого толпой бежали ему навстречу, на грохот взрыва...

Черное облако над далекой скалистой ложиной еще не рассеялось, когда они, задыхаясь, выбрались на то место, откуда его видел Лукмонча. Остановились и стали смотреть.

— Ну что? Ну как? — ревниво, тревожно спрашивал Лукмонча то одного, то другого.

— Да,— сказал Самади,— это тебе не баракстрой...

Солнце зашло внезапно, словно провалившись в яму, за лесистый хребет. Быстро сгущались сумерки. С хребта, за который зашло солнце, слетел студеной ветер.

Гул в котловане утих. Деррики и станы вдали уже нельзя было разглядеть. Но повсюду в горах начали зажигаться огоньки. Им не было числа...

Спустилась ночь. Замелькали на дорогах дальние и ближние вспышки автомобильных фар. Стало холодно.

А ребята все стояли и смотрели, молча, почти не двигаясь и словно не замечая друг друга.

Бек стоял рядом с Джуманом. Джуман положил ему руку на плечи:

— О чем думаешь?

— Сам знаешь...— прошептал Бек.

— Землю копать будешь? — спросил Сангин.

— Буду,— ответил Бек.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Их поставили к камнедробилке — подбрасывать на ленту транспортера камень. Камень был крупный. Его подвозили самосвалы из Чалдаринского карьера, который рыли в шестидесяти трех километрах отсюда. Дорога в карьер вела по глубокому темному ущелью. Самосвалы выскакивали из него, точно из тоннеля.

Джуман и Бек, помытый, в Джумановой майке, рабо-

тали рядом. Бек старался, хотя видно было, как ему трудно подчас разогнуть поясницу. Он чихал и отплевывался от каменной пыли. Барабаны камнедробилки громыхали так, что скулы ломило. Но ни разу Бек не обронил ни слова жалобы, ни бранного слова. И не заметно было, чтобы он скрывал злость, раздражение или просто недовольство. Работал, как все. А к полудню втянулся, вошел во вкус и стал время от времени невнятно себе подпевать.

Гора гравия росла. Дорога шла изрядно выше площадки, и самосвалы, развернувшись, ссыпали камень прямо с дороги под откос. Пыль не успевала оседать.

Среди рабочих на дороге Джуман приметил девушку. Она была здесь одна и показалась ему странной.

Держалась она особняком, работала не покладая рук, но поодаль от парней. За все утро никто не обмолвился с ней словом. И она не подняла головы и ни на кого не бросила прямого взгляда. Она не улыбалась. А ее словно не замечали.

Она была в черном платье длиннее обыкновенного, в старомодных ботинках, зашнурованных до голени, и в черном платке, прикрывавшем половину ее лица. Но и под этим старушечьим нарядом и под серой маской пыли было видно, как она хороша.

Овальное тонкое лицо, очень смуглое. Мягкие, полные губы, нежный подбородок. Бархатная милая родинка у угла рта. Глаза узкие, но глубокие, влажно-черные, невыразимо печальные.

На момент, пока она перевязывала платок, Джуман увидел ее шею, незапыленную, покрасневшую под платком. Что-то трогательно беззащитное было в ее плавных, изящных очертаниях. Волосы заплетены в две косы, и эти косы, слегка растрепавшиеся, делали ее совсем девочкой. Только в глазах не было ничего ребячливого. Поставить ее против Лукмончи или Самади — и они замигают под ее взглядом.

— Она... немая? — спросил Джуман у болтливого паренька из Ферганы, донимавшего всех окрест длинными рассказами о пустыках.

Тот усмехнулся и промолчал.

— Горбатая? — подумал Джуман вслух, глядя на то, как она стоит, опершись на лопату, ссутулясь, бессильно опутив плечи, словно тяготясь собой.

Ферганец фыркнул и отвернулся.

И тотчас сверху раздался треск. Самосвал с поднятым кузовом, из которого валился камень, противно скрежеща сползал с дороги к краю откоса.

Все на площадке кинулись в стороны. Когда рассеялась пыль, увидели — самосвал, ссыпав камень, остановился на самой бровке. Одно колесо повисло в воздухе.

— Вот оно... — сказал ферганец.

— Молчи, голова, — сказал другой парень.

Из кабины самосвала выскочил молодой шофер. Он был не брит, замаслен, пот лил с него в три ручья.

Глянув под колеса машины, он в сердцах сплюнул. Взялся было за капот, но увидел девушку и понимающе, со значением, хмыкнул. Наморщил измазанный лоб и подошел к ней, неторопливо, угрожающе вытирая ветошью руки.

«Она, что ли, виновата?» — подумал Джуман.

— Сейчас смажет... — сказал Джуману Бек.

Ферганец удивленно обернулся:

— Что ты! Никто ее пальцем не тронет, не посмеет.

Шофер подошел к девушке и отобрал у нее лопату. Взвесил в руке и отбросил далеко в сторону.

— Эх!.. — выговорил он укоризненно, глядя на девушку в упор.

Она постояла перед ним, не поднимая головы, медленно повернулась и пошла прочь, горбясь, точно пристыженная. И в опущенных ее руках, в согнутой спине, в тихой походке было не смирение — отчаяние.

— Кто он ей? Муж? — спросил Джуман.

— Какой муж! Нет у нее никого... Кто ее, такую, замуж возьмет? Все боятся пуще огня...

— Почему же он ей не дает работать? Почему она его слушается?

— Э!.. — сказал ферганец, отворачиваясь.

Джуман поспешил наверх, на дорогу. Того гляди самосвал мог обрушиться под откос.

Шофер стащил с себя грязную рубашу и осторожно заглядывал под кузов, готовый при малейшей опасности отскочить. На его шее на тонкой крученой тесемке болтался засаленный амулет.

Джуман потянул двумя пальцами за тесемку:

— Зацепишься этой штукой — и уволочет тебя к чертям, потомок пророка...

Шофер вырвал амулет.

— Я тебе не потомок пророка! У меня есть имя — Тура!

— Поддай сперва машину вперед, а кузовом потом займешься.

— Не твое дело,— буркнул шофер. Он, видимо, побаивался садиться за баранку.

— А ну-ка, посторонись, Тура! — скомандовал Джуман.

Тот послушался. Джуман влез в кабину, дал газ и на малой скорости вывел самосвал на дорогу. Шофер шел за ним, чертыхаясь.

Джуман бегло осмотрел механизм подъема кузова и поразился: как же этот суеверный механик не видит? Рычаг забит мелкими камнями, балансир разорван... При чем тут девушка? Может, Тура прикидывается чудачком? Кто знает, что было между ними.

Джуман вернулся на площадку, подозвал ферганца.

— Так ты говоришь — бояться?

Парень осмотрелся и, не найдя поблизости девушки, закивал узколобой головой:

— Я тебе говорю — как огня!

— Вот этого Туру?

— Что ты! Это овца... Ее бояться, А-до-лят...

— Адолят?

— Ну да.

— Что же в ней страшного? Я что-то не заметил...

Ферганец соорил кислую мину:

— Кто ее разберет! Всякое болтают...— и хотел отойти.

Но Джуман крепко взял его за шиворот:

— Ты, милый, не крути, знаешь ли, отвечай, когда спрашивают.

— Что ты ко мне привязался? Сам, своими глазами, видел, что было.

— А что было?

— Вот самосвал... чудом не свалился! И вообще... В первый же день, как она объявилась на стройке, сгорел женский барак дотла.

— Она подожгла?

— Нет, не она. Зачем это ей нужно?.. А просто говорят... будто бы... где она ступит ногой, обязательно будет несчастье. Она, может, сама не рада. Такая уж судьба,

вроде бы заклятье. Горькая она. И горе за ней ползет. Куда она, туда и оно...

Джуман сердито пожал плечами:

— Что ты мелешь, друг? Этой сказочке тысяча лет.

— Хороши сказочки! Видел, как ее Тура прогнал? А вчера бетонщики вытурили...

— Как вытурили?

— Вывели под ручки и не велели на глаза показываться. У них авария была.

— Но ведь у нас ничего такого не было!

— Для Туры это хуже аварии. То он за день с прохладцей делал четыре ездки, а теперь сиди чикайся. По карману бьет! Это хуже всего-всякого...

— Так сам же виноват! Девушка тут ни сном ни духом...

— Почему ты знаешь?

— Смотрел машину.

— Э! А отчего ж она тогда пошла — слова не сказала? Стало быть, сама чувствует... Ей лучше знать!

Джуман закусил губу.

— Ну и парни тут подобрались...— Сплюнул и выругался.

Ферганец напугался и обиделся:

— Я ничего не говорю... Говорю, что говорят...

— Этак можно с ума свести человека!

— А она и так помешанная. Первая верит...

— Откуда же все это пошло? Кто эту чушь и дикость выдумал?

— Никто не выдумывал... Разве такое выдумаешь? Говорят, что у нее в семье было семь душ. И будто бы в один год все подряд поумирали. Осталась она одна, без никого. Ну, и начали ее люди бояться, сторониться. Обходили ее дом за версту. В войну это дело было, в глухом кишлаке...

— В войну? Сколько же ей тогда было? Выходит, ее ребенком сторонились, обходили?

— И-не знаю... Знаю, что она ушла из того кишлака. Ушла, да не одна, а со своей славой. Наши девушки не приняли ее в свое общежитие. Конечно, они ее не гнали. Но, знаешь ли... Адолят сама поняла и не стала с ними жить.

— Где ж она живет?

— Никому не известно...

Джуман снял рукавицы и прогнул спину.
— А Потчаеву о ней что-нибудь известно?
— Она не комсомолка.
— Так он говорит?
— Он-то? Он говорит: «Пожалуйста...»

Послышались удары костыля о рельс. Звали на обед.

2

В обед Джуман увидел любопытную картину — Потчаев увлеченно беседовал с Самади. Они ходили взад-вперед перед окнами столовой, на виду у всех, и говорили, говорили без умолку.

Потчаев ходил то заложив руки за спину, то уперев их в бока, то сунув под поясной ремень с набором под серебро. Он вежливо и с интересом выслушивал собеседника и отвечал ему, воздевая к переносице палец, важно вышагивая, внушительно покачивая головой.

Они оба расхаживали и кивали головами, как цапли. Самади вышагивал с Потчаевым в ногу и то и дело повторял его жесты — удивительно похоже. Со стороны могло показаться, что Самади передразнивает Потчаева. Но голос Потчаева звучал бархатно-мягко, в нем слышались снисходительно воркующие нотки. И походили собеседники на двух ученых мужей в кулуарах ведомственного съезда после бурного заседания.

Джуман, наскоро проглотив обед, подошел к Потчаеву, но не успел назвать имени Адолят...

— Одну минуточку, дорогой товарищ, одну минуточку. Видите, я занят. Не все сразу. Пожалуйста...

Джуман, сжав зубы, отошел. Самади смотрел на него невинно-безучастно, как будто они были незнакомы.

Лишь к концу обеденного перерыва Самади и Потчаев расстались, пожав друг другу руки и торопливо что-то договаривая. Самади побежал в столовку. А Потчаев прошел мимо Джумана, сухо бросив на ходу:

— По этим вопросам — в нерабочее время, Сариев. Только так, Сариев, запомните раз и навсегда.

Джуман в бешенстве зашагал к камнедробилке.

Бек шел рядом, исподтишка заглядывая ему в лицо.

Джуман размял дрожащими пальцами папиросу, закурил.

— Хочешь, я его угощу? — спросил Бек злым шепотом и облизнул потрескавшиеся губы.

Джуман сразу успокоился:

— Как же ты его угостишь?

— Суну перо под ребро.

— Ого! Ты это умеешь?

— Нет, — сказал Бек. — Для тебя.

Джуман вынул из кармана перочинный ножик, раскрыл маленькое лезвие, озабоченно потрогал острие большим пальцем и покачал головой:

— Погоди, наточу.

Бек рассмеялся, низко опустив голову. А Джуман, откусив от своей папиросы кончик мундштука, дал ее Беку докурить.

Часа через два застопорился, задергался и остановился транспортер. Джуман подошел к Самади. Тот встретил его радостным криком:

— А, танкист, броня, сиротский дом для лиц обоего пола! Салют!

— О чем ты с ним говорил? — спросил Джуман.

Самади ловко подергал щекой, изображая тик.

— Интересно? Гм... Друг мой, мы говорили о горении. Но не столько о физическом, сколько о химико-биологическом, а именно — о горении на работе! Наш общий шеф, вождь и концертмейстер оказался человеком с философской ноткой. Я лично всегда считал, что в человеке есть тяга к возвышенному. В каждой навозной куче жемчужное зерно! Но сегодня я был просто приятно поражен...

— Слушай, вольный студент, — сказал Джуман сдержанно, — плохо ты говоришь.

— О чем?

— Обо всем... Мой тебе совет: держись поближе к Лукмонче — не прогадаешь.

— Пардон! К кому? К цирюльнику? Ценная мысль...

— Брось балаганить!

Самади помотал вокруг пальца рукавицей:

— А что ты орешь, старик? Если хочешь знать, Лукмончу я люблю, как Маркс любил древнюю Грэцию, детство человечества. Лукмонча тоже типичное детство человечества! Я готов обнять и прижать его к груди. Н-но... Лукмонча отстает от меня на вираже.

— Что ты задумал?

— Собственно, то, что обещал — честно и интеллигентно — еще в вагоне.

— Ловчишь?

— Я? Не скрываю... Но обычно это скрывают!

«Ну и трепло...» — подумал Джуман.

Транспортер пошел, и они разбрелись по своим местам.

Джуман был мрачен. От слов Самади остался тошный осадок, как от слов ферганца, но что слова! Джуман видел перед собой злосчастную Адолят, ее согбенную спину под черным платьем, ее глаза — таких он не встречал прежде у девушек.

Бек дернул его за рукав:

— Ладно, потерпи до конца смены... Я найду, где она живет.

— Брат... — сказал Джуман и хотел схватить мальчишку за плечи.

Бек увернулся.

После смены Джуман и не заметил, как он исчез. Шел с ним и с Сангиным домой, в пятый, разговаривая о том о сем, потирая натруженную спину и свежие мозоли на руках, оглянулся — нет шельмеца!

Хотел вернуться — Сангин удержал.

В бараке, у дверей, Джуман столкнулся с крупной рыхлой старухой во всем черном. У нее был заметный, выпуклый зоб. Она возилась у бака с водой. Видимо, меняла воду.

— Эй, тетка, не кинь туда лягушку! — крикнул ей Сангин.

Джуман поморщился — он счел слова друга неуместной шуткой над старым человеком.

— Кто это?

— Юродивая Гажак, уборщица.

Увидев в бараке новенького, старуха пошла за ним, охая и глухо причитая. Опустилась у нар на корточки и сунула в рот кончик головного платка.

— Бедненькие вы мои, деточки вы мои, — выговорила она неженским, басовитым и сдавленным голосом, — до чего же вас жалко! Будь у вас ум да разум, разве вы бросили бы свою молодость в эту каменную дыру? Разве здесь житье?

— Вы-то живете, бабушка, — сказал Джуман.

— Мы, милый, тутошние, привыкли. А ехали сюда не своей волей. Раскулаченные мы двадцать пять годочков тому назад...— Старуха почесала скрюченным пальцем висок под платком.— Какое было хозяйство, целый аул вокруг себя кормили. А тут удачи нет человеку. Скоро зима, дров нет, и дорог не будет, насидитесь, наплачетесь без хлеба на снегу. К тому же божье наказание, кара небесная!

— О чем ты, старая?

— А вон перед рамазаном здоровый такой джигит Бурибай взял да и ослеп ни с того ни с сего.

— Это правда? — спросил Джуман у Сангина.

— Не Бурибай, а буровой мастер... Дробили камень, искра попала в глаз.

— Слыхал? В глаз! Бедненькие вы мои... несчастные...

Старуха пошла к двери, разглядывая других новеньких, встречая всех вздохами и стонами.

— Подобрали агитатора для молодежи! — пробормотал Джуман, с беспокойством поглядывая на дверь: Бек не показывался.

Не вернулся он и к ужину.

Сангин укоризненно и просительно смотрел на Джумана. И тот наконец уступил. Переоделся и пошел за ним, к его Нафисе.

3

Вечер выдался теплый, лунный, как будто на заказ для свиданий. Друзья спустились с пологого увала позади барачков и вышли на зеленую лужайку — она слегка серебрилась под лунным светом.

Нафиса сидела на камне, ожидая их. Камень был еще тепел от дневного жара.

— Вот это он, — сказал Сангин, представляя Джумана.

— Долго же вас приходится дожидаться! — сказала Нафиса и тряхнула руку Джумана своей небольшой, тонкой ручкой.

Видимо, ей хотелось казаться сильной, решительной, а была она скорей хрупкой, хотя ростом под стать Сангину.

— Вы мне были обещаны еще вчера под честное слово,— добавила Нафиса, и на щеках ее заиграли ямочки. Лицо ее, молочного-белое, чуть зарумянилось.

Джуману были приятны и ее непринужденность и невольное, ненаигранное смущение.

Наверное, у нее и Сангина было все хорошо, очень хорошо, и им обоим хотелось показаться, открыться другу. И они не догадывались, как у их друга больно щемит сердце. Он еще не забыл прощание с Гюльрез.

Нафиса была в светлом нарядном платье, в черном узком жакетике и в туфлях на высоких каблуках. Изящная девушка, наверное, она и на работу выходит в мужском ватнике и в туфлях на высоких каблуках. Волосы подстрижены, убраны под шелковую косынку.

— Ну, Сангин,— сказал Джуман, подняв кулак, будто намереваясь ударить,— я молчу... Она у тебя действительно что надо!

И Сангин и Нафиса засмеялись, довольные. И наперебой стали рассказывать ему, как познакомились, подружились, а особенно о том, как ссорились. Судя по их рассказу, история их отношений была историей непрерывных, разнообразных ссор, в которых оба показывали чрезвычайную изобретательность.

Нафиса училась в десятом. А Сангин начинал учительствовать в младших классах. Оба выступали в спортивных соревнованиях, она отличалась в беге на стометровке, а он — в метаниях, в поднятии тяжестей. И Нафиса затевала насмешливые расспросы, как ему удастся в классе не зашибить ненароком своих малышей.

Однажды в воскресенье Сангин повел школьников на экскурсию в горы. Случилось так, что близ каменистой осыпи у пещеры ему встретилась Нафиса. Она часто попадалась ему на глаза. Дети осмотрели пещеру и потянулись гуськом, с песней, в соседнее ущелье. Сангин и Нафиса задержались вдвоем у пещеры. Это тоже с ними нередко случалось — как бы невзначай.

Вдруг в ясном небе ударил гром. Сангин удивленно посмотрел вверх. По осыпи с грохотом катились крупные камни. «Нафис!..» — вскрикнул Сангин, схватил ее за руку и рывком втащил в пещеру. Утих гром, и отнесло в сторону пыль, а они все стояли в пещере, обнявшись.

В тот день они поссорились впервые. Поссорились окончательно. Рука у Нафисы болела — так дернул за нее Сангин. И ему пришлось выслушать длинное и весьма компетентное разъяснение, в чем разница между рукой девушки и штангой. Далее ему было доступно объяснено, почему в наше время недостойно обнимать девушку против ее воли, тем паче учителю ученицу. Надо думать, что Сангину следовало немедленно подойти и поцеловать ее. Он не смел — так сильно он ее любил.

Весной Сангин внезапно уехал на стройку. Нафиса сдала выпускные экзамены с серебряной медалью и поехала за ним. Первоначально она думала об институте, потом передумала.

Они встретились и вновь поссорились, тоже страшно. До рассвета бродили по цветущему росистому лугу, не прикасаясь друг к дружке, и Нафиса многосторонне, на все лады, развивала и мотивировала ту простую мысль, как ничтожно взрослому мужчине уехать не простившись, точно крадучись, подобно вору или трусу. И опять Сангин не сделал того, что следовало, — не расцеловал ее. Так он был счастлив.

У Нафисы появилась подружка — маленькая, как грибок, круглая, как пышка, веселая, бойкая Садбар. Садбар заплетала волосы в традиционные сорок косичек, от которых лоснилась на спине ее полосатая деревенская безрукавка из плотного бекасама. А в груди лелеяла сорок страхов перед кланом мужчин. У нее был узкий лобик и длинные, пушистые ресницы, которые не нуждались в усьме — косметике ферганских модниц. Еще у нее был длинный язычок.

Ночные прогулки Нафисы пугали и манили Садбар, как желтые глаза удава. Она изнемогала от адского огня любопытства. Нафиса была неслыханно смелой. Кроме того, она была чересчур умна и учена для девушки. Это также могло ее погубить. Садбар считала своим святым долгом оберегать ее от беды, той беды, к которой стремятся все девушки на свете.

Доцветала яркая горная весна. Ночи были короткими. Нафиса возвращалась к утру в общежитие и попадала в объятия Садбар.

— Ты вся горишь! Тебе хорошо?

— Травами так пахнет... одуряюще пахнет... Голова кружится!

— Ой, смотри, ой, смотри,— вскрикивала Садбар словно замороженная,— не закрывай глаз...

В майскую ночь Нафиса вернулась продрогшая, страшно замкнутая. Садбар схватила ее, ощупала, точно любимую куклу.

— Что с тобой? У тебя зуб на зуб не попадает!

— Девушкам не говори...— прошептала Нафиса.

Садбар уложила ее, укрыла двумя одеялами, набросила сверху пальто и приникла к ней, испуганная, подавленная.

— Что ж ты наделала, девушка! Я же тебя загодя предупреждала...

— Сама не помню, что я натворила. Теперь уж кончено! Теперь не сможем в глаза друг другу смотреть... Не то ударила, не то плюнула — ничего не помню. Будто приснилось все! Будто во сне было...

Садбар утешала ее, как умела:

— Ну, чему быть, того не миновать. Что-нибудь придумаем, не плачь.

— Я не плачу.

— Все равно не плачь,— твердила Садбар, утирая слезы со своих глаз.

А на следующий день она дала жару Сангину. Побежала к пятому, подстерегла его... Маленькая, быстрая, кинулась на парня, как цыпленок на беркута, и давай молотить его кулачками по твердой, как камень, груди. Отшибла себе все руки... На шум вышли ребята из соседних барачков, и Садбар на виду у всех предупредила подлого, бессердечного:

— Если еще раз покажешься у окна Нафисы, мучитель, ошпарим кипятком, так и знай!

Сангин до вечера не мог прийти в себя. На обратном пути Нафиса перехватила Садбар, увела и наедине долго строго допрашивала:

— Как ты посмела? Как ты посмела?

После этой тройной ссоры Сангин наконец сказал Нафисе, что не может жить без ее нотаций.

— И это было его первое серьезное слово,— заметила Нафиса Джуману, и ямочки улыбнулись на ее щеках,— с тех пор, как он выговорил «мама»! Вообще-то он не любит говорить решительных слов — в этом вы еще убедитесь на комсомольских собраниях. Но тут

я пока не могу добиться от него того, что в личном вопросе...

— Да, друзья,— сказал Джуман, перестав улыбаться,— в деле у нас серьезное слово пока не сказано.

— Это ты про что? — весело спросил Сангин.— Про лопату и тачку?

— Нет. Про Адолят.

Помолчали. Джуман закурил.

— Как это случилось, что Нафиса ведать не ведает, где она живет?

— Ну, знаешь,— неожиданно вскипел Сангин,— мы вот, может быть, муж и жена... а целуемся под звездами. Это тоже только в книжках красиво! И не осенью!

— Молчи! Молчи...— сказала Нафиса.

Сангин накинул ей на плечи свой пиджак.

Джуман докурил, и они вдвоем проводили ее до женского общежития. Луна зашла. Стало совсем темно.

Джуман торопился в пятый, и Сангин отстал от него,— может, вернулся под окно Нафисы...

В пятом все давно спали. Бека на нарах не было.

Джуман лег не раздеваясь, с досадой и раздражением думая: что же могло с мальчишкой случиться и где его теперь искать? Как это он не уследил, отпустил его от себя невесть куда?! И в какой же трущобе живет Адолят, если до нее так долго добираться?

Пришел Сангин, впотьмах разделся и лег, не заметив, что Джуман не спит.

В середине ночи по другую сторону барака завозились, зажглась спичка, другая, и раздался оглушительный вопль Халдара. У него пропал узел с одеждой, той самой, неношенной, которую он берет к случаю.

Осветили барак и обнаружили, что с незанятых нар сняты простыни.

Халдар причитал, как юродивая Гажак, и в горячке проболтался, что видел Бека в бараке после ужина, когда за ним приходил из управления милиционер... Да, приходил, да за Беком, но когда милиционер появился в двери, воришка был уже за окном! Халдар сам проводил в барак милиционера, а велел ему это сделать товарищ Потчаев...

Ни слова не говоря, Джуман кинулся вон из барака. Отыскал, где ночует Потчаев, поднял его с постели.

И как только Потчаев увидел перед собой Джумана, бледного, с закушенными губами, тотчас закричал, хрипя спросонья:

— По распоряжению! По распоряжению Рахманкулова!.. Но он сам, он сам не знает, зачем мальчишка милиции, клянусь! В конце-то концов, мы не можем препятствовать... имеют они право хоть выяснить личность?..

Джуман оставил его и ушел.

Разбирая постель, Джуман нашел под подушкой записку:

«Она живет у той ведьмы, которая бросает в баки лягушек, чтобы не протухла вода».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Зарядили дожди, холодные, тоскливые. Ночные туманы не таяли и днем. И опять не стало видно далей.

Облака стелились по земле. Они заползали за шиворот...

— Живем в облаках, как орлы! — отметил Лукмонча. Но никого это не веселило.

Где-то за сырыми, белесыми, зыбкими стенами, точно за лесами и морями, били в большие барабаны — гремели взрывы. И хотя подчас вздрагивала земля, их гром доносился глухо. Эхо тонуло, как камень в воде. А мысли вязли в тумане, как сапоги в грязи.

В бараках стало тесно. Прибыло еще около сотни строителей, молодых. Теперь Сангин не обрадовался им. В проходах между нарами выросли, точно поганые грибы, раскладные койки, наскоро сшитые из теса и брезента. Постелили людям и на столах.

— Сугубо временно, товарищи, сугубо временно... — уговаривал Потчаев так настойчиво, что люди стали в этом сомневаться.

Кончился «люкс»... В умывалках толкотня. Куда ни повернешься — чужой локоть. Уж не помоешься, как прежде, вволю, в охотку, оголившись до пояса, побрякивая на холодке. На нарах тоже не отдохнешь порядком. Куда ни сунешься — мокрый ватник, портянки. С них

каплет, а с тех, которые ближе к печке-временке, слетает парок. Головы не поднять и не отвернуться. Хорошо бы с вечера распалить под окнами костры — живо просохли бы, насквозь! Но где взять столько дров и как их разжечь под дождем?

Начались перебои со светом. Погулять после смены в такую погоду — значило наверняка заблудиться. И ребята укладывались на боковую еще в сумерках. Скука смертная! Она была страшнее, подлее всего.

Ко всему прочему в столовке стали половинить. Халдар это заметил первый. Машины с продуктами застревают на дорогах, хлеб сох, мясо портилось, крупы плесневели в пути. Супы подавались мутные, как туман, жиденькие, как слеза праведника. Шеф-повар, усатый детина в сто двадцать килограммов живого веса, известный в Фергане мастер плова и шашлыка, выходил из кухни к столам, слушал насмешки и брань ребят и немо бил себя кулаком чуть повыше выпуклого живота.

Так длилось несколько тягучих дней, может быть неделю. Она показалась долгой, как год.

Кашлял и трубно сморкался по ночам простуженный Кимсан. Ребята чуть ли не до зари ворочались на нарах, вскакивали, чествуя в темноте весь свет, снова ложились... Сколько можно спать, черт побери! Человек рожден не для того, чтобы спать. Человек любит читать ночь напролет. Человек любит в эту пору пройти с девушкой, сходить в кино и обсудить картину подробно, с выводами. У человека удушье оттого, что он за неделю не спел ни одной песни! В таком состоянии человек может убить человека...

Днем ребята останавливались вблизи нар Джумана и допытывались друг у друга:

— Будет этому конец?

А некоторые подсаживались к нему в ноги и спрашивали наивно-доверчиво:

— Картишки, что ли, покидать?

Джуман отмалчивался, отлеживался. Он чувствовал себя точно связанным по рукам: ходить — можно, смотреть — можно, но не протянуть руки...

Потчаев сполна сквитался с ним за его самовольство: на летучках и планерках по всему участку, а может по всей стройке, трепали имя Сариева и его брата Бека!

И находились охотники сорвать зло, свалить вину. Жаловались на скуку, пустой суп, тесноту и... упоминали имя Джумана, намекая на украденные простыни и прочее, тому подобное. Халдар брал слово всякий раз и потрясал кулаками.

— Вот, пожалуйста,— говорил Потчаев, тыча пальцем в сторону Джумана.

Приближался день первой полочки, но ее ждали без большого энтузиазма. Комсомольцы работали плохо. Пожалуй, один железный Сангин на земельных работах выполнял нормы. И то вряд ли! Участок «временно исполняющего» Казимова твердо держался в самых последних. И все это знали.

Срама много, заработка мало. Что вписал в сводку, подпишешь в ведомости. И это тоже понимать надо, товарищ Сариев...

Более всего угнетало Джумана то, что происходило на его глазах с Лукмончой.

Первооткрыватель новых земель и певец Кураминских руд вдруг поблек и потерялся в эти дни. Не видно и не слышно было Лукмончи. Он уставал за смену до изнеможения. Ложился спать раньше всех, наскоро сполоснув лицо, изредка — ноги и забывая снять очки. И прежде он не отличался гвардейским весом, а сейчас заметно исхудал, щеки ввалились и тонко порозовели, как у чахоточного. В серых глазах словно бы угас ищущий, восторженный огонек.

Кто-то где-то страшно перепугал Потчаева, и он в приказном порядке заставил ребят постричься наголо. Не подчинились одиночки,— стрижку превратили в подобие ночного осеннего карнавала. Потчаев достал машинку. Стриг Лукмонча. Стриг целую ночь. Он безропотно взялся за дело, но к утру едва держался на ногах. Его освободили на день от работы. Он проспал час и вышел на площадку с лопатой.

Самади, столичный баловень, выглядел куда бодрее. Он говорил тем, кто его слушал:

— Я выведу вас, дети мои, из прорыва! Попомните мое слово... Как сказано в священном коране: олрайт, дайте срок. Я докажу. Это будет достойно кисти Айвазовского.

— Старик, ты в миноре. Я весь твой! — сказал Самади Джуману.

В обед, нигде не задерживаясь, Джуман перемахнул через пологую седловинку, которую называли перевалом, и вышел к бревенчатому зданию СУ-4. Дорожка к нему была посыпана галькой.

Снаружи здание казалось капитальным, внутри — временкой. Фанерные некрашенные перегородки, пришитые гвоздями не по ранжиру, с громадными шляпками, под которыми коробилась фанера. Половичок только у входных дверей.

Приемная Рахманкулова была тесна, точно голубятня. Бросался в глаза бачок с водой на табуретке, с жестяной кружкой на цепи, как в пятом бараке. Простая скамья во всю стену. Столик с пишущей машинкой у окна.

За столиком сидела на редкость красивая молодая женщина. Лицо ее словно излучало мягкий, радостный свет. Оно казалось фарфоровым, тонко нарисованным, как у китайской статуэтки. Длинные, умело наведенные ресницы затеняли томные глаза, похожие на крупные миндалины. Рот точно у киноактрисы. В маленьких ушках под россыпью завитков волос большие янтарные серьги.

Это Хумахон. Ее хорошо знали на стройке. Самади называл ее райской гурией.

Увидев посетителя, она негромко вскрикнула, точно была приятно поражена:

— Джуман Сариев?

— Откуда вы меня знаете?

— Слухами земля полнится. Вы ведь тоже обо мне слышали...

— Кто-о там? — зычно окликнул из-за фанерной перегородки голос Рахманкулова.

Хумахон тотчас прошла к нему. Неслышно скользнула, приоткрыв дощатую дверь.

— Ага... — басисто проговорил Рахманкулов, что означало — ждать.

Перегорodka недоставала до потолка. Слышно было, как Рахманкулов ворочается на стуле, шаркает сапогами.

Он говорил по телефону. И сперва Джуману показа-

лось, что говорит не он,— так сломался и словно бы выцвел его голос.

— Вы отлично знаете, дорогая, каковы сроки... и когда кончится строительство... Ну, какая же это *ссылка*? Как у вас язык поворачивается! Ей-богу, все же следовало бы выбирать выражения... Когда же я вам говорил что-либо подобное? Я и в бреду не мог вам ничего такого сказать... Но я же вам обещал: как только немножко налажу дело... Да, и Холмат Юнусович из нашего треста мне лично обещал... По крайней мере месячный отпуск! Успокойтесь, послушайте меня, дорогая...

Джуману стало неловко. Он подошел и прикрыл плотней дверь.

Хумахон поманила его пальчиком и шепнула:

— Какой человек... странный... Даже с женой ни одного нежного слова. Все то же самое — о стройке, о сроках. Та же пластинка...— И она поспешно приложила пальчик к пунцовым губам, будто Джуман порывался сказать ей некую любезность, и она вынуждена была его удержать.

— Алло, Ташкент! Алло, Ташкент! — внезапно во весь голос забасил Рахманкулов.— Продлите на минуту... А-а?!

Джуман невольно усмехнулся, смущенно взглянул на Хумахон. Она ответила ему одобрительной и лукавой улыбочкой. И опять погрозила пальчиком с лакированным ноготком.

Рахманкулов, по-видимому, был у себя не один. Бросив трубку, он пробормотал, не то сетуя, не то оправдываясь:

— Нервы, нервы... и ни на грош солидарности...

И тут же заговорил в грубоватом, разносном тоне — Джуман сразу понял, с кем.

— Вот недельная сводка. Вот другая... Кадров вполне хватает. Работы нет! Работы по сей день не вижу. Вот где у меня, извинюсь, ваши кадры... Я вас спрашиваю: а что же комсомол? А что же вы? Где ваша деловая хватка, цепкость, настойчивость? У вас по первому впечатлению, я бы сказал, неплохие задатки руководителя. Учитесь на ходу, приглядывайтесь ко мне, подражайте хотя бы, черт побери. И своего, своего подмешивайте — инициативы, смекалки, ориентировки сообразно нуждам, обстоятельствам. Покажите себя наконец!

— Не любят они меня...— сказал Потчаев.

— Чепуха! Мистика чистой воды... Вы что, девица? Зачем вам, собственно, любовь? Или вы желаете, как в романах, стать обожаемым отцом-командиром? Ну, милый мой, для этого вы ни возрастом, ни носом, простите меня, не вышли. Этого и я не умею. И, признаться, по здравом размышлении, не желаю тратить на это дорогое времечко. Как видите, обхожусь. Давайте не мудрите, молодой человек. И давайте без нежностей и ребяческого сюсюканья. Учите людей простым и суровым истинам: долг, работа, нормы, сроки. Как говорится, гравий, цемент, песок... итого — бетон!

— Видите ли, трудности... и вследствие этого настроения...

— Опять? Опять вы мне сыплете словесный сор в уши?! Мы в наших договорах никому не обещали с места в карьер легкой жизни... Доколе же, помилуйте, я буду слышать о настроениях? И когда услышу первый приличный доклад — о выполнении норм? Вы отчитываетесь мне — я выше. С меня спрашивают намно-о-го резче, уверяю вас. Главное — короче, дорогой мой! Со мной так пространно не объясняются.

«По-своему он прав...— подумал Джуман, опуская голову, чтобы не видеть знаков Хумахон.— Он отвечает за всех. А мы... мы пока не можем ответить делом за себя».

— Вам известно, Субханкул Рахманкулович, я стараюсь... переломить...

— Не нравится, ох не нравится мне... ваше настроение, Потчаев! Что вы там возитесь, скажите на милость, который день с этим пустячным делом — с украденными простынями? Морочите мне и людям головы, никак выговориться не можете... Или вам нечем больше заняться?

Джуман удивленно покосился на приоткрывшуюся дверь в кабинет. Рахманкулов стукнул по столу, явно в расчете, что его услышат за перегородкой.

— Таких людей, как этот кашкадарьинец,— сказал Рахманкулов, и Хумахон значительно кивнула Джуману кукольной фарфоровой головкой,— надо запрягать покрепче! Они это любят. А он у вас валяется на койке, как Евгений Онегин... Одним словом, берите людей за жабры. Довольно плестись в хвосте! И чтобы не было этой безликости и всеобщей безответственности! Чтобы были

передовики, образцы, так сказать, эталоны... Вы комсомольский вожак — мне ли вас наставлять?

— Есть у меня одна идея,— вкрадчиво сказал Потчаев.

— И один человек... один-единственный — выполняющий нормы! Впрочем, у него — виноват — сто десять процентов! Его премировать. Подготовьте приказ. Еще у одного — сто ровно. Что же, и этому — благодарность в приказе... («Двое,— подумал Джуман.— И те, конечно, не из пятого...») Идите, Потчаев. Как вы говорите — пожалуйста!

Потчаев выскочил из кабинета с воспаленным лицом, точно обрызганным красными и синими пятнами. И подчеркнуто галантно раскланялся с Хумахон, будто ничего не произошло такого, о чем стоило бы сожалеть.

Ушел, не заметив на скамье Джумана.

И тут Джуман смекнул, что Рахманкулов повышал голос и стучал кулаком не только для него, а может, и вовсе не для него.

Из-за перегородки донесся тихий и ясный женский голос. Джуман случайно повернулся к Хумахон и заметил — она побледнела, прищурила глаза, стала искать что-то на столике, показывая, что вот уж этим она ничуть не интересуется.

— Так я покидаю вас, Субханкул Рахманкулович. Покидаю в беде, что уже нехорошо, да еще с тайной мыслью, что далеко не во всем с вами согласна.

— Как всегда...— сказал Рахманкулов.

— Скажем — нередко. Мне кажется, что вопрос о настроении молодого рабочего не праздный вопрос.

— Ему дано,— перебил Рахманкулов с горячностью,— молодому-то рабочему! Дано от отцов и старших братьев, не скупясь. Приходит час, очень важный во всякой самой скромной биографии, когда и он, молодой... ну, если хотите, авансирует государство,— ничего я тут не усматриваю страшного!

«И это верно»,— подумал Джуман.

Рахманкулов коротко откашлялся.

— Но, помилуй бог, менее всего я хотел бы втянуться в дискуссию с вами. Моя цель — поэксплуатировать вашу особу иначе... Вы — член партийного комитета и вообще на большем виду. Протяните мне руку в той самой беде... Казимова вы знаете. Это техник вот с таким потолочком!

Участка он не видит. Видит задание и еще уже — указание. Недаром и его никто не видит. Дайте же мне, товарищи, настоящего начальника участка! Дискуссии потом...

— Это я вам обещаю,— сказала женщина.

— А в остальном, значит, пеняй на себя? Так?

— Так.

Задвигались стулья, распахнулась дверь. Ее открыл Рахманкулов, пропуская впереди себя женщину.

Хумахон встала за своим столиком, и щеки и шея ее порозовели. Женщина оказалась гораздо моложе, чем Джуман представил ее себе по голосу. Она была в сапогах и в куртке, кожаной, с трикотажным шерстяным воротником,— такие носят летчики. И лицо ее, обрамленное золотистыми волосами, Джуману было очень знакомо. Особенно ее взгляд, твердый, ясный, спокойный...

Рахманкулов отворил перед ней и вторую дверь — из приемной. Затем кивнул Джуману: «Заходи...» А Хумахон прошептала так, чтобы слышал Рахманкулов:

— Вредная особа.

Кабинет начальника оказался просторнее, чем приемная. Кроме рабочего стола с общим ящиком и со школьной чернильницей «непроливашкой», тут помещались еще раскладная железная кровать, покрытая знакомым байковым одеялом, и неказистый жестяной умывальник на гвозде с тазом под ним и вафельным полотенцем. Лампочка над столом без абажура. Около чернильницы на чистой бумажке хлеб с маслом.

Неприхотлив начальник четвертого стройуправления. Он и выглядел и жил как рабочий.

Джуман остановился в затруднении. После того, что он слышал и видел, он не мог спросить Рахманкулова, как собирался уже несколько дней:

«Стало быть, права юродивая Гажак, товарищ начальник?»

Теперь ему хотелось сказать другое:

«Мы счастья на блюдечке не ждем... не хотим...»

Но и этого не стоит говорить. Что у Потчаева хлеб отбивать!

Рахманкулов понял молчание Джумана.

— Так,— проговорил он, добродушно усмехаясь, поглаживая ладонью бритую голову.

На минуту взгляд его помрачнел. Он сложил на столе

темные руки, выжидая. И Джуман скорей чутьем, чем разумом, догадался, что Рахманкулов ждет рассказа о Беке...

Джуман взволновался. А что, собственно, его интересует?

Хотел бы — поговорил бы с мальчишкой сам.

По-видимому, Рахманкулов понял и это волнение Джумана. Пожевав губами, побарабанив по столу пальцами, начальник спросил устало:

— Нормы выполняете? Вы лично...

— Нет, — ответил Джуман отрывисто.

— Так. А собираетесь выполнять?

— Да.

— Ну вот, когда станете выполнять, приходите, потолкуем.

Рахманкулов поднял телефонную трубку, а другую руку, не глядя, протянул Джуману:

— Будь здоров.

— Я не о себе, — сказал Джуман. — Тут двое, например, хотят пожениться...

— Слыхал, слышал, — сказал Рахманкулов, держа руку на весу.

Джуман пожал его вялую ладонь.

И тут вспомнил, где видел лицо той женщины, светло-волосой, со строгими глазами, вероятно сибирячки. В альбоме Лукмончи... Это Ульяна Басова,

3

К вечеру приехал кассир, привез получку. Устроился он у окна барака. К нему установилась очередь вдоль баракстроля.

Первым в очереди оказался, конечно, Кимсан. Получил денежки, пересчитал их на глазах кассира, потом еще разок наедине и понес в пятый — зашивать в полу телогрейки.

Халдар поднял крик, обругал кассира и побежал в бухгалтерию выяснять, какие были вычеты — сколько за спецовку, сколько за бездетность.

Девушек сперва пропускали без очереди. Но вовремя спохватились: «Пусть постоят с нами, и так их видим раз в столетие». Привели парня с баяном, велели играть. Он

умел только «Дунайские волны» и «Катюшу». Не беда! Стали танцевать фокстрот под «Катюшу». Вытаскивали девушек из очереди и тут же кружили...

Джуман шел за получкой с мыслью о матери. Мать одна провожала его из Карши. Джуман избегал односельчан. Он и с матерью говорил о заработке, о хозяйстве, чтобы она не вздумала утешать его насчет Гюльрез. «Первую же получку вышло вам, мама, себе оставлю самую малость». — «Спасибо, сынок. Лишь бы ты был здоров. Береги себя, а пуще всего — уважение друзей».

Джуман подошел к окну, кассир положил на подоконник ведомость. В ней значилась странная цифра — 40 рублей и копейки.

— Вы разве не в курсе? — спросил кассир. — Пройдите в управление, ознакомьтесь с приказом. Вычет за украденное имущество.

Джуман отшатнулся с таким чувством, будто его ударили по лицу. Он со стыдом обернулся. Нет, позади него стояли ребята из других барачков, и они ничего не слышали. Он торопливо расписался, взял сорок рублей и отошел.

Вернулся из бухгалтерии Халдар, встал около баяниста и принялся кричать, что больше всех получит сегодня немощный очкарик Лукмонча. За что? Понятно, за что. За стрижку! Все видели, как он спал без просыпу. И вот за одну ночь настриг...

В пятом было пусто. Ушел на танцы и Кимсан. Джуман положил на тумбочку полную пачку папирос, повалился на постель навзничь, опять «как Евгений Онегин», и стал курить одну за другой.

«Все-таки это низко, — думал он. — Из первой получки... всю сумму, без рассрочки... Зачем так низко? И все-таки это мелко. Для такого начальника... провести приказом по управлению... Почему так мелко? Мы для него договорники, рабочие на срок. Заключил договор — отработай положенное. Проштрафился — выговор. За несколько недель ни одного живого слова — или распоряжение, или выговор... А главное — все тут зыбко, временно, и жилье, и работа, и начальник участка Қазимов, и люди вроде Халдара и Кимсана. Жизнь — как в вагоне поезда...»

Так он лежал и думал. Неожиданно подошел Сангин и сунул ему в руку новенькую сторублевку:

— Я все знаю, бери.

Джуман не возражал, но Сангин отпрыгнул в сторону, будто за ним гнались. Принялся убеждать скороговоркой:

— Бери, бери и не думай. Ничего не думай. Там сто рублей. Пока бери, дальше видно будет. И Нафиса велела отдать. Сто рублей от нас обоих.

Джуман положил деньги на тумбочку, под папиросы.

Подошел Лукмонча, молча подложил под новенькую сторублевку другую такую же и отошел, уводя под локоть Сангина.

Подошел Самади и жестом игрока в рулетку бросил на тумбочку пятидесятку:

— От имени Объединенных Наций. Хотел меньше — самолюбие не позволяет!

— Спасибо... хватит...— пробормотал Джуман, вставая с постели.

Но в барак входили другие ребята, шли к Джуману и клали на тумбочку десятки, пятерки.

Некоторые объясняли мимоходом:

— Эти простыни не ты один крал.

— Все про его мать слушали, ушами хлопали.

Джуман наконец взмолился:

— Братцы, не надо! Куда мне столько? Дайте хоть бумагу... пишите, сколько кладете! Как я буду возвращать?

Ему отвечали:

— Вернешь, будь покоен. Не надо твоей бумаги.

Подошел Кимсан, положил измятый, замусоленный рубль. Сказал вопросительно:

— Отдашь, когда сможешь...

Ни для кого не секрет, что он бережлив, но пусть не думают, что он не комсомолец, как Халдар.

Человек двадцать, не меньше, побывали у тумбочки Джумана. И он умолк.

Он понял, что не вправе противиться. Ему давали в долг. Давали не деньги, а нечто иное, что зовется другим словом.

Ему хотелось бы обнять каждого, кому он задолжал. Сказать каждому так, как мог бы сказать только Лукмонча.

Сказать, какая всему этому цена. Сказать, что вообще это здорово! Здорово — и всё тут. И точка.

Ребята из других барачков прослышали о том, что творится в пятом. В окно, у которого стояла тумбочка с деньгами, заглядывали любопытные. Со смехом тянули к ним руки.

Кимсан отодвинул тумбочку и не отходил от нее. На его сморщенном лобике и курносом носу была написана беззаветная готовность положить живот за мирское дело, за комсомольский котел.

Прошел мимо окна Потчаев. Пожав плечами, рассеянно процедил:

— Что ж, пожалуйста... Но закон есть закон.

Джуман незлобиво рассмеялся ему вслед.

За окном вновь начал лениво, нудно накрапывать дождь. Но Джуман видел и чувствовал: нынче не то, что накануне. Нынче небо ясно. Ребята исподтишка и откровенно следили за Джуманом. И настроены они были как в тот первый вечер, когда смотрели на взрыв в далекой лощине, на огни в горах и не могли насмотреться.

«Нужно что-то сделать, нужно что-то сделать...» — говорил себе Джуман; сердце его билось, будто после кросса с полной выкладкой.

Он огляделся.

Пятый разгрузили вчера. Койки из проходов убрали. Старая Гажак выметала мусор из-под нар.

Скрипнула дверь, на пороге остановилась Нафиса и стала жестами звать Сангина.

— Стой! — крикнул Джуман, и сердце его стало биться ровней. Он удержал Сангина за руку. — Стой здесь. — Пошел к двери, привел за руку Нафису, поставил рядом с Сангином. — Стойте оба.

Они стояли, недоумевая.

— Вот эти двое, — сказал Джуман, — сейчас пойдут под дождь и будут прятаться от людей, потому что они муж и жена...

Кимсан хихикнул. Лукмонча повернулся и отвесил ему подзатыльник. У Кимсана сделалось серьезное лицо.

— Вот эти двое, — сказал Джуман, — родят сына, который будет знаменитым человеком в будущем городе... Впрочем, они уже сейчас знаменитые — о них сам Рахманкулов, оказывается, слыхал....

— Все понятно. Короче! — перебил Лукмонча. — Что ты предлагаешь?

Джуман улыбнулся его нетерпению.
— Я предлагаю... пойти красть фанеру...— ответил он и показал на дальний угол барака.
И даже Халдар понял, зачем Джуману фанера.

4

Только за полночь утих в пятом стук молотка и визг пилы.

Фанерная стенка отгородила спальню Нафисы и Сангина. Получилось нечто вроде вагонного купе с одним рядом нар в два этажа. У окна поместилась и тумбочка.

Маленькая, смешливая, верткая Садбар заметала щепу и шелковые стружки — стойки под перегородку поставили чистые, из-под рубанка, без занозинки. Гвозди брали из дощатых ящиков из-под чая, которые добыли в автолавке — Кимсан вытаскивал из оставшихся планок последние гвоздочки, выпрямлял и складывал в порожнюю консервную банку впрок.

А Джуман все не мог выпустить из рук тиши — плотницкий узбекский топорик.

Пришла Оксана, русоволосая девушка на редкость крепкого сложения, под стать мужчине. Ее звали не иначе, как Оксана-батыр. Она не мигнув съедала два обеда подряд, и даже парни избегали попадаться ей под руку. Среди девушек она была известна еще своей тайной и непостижимой страстью — ей нравился Потчаев! Она могла бы поднять его на руки, как ребенка. Она была от него без ума...

Оксана-батыр принесла роскошное стеганое ватное одеяло с пододеяльником — дар подружек Нафисы. Вдоль нар разостлали тряпичный половичок, и сразу стало невозможно войти в дом не переобувшись.

Затем оформили ордер по всем статьям. Лукмонча написал его печатными буквами, разрисовал цветными карандашами.

Ордер вручили после краткого, но совершенно официального митинга. Вел митинг Потчаев, — да, да, он самый, его удивительно похоже изображал Самади. Оксана-батыр слушала Самади, презрительно кривя губы, и вдруг заливалась детским нежным смехом, уморительным для ее комплекции.

К тому времени в пятом уже были ребята со всех барачков. Сангин прикрепил ордер к фанерной стенке рядом с цветной фотографией Нафисы и страницей из «Огонька» с великолепным оттиском левитановских берегов. И ребята, свои и соседи, теснясь, подходили к двери в дом Сангина и Нафисы, отодвигали ситцевую занавеску и смотрели, как висит ордер, разостлан половичок и сияет розовым атласом ватное одеяло.

Джуман со вкусом закурил, стоя тут же, за спинами товарищей. На миг ему показалось, что кто-то заглядывает в окно из темноты. Сперва он не обратил на это внимания, потом, сам того не замечая, судорожно скомкал в пальцах папиросу. В окно смотрела Адолят! Это были ее глаза...

Джуман кинулся к соседнему окну по другую сторону перегородки, распахнул его, высунулся наружу по пояс. Нет, никого! Померещилось... Вряд ли она могла прийти сюда в такую позднюю пору, посреди ночи.

В окно вползала туманная сырость. Джуман медленно притворил его узкие створки. Ему хотелось бы, чтобы она была сейчас здесь, чтобы она заглянула в окно, вошла и полюбовалась тем, чем все любят, она, Адолят. Пойти бы за ней, привести ее... Это сделает Нафиса.

Паренек-ферганец, с которым Джуман работал у камнедробилки в день встречи с Адолят, подошел к нему и, поблескивая любопытными глазками, спросил:

— Слушай-ка, атаман, а кто такой у вас будет Рахим Лукманов?

— Зачем он тебе?

— Как зачем? Интересно все-таки: какой он из себя? Наверное, сила-мужик! В пару той Оксане-батыр...

— Наоборот. Вон в очках ходит, лобастый, в ковровой тубетейке...

Ферганец в изумлении открыл рот:

— Лукмонча? Не может быть?

— А в чем дело?

— Да ты что, с луны свалился? Зачем, почему... Приказ Рахманкулова читал? Не чита-ал? Ну и ну!.. Все читали! Кроме вас, чудаков. Там первым пунктом — с тебя вычет за краденое, а вторым пунктом — ему... премия за сто десять процентов. А другому вашему, Ким-

сану,— благодарность за норму. Премия большая, в размере пятидесяти процентов заработка!

Теперь открыл рот Джуман, глядя на Лукмончу. Так вот почему очкарик получил больше всех! Это не за стрижку; стриг он, конечно, бесплатно. Ах, тихоня, молчаливник, сонная птица, замирающая с закатом солнца, на вечерней заре...

Лукмонча ходил по бараку с озабоченным видом, расталкивая ребят. Он собирал инструмент. Подойдя к Джуману, он взял из его рук тиши.

Джуман схватил его в охапку и закричал:

— Качать! Качать!..

Лукмонча и не пытался сопротивляться. Силы были неравны. Его качали в несколько очередей, предварительно с почтением сняв с него очки. Когда поставили героя на ноги, он зашатался, едва не упал. У него кругом шла голова. Он и до того держался из последних сил. И мечтал об одном — лечь поспать.

Для порядка качнули и Кимсана.

Маленькая Садбар, учетчица участка, подала Лукмонче его очки. Весь вечер она ходила около него и что-либо ему подавала — то пилу, то рубанок, то гвозди.

Самади стоял в сторонке. Искоса смотрел, как вытрясают душу из «детства человечества», и искусно дергал щекой, покусывая губы.

Сангин и Нафиса незаметно отстали от общей суеты. Они уединились в своем купе.

Уходили неохотно, ферганец требовал с Джумана суюнчи, другие считали, что такое дело полагается спрыснуть. Но через полчаса в пятом уже спали.

Нафиса сидела у окна и шепотом рассказывала мужу, как в детстве играла с девочками в беременность, подвязывала к животу подушку... Джуман думал об Адолят.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

С Лукмончой случилась большая беда. Она настигла его неожиданно-негаданно, как все беды, в образе девушки с сорока косичками. И он не сразу понял и даже совсем не понял, что это беда.

Вот как все случилось.

К концу дня, после важного заседания в управлении, которое шло с утра и было отложено на завтра, нагрянул в пятый Потчаев, очень сердитый, в гнев. И всех распушил.

Первой досталось Нафисе:

— Подрываете авторитет! Пользуетесь тем, что вы член бюро! Не ожидал... Но как же вы объясните, что означает вся эта обструкция?

— Какая обструкция?

— Ночная! Как прикажете понять, что вы остались на ночь в мужском общежитии? И в каком! В пятом, где у меня большей частью подростки, недавние десятиклассники...

Нафиса молчала, ошеломленная.

— Ах, молчите?! То-то... Пошли на поводу у настроений. И не заметили, как сыграли на ваших некоторых слабостях, прибрали вас к рукам... Но вам надо бы знать, что мы не можем потерпеть на строительстве курортные нравы!

Сангин подошел к Потчаеву, с трудом сдерживаясь:

— Слушайте, гражданин... вы все-таки не забываетесь!

— Позвольте вам заметить: я излагаю мнение начальника четвертого стройуправления! А вы... вы пока что сожитель на основах личной договоренности... Извините — проходящий супруг!

— Потчаев, вы понимаете, что говорите? — спросила Нафиса с горящим от стыда лицом.— Вы когда-либо слышали про любовь? Про то, что были такие Фархад и Ширин, Ромео и Джульетта?..

Потчаев выпятил кадык.

— Ну, знаете, давайте без художественных произведений! Прошу не путать! И не учить. Слава богу, как-нибудь разберемся, где письмо Татьяны Ленскому, а где бытовая распушенность.

— Не трогай ты его,— сказал Джуман, насильно отводя Сангина в сторону.

— Во-от как?! — певуче, бархатно воскликнул Потчаев.— Уж не за эти ли таланты, товарищ Сангин, вас попросили из учителей? Недостает еще, что вы драку затеете! Пожалуйста, пожалуйста...

— Драку... громко сказано...— проговорил сквозь зубы Джуман.

— Ну, с вами, Сариев, мы потолкуем на бюро. А потом и на парткоме, поскольку вы кандидат партии. Обсудим, обсудим, как вы проходите кандидатский стаж... Это вам обеспечено, Сариев.

— А вы не бойтесь,— спросил Джуман,— что останетесь на бюро в дурачках? Как говорится, в блестящем одиночестве?

— Не беспокойтесь! У нас и в бюро и в руководстве четвертого стройуправления на сегодняшний день сидят товарищи не безголовые и не боязливые. И есть должный контакт.

— Не уважаю я вас, Потчаев,— сказал Джуман.

— А вот уж это, знаете ли, мистика чистой воды. Меня больше интересует, где вы взяли фанеру!

Лукмонча встал с нар, протирая очки:

— Скажите, если это не секрет, а кроме фанеры, вы ничего не заметили интересного?

— А что, что еще?

— Ну, например, что клеится дружба... коллектив... и почему клеится.

— Клеится! — фыркнул Потчаев.— Что за словечки! — Он заложил пальцы за пояс.— А вам невдомек, что ваш комсомольский участок вот именно не клеится... и не оправдывает себя как таковой! И в руководстве практически стоит вопрос о расформировании участка как нерентабельного вследствие развала дисциплины...

— Что? Что? Что? — в три голоса вскрикнули Джуман, Лукмонча и Нафиса.

Потчаев откинул назад голову и важно прошелся взад-вперед с начальственно-отягощенным видом. В его вздернутых бровях и в бледных пятнах лишаев в тот момент было нечто роковое...

— А вам, дорогой товарищ,— сказал он Лукмонче с отеческой лаской,— вам, молодой человек, следовало бы не забывать, что вас поощрили. На подсобных, подручных работах, среди разнорабочих, учет личной производительности и выполнения нормы чрезвычайно не прост! Обычно мы учитываем побригадно... И ваша премия, собственно, вещь весьма условная. Начальник управления категорически не соглашался, я вас отстоял! Вот так.

Лукмонча растерянно поправил очки, хотел возразить, крикнуть, что протестует, что не просил никаких поправок, что хочет работать честно, красиво, беззаветно, но лишь пробормотал:

— Разве?

Потчаев поднял перед собой ладони, как будто Лукмонча собирался кинуться ему на шею.

С внушительной и укоризненной миной Потчаев повернулся к Самади:

— А вы-то что, вы-то что смотрели вчера? Глазами хлопали!

Самади ответил с тонкой ухмылочкой, которую поняли все, кроме Потчаева:

— Был увлечен стихией масс...

— Пойдете со мной,— скомандовал Потчаев.

Самади пошел за ним к двери.

И тут-то Потчаеву заступила дорогу стоявшая в дверях маленькая Садбар и закричала ему в лицо, мотая сорока косичками, красная и круглая, как помидор, распушив все свои перышки, точно курочка при виде кота:

— Неправда! Врете вы все! Он... работал в двух бригадах. И оба бригадира сказали, что не дадут мне проходу, если ему... не будет премии! Я была у Рахманкулова! А вы стояли на задних лапках... И вообще всем давно известно, что вы чучело огородное, в которое может влюбиться только слепая! Попугай дрессированный, который в жизни не поймет молодежь! Вас самого нужно расформировать!.. Всё поняли? А теперь можете идти!

— Сеньора, не будем сводить личных счетов,— сказал Самади, становясь между ней и Потчаевым и складывая ладони по-индусски.

— Это вам так, даром, не пройдет! — захлебываясь, выговорил с порога Потчаев и хлопнул дверью.

Никто ему не ответил, бедняге. Все в пятом смеялись. Халдар катался по постели, держась за живот.

— Поди сюда,— сказала Садбар Нафиса, тщетно стараясь сдвинуть брови.

Садбар метнула на нее бешеный и отчаянный взгляд и убежала.

Но Лукмонча еще долго видел перед собой подол ее юбки, хлестнувший на бегу ее крепкие, складные ножки, обутые в деревенские ичиги.

Видимо, тогда и постигла Лукмончу та самая оказия, которая, говорят, возникает подчас с первого взгляда. Вот как это с ним случилось...

2

Лукмонча сидел на верхних нарах, свесив босые ноги. Был вечер. В бараке нелюдно, полутемно. Удобно думать.

Лукмонча думал о том, какая Садбар замечательная. Он думал о том, какая у нее смелая, благородная душа. Есть и среди девушек, разумеется, достойные настоящего, полного доверия, способные надежно дружить, понять дружбу и не подвести друга. Есть, конечно, и такие девушки. Садбар такая...

О том, какие у нее пушистые ресницы и какие милые косички, Лукмонча в тот вечер думал меньше.

Кто-то сильно дернул его за большой палец на ноге. Лукмонча подобрал ногу и увидел внизу в сумеречном свете лицо Садбар. Оно было мокро от дождя. Глаза тревожно и сердито блестели.

В последние дни она частенько забегала в пятый. Ей было трудно подолгу не видеться с Нафисой. И Лукмонча с досадой причмокнул.

— Эх... Она только что с Сангиным в красный угол...

Садбар нетерпеливо дернула плечом:

— Там темень такая... Мне кажется, люди стоят на дороге не наши... Обувайся!

Лукмонча проворно спрыгнул на пол и натянул сапоги. На это он готов днем и ночью. Что там за люди? Он не позволит ее пальцем тронуть!

Они вышли из барака и пошли по тесной, извилистой тропинке. Она взяла его под руку и прижалась к его плечу. Чего она испугалась, дурашка? Никаких людей они не встретили. Миновали красный уголок, окна которого светились в общежитии прорабов. Подошли к бараку Садбар. Она потащила его в сторону, к той лужайке, где встречала Нафиса Сангина.

Лукмонча понял, куда его ведут, и сердце его замлело от страха и сладкого ожидания. Рука Садбар жгла его сквозь ватник. Незримый, мягкий, словно шелковый,

дождь освежал щеки. Он шел и думал, какой он нескладный, нечуткий. Садбар все тяжелее повисала на его руке, а он спрашивал себя: «Ну что же делать дальше?» Ему доводилось скоропалительно целоваться с девчонками за шкафом, в школьном физическом кабинете. После этого он пол-урока не мог понять, что говорит учительница. Но то были ничтожные девчонки, шептуньи, они смотрели на него как на существо божественное. Садбар — не то! Садбар — необыкновенная. Она друг. Конечно, ей хотелось с ним побыть с глазу на глаз. И, может, он не прочь был бы ее крепко поцеловать. Она красивая... А потом? Упаси аллах, она оскорбится! Тогда он тут же, не сходя с места, помрет со стыда.

— Спасибо тебе, Садбар... Я тебе давно хотел сказать...

— Что, что сказать? За что спасибо? — горячо прошептала она, повернулась к нему лицом так, что косички хлестнули его по щеке и шее, и, словно поскользнувшись на мокрой траве, едва ощутило коснулась его грудью.

Он схватил ее за руку, чтобы она не упала. И Садбар прикинула к нему вся.

Вот когда ему захотелось схватить ее, прижаться лицом к ее мокрым, туго заплетенным, душистым косам. Он мужественно переборол себя. Тихо, нежно пожал ее руку, чувствуя, как от этого пожатия у него темнеет в глазах.

— За что? Разве не помнишь?

Садбар с невнятным стоном оттолкнулась от него.

— Озябла я... — И пошла назад.

Он догнал ее и накинул ей на плечи, поверх ее платья, свой ватник.

— Ты веришь, до того случая я и догадаться не мог, что ты... что ты...

— Ты и после того случая догадаться не можешь! — сказала она, подавив смех, и отвернулась.

— Верно! Ты не представляешь себе, до чего это верно! — воскликнул он страстно. — Мы все не представляем, что такое человек... и что такое друг!

— Скажи еще, что такое руда... и с чем ее едят! Ну, скажи, скажи! — вдруг со злым придыханием выговорила Садбар, скинула с себя его ватник прямо на землю и побежала прочь.

Он подхватил ватник и побежал за ней:

— Садбар! Садбар, что ты?

Она стремительно повернулась:

— А ты что, ты?

— Я тебя бесконечно уважаю, пойми... Я много думал...

Но Садбар его уже не слышала. И себя не помнила. Она пришла к нему сама, кинулась на шею, не стыдясь, не страшась никого и ничего, как Нафиса... А он ей — слова, как Потчаев!

— Еще подумай,— сказала она с язвительным смешком.— Уважаю... Ты, может, мне во сне снился! Отойди... а то еще увидят меня с тобой...

И ушла.

Лукмонча остался. Долго стоял, не смея пошевелиться, оглянуться. Потом пошел кружным путем, чтобы никому не попасться на глаза — у красного уголка, у автолавки, у инструментального склада...

Неслышной тенью он проскользнул в пятый, лег, укрылся одеялом с головой. И уткнулся лицом в подушку, чтобы не слышали, как он дышит, как у него мечется в груди сердце. Он ничего не понимал, не мог понять, но ему было так себя стыдно, что впору бы зареветь.

Халдар его видел. Видел, как его увела Садбар. И как он вернулся. И все понял, конечно.

Халдар давно прицеливался к этой маленькой, сдобной... И сейчас лежал на животе, слушал, как шевелится Лукмонча, и думал о ней. Ему нравился ее жирненький белый подбородок, которого Садбар втайне стеснялась. Глазки у нее бесовские, так и стреляют. Словом, созрела девка... Прежде Халдару трудно было достать ее из девчачьего заповедника. Не каждый день удавалось увидеть. Теперь он ее видит чаще.

3

Полночь. Коротко, точно мышь, пискнула дверь. Садбар на цыпочках в белых шерстяных носках вошла в общежитие, держа ичиги в руках. Глаза ее поблескивали, как у кошки, косы слегка растрепались.

Бесшумно проскользнув к окну, она распахнула его. Ночная прохлада влилась в барак, и девушки стали под-

жимать во сне ноги под одеялами. Садбар прижалась пылающей щекой к косяку окна. Терпкий запах влажной от росы травы щекотал ее ноздри. Роса, подобно осколкам стекла, неярко вспыхивала в лунном свете. Тишина, как в добром сне.

Скоро луна зайдет. Она спрячется вон за те черные горы. Небо над ними бледно синело и, казалось, манило Садбар. Ей хотелось полететь и спрятаться с луной за горы. Ей хотелось выпрыгнуть из окна и побежать, срывая на бегу маковки осенних цветов, прижимая их к груди.

Они неприметны, эти цветочки. Они — как трава. Но Садбар любила их больше роз. И травы любила, вольные, дикие травы, в которых можно потонуть. Таких трав нет на ее родине, в Ферганской долине. Их много здесь, в рудных горах. Эти травы и цветы растут без присмотра и ухода, как Садбар росла в детстве. Они не знают ласки и любви, как она не знала.

Садбар хотелось заплакать. Хотелось громко засмеяться. Она обтерла себе ладонями щеки, словно умываясь, подошла к соседней постели и приникла губами к теплому уху подружки:

— Оксана-батыр... Эй ты, соня, проснись... Грех в такую ночь храпеть...

Не размыкая глаз, Оксана оттолкнула ее. Тогда Садбар повалилась ей на грудь всем телом. Оксана вскочила, спросонья смахнув с себя Садбар, точно легкую пуховую перинку.

— С ума сошла! Откуда ты взялась?

— И пусть, и пусть сошла... Сейчас тебя всю покусаю! Видишь, я пьяная, хмельная от этой ночи... А ты глупая, глупая... Кто тебе снился, скажи?

— Бешеная! — проговорила Оксана с оттенком зависти. — Сейчас только вернулась?

— А то когда же?

— Гуляла?

— Из Аму-Дарьи в Сыр-Дарью воду носила!

— С кем? С ним, да?

— А то с кем же!

— С Лукмончой?

Садбар надменно повела бровью:

— Лукмонча твой в это времечко третий сон досматривал... Про путешествие к центру земли! Он этими пу-

тешествиями больше интересуется. А мы — нет, мы ближе ходим...

Оксана схватила Садбар за плечи:

— Врешь ты! Сама на себя врешь. Говори, с кем была?

— Пусти... Убьешь — не скажу.

— С Халдаром? — испуганно прошептала Оксана.

Садбар вывернулась из ее больших рук, встала боком и зашипела на весь барак:

— Тебе какое дело! Что вы все на него насыпаетесь, как осы? По крайней мере парень что надо. Есть на кого посмотреть. Ростом, как Сангин. Из-под мельничного жернова целехоньким выйдет. И по крайней мере знаешь, чего он хочет...

— Уж ты дозналась?

— А ты как думала? Он передо мной носа не дерет и хвостом не виляет... Он мне в первый же день сказал, чего хочет. «На руках, говорит, буду носить».

— И ты поверила? И ты его слушаешь?

— А чему же мне верить? А что же мне слушать? Уж я того Лукмончу наслушалась досыта... На память заучила, что де-нег, которые тратят на один эсминец, хватило бы на жилье четырем тысячам семей! И что в пчели-ином меду заложено шестьдесят веществ, полезных человеку! Съешь на ночь ложку меду, выпей стакан воды и будешь спать без снов... А я не хочу спать без снов! На что мне его мед?

— Я ничего не говорю... — сказала Оксана, облизнув губы.

— Уж больно, знаешь, мы гордые!

— Лукмонча — гордый? — поразилась Оксана-батыр.

Садбар презрительно скривилась:

— Оказывается, он на год моложе меня.

— Вон как ты запела! Со мной-то ты поешь... А почему Нафиса не знает? Поди скажи ей...

— Не хочу.

— Ну, я пойду скажу.

— Посмей только! Клянусь, убегу... совсем убегу со стройки.

— Сумасшедшая... бешеная... Значит, совестно? Чего же тебе совестно?

— Я тебе сказала — не твое дело. Вас никого не касается!

...В эту ночь и Халдар вернулся в пятый позднее обычного. Новые его сапоги, уцелевшие после бегства Бека, пронзительно скрипели. Они словно взвизгивали на каждом шагу, подобно собачонке, которую пнули ногой.

У него была привычка ложиться рано, а ночью вставать, осматривать свои вещи, раскладывать на постели жратву и чего-нибудь непременно съесть, будить Кимсана и заводить с ним разговоры о женщинах. Последние ночи он ел вяленую дыню, присланную ему родичами из кишлака. Ел один, разминая липкие куски короткими пальцами, густо обросшими волосом, смачно чавкая. Затем, длинно рыгнув, он расталкивал спящего Кимсана. Из его разглагольствований следовало, что каждая встреченная им девица после первого его благосклонного взгляда терлась о его сапоги, как кошка. Слушать его иногда было любопытно. Выслушав до конца, хотелось плюнуть.

Сегодня Халдар был доволен собой. Он пришел веселый. Сапоги его визжали. Подойдя к своим нарам, он шумно плюхнулся на них и вздохнул всем брюхом так, что повсюду из-под одеял стали подниматься головы.

— Ууффф!

Лукмонча не спал, слушал.

— Где был? — спросил Кимсан.

— Э-э! Не я ли тебе говорил, что тут имеется, чем поживиться? Ну, я тебе скажу — во! — Халдар поднял большой палец. — Шайтан, а не девка. Этакую впервой встречаю. Аж мурашки по спине... Как спирт прохватывает! — Он достал из мешка кусок дыни, стал есть. — Ты-то что теряешься? Собрался бы с духом, подцепил какую... Ты не робей, стыдливых тут не бывает. Стыдливые — они дома сидят, с порога глаз не сводят, ожидая суженых-нареченных. А тут... тут лафа нашему брату верховому!

Лукмонча лежал на спине не шевелясь, точно раздавленный. Халдар чуял, как пес, — он не спит. И хвастал не перед Кимсаном — перед ним, очкариком.

Он лгал, этот боров. Гнусно лгал. Но он ее видел. И она его не гнала.

Он говорил правду. Такой девушки больше не встретишь. Ей нет равной.

Теперь Лукмонча думал о Садбар не так, как прежде.

Он думал о ее глазах, поблескивавших лукавыми огоньками, о ее маленьких, крепких, горячих ручках, о ее груди, распирающей тесную безрукавку,— Лукмонча не забыл ее беглого нежного прикосновенья, когда Садбар будто бы поскользнулась на мокрой траве.

Это уже не прежняя Садбар, другая. Но как она хороша, как желанна, эта Садбар, встречающаяся с другим парнем... Лукмонча видел ее, как путешественник новую землю, в мираже. Видел, но не открыл. Другой парень ступил на эту землю скрипучим сапогом...

Не спал в ту ночь и Джуман. То, что стряслось с Лукмончой, не укрылось от его глаз. История с Гюльрез поубавила у Джумана самоуверенности, прибавила умения видеть и понимать увиденное. Лукмонча так оберегал свою тайну, что было ясно — с ним беда.

Оксана-батыр однажды, идя мимо красного уголка, завела уморительно-тонким голоском:

А Лукмонча́, а Лукмонча́...
А милый, сердисься на ча́?
Или люди чо сказали?
Или сам услышал ча?

«Слабы мы, слабы,— думал Джуман.— Упускаем Садбар...»

И еще одна беда больно задела Джумана. Он ощущал ее так же остро, как недавно потерю Гюльрез. И это была его собственная тайна.

Пришла Нафиса и сказала, что нашла Адолят. Видела ее, звала в общежитие девушек, на свое место. Со слезами звала... Адолят отказалась наотрез.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Между тем на участке объявился первый настоящий передовик. И даже герой, способный на трудовой подвиг. Этот человек был тоже из пятого, из того набора, который привез сам Потчаев.

В дни, когда решалось, быть или не быть комсомольскому участку, Потчаев перевел Самади на главную строительную площадку у горы Ак-Таш. Здесь возво-

дился рудодробильный узел, закладывался сортировочный цех.

Место завидное. Сюда хотели бы попасть и Джуман и Кимсан. Тут можно и заработать, и подучиться, и себя показать. И, чтобы не было нареканий, лишних разговоров, Потчаев послал в котлован рудодробилки еще двоих: одного из старожилов — Сангина и одного из новеньких — Лукмончу.

Котлован огромной рыжевато-бурой ямой зиял у подножия горы Ак-Таш. Стенки у него крутые, обрывистые. Самосвалы спускались в него, тормозя, глухо урча, длинной петлей. Ковши экскаваторов не доставали до верхнего среза.

А гора Ак-Таш — серая гордая скала. Она кажется цельной. Глубокие трещины и щели снаружи выглядят легкими царапинами. Но она проколота вдоль и поперек бесконечными штольнями.

Главный вход в глубь Ак-Таша виден прямо над котлованом. Из него, из груди скалы, с утра до вечера доносятся вздохи-взрывы. Из него, точно из узкой глотки, день и ночь течет вода. Бог весть откуда она берется в скале, в высоком Ак-Таше. Она течет рекой, то мутной, то светлой, то желтой, то зеленой, и не иссякает уже который месяц! Шутники геологи говорят, что она будет течь век и в будущем городе воздвигнут мраморный фонтан, в который пустят эту воду.

Чтобы отвести ее от котлована, насыпали под Ак-Ташем земляную перемычку. Но вода ее каждый день размывала, просачивалась сквозь нее в котлован. Тогда поставили бревенчатые колодцы ряжей, насытили их камнем и землей, покрыли бетонной шкурой, толстой, как у слона. Выросло капитальное сооружение, «модельное», как определил Самади. Встала на пути воды дамба, и вода уперлась в нее, заплескалась об ее бетонный бок, взбила грязноватую пену и пошла в сторону — искать себе русло.

На дамбу было приятно смотреть. По ней было приятно пройти. Лукмонча любовался ею, точно живым существом. Он ее строил. Она была первым в его жизни законченным *объектом*, вступившим в строй. И как только она была готова и Лукмонча пошел с метлой подметать ее покатым горб, ее назвали Комсомольской.

А на другой день, на рассвете, увидели страшную картину — в котловане была вода.

Она крутилась широким, медленным круговоротом. На ее мутном зеркале плавали островки мусора, щепы, доски, тряпки, пропитанные мазутом, ватники, оставленные на ночь шоферами и машинистами. Из грязного омута торчали стрелы, блоки, тросы экскаваторов, кузова самосвалов. Вода незаметно, помаленьку прибывала. От нее веяло холодом Акташских скал.

Поднялся переполох. Забегали по дамбе. Она стояла целехонькая, и горб ее был сух. Значит, вода проникла в котлован низом. Просочилась она сквозь ряжи с камнем и бетон или, может, уже пробил в ней брешь, промыла окно? Большое ли окно и где оно? Сомнительно, чтобы столько воды нафильтровалось из донного грунта котлована.

Люди кричали:

— Куда подевался гидротехник?

— Казимова надо! Беги за Казимовым...

— Будите всех! Поднимайте на ноги!

— Авария, братцы, а? Вот это да-а... Первый раз вижу. А ты?

— Халтура, а не дамба! Шарашкина контора! Еще прозвали Ком-со-мольская! Мастера крестить, не успев родить...

— Отойти от края! Мотай отсюда! Раззявили рты!

Прибежал, по-стариковски приседая на ходу, Казимов, без тубетейки, небритый, с трясущимися щеками.

Его окружили, толкаясь, размахивая руками. Однако он не дал себя дергать за локти и слабым голосом перекричал всех. В крупных, масштабных делах он тушевался. В маленьких, особенно на авариях, он был хорош. На своем рабочем веку он повидал десятки таких и более опасных.

Казимов послал за водолазами, вызвал аварийщиков с насосами, дал знать горнякам. Из штольни сверху неторопливо спускался человек в брезентовой робе. Он на голову выше всех. У него под началом были люди, которые откапывают и выносят шахтеров из завалов, идут первыми в подземный огонь и воду.

Ему Казимов сказал:

— Вода, видимо, набиралась всю ночь. Вряд ли дыра...

И тут что-то тяжелое с шумным плеском бухнуло в воду.

— Человек! Парень свалился!

— Полоумный, сам кинулся в омут!

— Кто? Кто?

— Долговязый такой, лохматый...

— Самади! — закричал Лукмонча не своим голосом.

В том месте, куда упал или прыгнул парень, кольцами и полукружьями расходилась темная вода. Лукмонча сорвал с пояса человека из штольни веревку, разматал ее и кинул конец на воду.

Через полминуты Самади вынырнул с чалмой мусора и жирной грязи на голове. Он не взял тонущий конец веревки, а, отплеываясь, переводя дыхание, сказал:

— Спокойненько... снимаю! Равнение на меня... Попрошу улыбку.

И опять нырнул.

Еще через полминуты он показался над водой, отфыркался, мотая длинными волосами, крикнул хрипло:

— Заметано! Держите меня... я весь ваш... — И схватился за веревку.

Его вытащили на дамбу. Он был с ног до головы облеплен глиной и жидкой землей, точно тиной, трясся всем телом, лязгал зубами и без слов мычал тягучую мелодию не то песни Богословского «Темная ночь», не то некоего самоновейшего бразильского блюза.

Его тотчас завернули в плащ, накинули на плечи ватник, пальто. Он рванулся к Казимову и человеку из штольни. Его поставили перед ними.

— Каз-зимов, — сказал Самади нараспев, — там, под вторым ряж-жем, г-глубина метра д-два, х-х-хлещет всюю... Бе-бетончик-то дрянью... полз-з... ползет!

— С-ступайте в помещение! — сказал Казимов, тоже заикаясь, мертвенно-синий, как Самади. — Ко всем чертям! Чтобы я вас не видел! Уберите его...

— Самади!! — крикнул Лукмонча, бросаясь ему на шею.

Так из мутной, грязной воды котлована вышел герой. Его отвели в барак, раздели, помыли, натерли и напоили спиртом. Натопили чугунную печь так, что пятый, казалось, стал просвечивать внутренним жаром.

И прежде чем насосы откачали из котлована воду и

шель в дамбе заделали, прежде чем солнце успело закатиться, на всех участках и площадках появилась «молния», написанная Потчаевым. Она была озаглавлена сухо, деловито: «Перелом в настроениях молодежи». Подзаголовок: «Мужество комсомольца Самадова».

Самади лежал под тремя одеялами и говорил тем, кто приходил его проведать:

— Друзья болельщики, без паники! И без демагогии! Спросите у старика Казимова. Разве это то, что надо? Вот в двадцать восьмом году в Лос-Анжелосе было... Четыреста человек погибло. Десять миллионов долларчиков убытка! Вот это страница истории... люкс!

И теперь Лукмонче было неприятно его слушать. Опять неприятно. И хотелось с ним поспорить. Удивительно все же, как Самади не понимает, что сам сделал. Это у него, надо думать, от смущения. От смущения он может папу с мамой послать к черту...

2

Потчаев развернулся во всю свою мощь. Он ставил дело на широкую ногу. На летучках и планерках, на производственных совещаниях по всему участку и по всему строительству называли имя Самади. Все знали Самади в лицо. В речах и при встречах Потчаев именовал его не иначе, как уважаемым товарищем, и всякий раз требовал, чтобы он выступал сам.

Самади поднимался и рассказывал про случай на Днепрогэсе. Там тоже в свое время прорвало перемычку, и один парень, комсомолец, по фамилии Бирюков, полез в ледяную воду и полтора часа не вылезал из нее, пока не был закрыт проран. Ныне Бирюков лежит с окостеневшим позвоночником. Ныне он писатель, написал знаменитую книгу «Чайка». Он — как Николай Островский. Его знает вся страна. Им гордится комсомол... А что же он, Самади? Он здоров и пока ничего не написал...

При случае, отведя Самади в сторону, Лукмонча спрашивал его:

— Как тебе не надоест?

Самади отвечал:

— Старик, я себе не принадлежу.

Как-то после смены он привел в пятый дорогого гостя — парнишку в модной светлой кепочке и в майке Джумана. Это был Бек.

Самади втолкнул его в дверь, смеясь и весело крича:
— Какая встреча! Анекдот! Можете рассказывать потомкам. Иду. Подбегает ко мне: «Вы — Самади?» «Я». — «Тот самый?» — «Как будто бы тот!» — «Который нырял на дамбе?» — «Был грех. Признаю свои ошибки...» — «Я, говорит, хотел на вас посмотреть!» — «Что же, смотри...» Смотрит! Просто анекдот.

В отличие от прошлой встречи Бек был отменно чист и не рвался из рук. Штаны на его коленках заштопаны, и видно, что не его рукой, женской. В глазах нет злости. В глазах тоска.

Халдара в бараке не было, и никто не помешал парнишке подойти к Джуману. Джуман сидел у стола и, когда подошел Бек, холодно отвернулся. Джуман не хотел с ним разговаривать, а Бек не хотел говорить ни с кем другим.

— Брат,— сказал Бек,— прости. Я тебя прошу...

Джуман кивнул в сторону ребят:

— Вот твои братья. У них проси! Они тебя приютили, привели... Я тебя знать не знаю. Нечего у меня просить.

— Я дурак,— сказал Бек.— Я трус.

— Это мне давно известно.

— Но... я пришел... сам... Я к тебе шел.

— Ступай туда, откуда пришел!

— Брат...

— Я тебе все сказал.

Бек тоже отвернулся, прижал подбородок к груди, сдерживая конвульсивное рыдание. Сказал с прежней злостью сквозь зубы:

— А лежачих даже урки не бьют...

Джуман встал:

— Мы не урки. Нам лежачих не надо. И ты... не дергайся передо мной! Я сказал один раз: чтобы этого больше не было.

Бек выпрямился и закричал:

— Не будет. И не было!.. Ничего не было... Слышишь? Я никуда не уходил! Здесь был все время... Я все про тебя знаю — и как тебя позорили, и как ты переживал. И не желаю теперь, чтобы вот этот гусь,— Самади

нервно дернул щекой,— этот вот фраер с проспекта Навои перед тобой задавался. Пусть люди знают, что я пришел! И вещи верну в целостности-сохранности — и простыни и Халдарово барахло... Хоть сейчас приволоку.

— Постой, постой! — с неловким, стесненным смехом пробормотал Джуман. — Где же ты тут был?

— У Адолят. Она меня в ту ночь застучала. Поймала на месте. И отвела к себе. Из ее рук, знаешь, живым не уйдешь! Потом штаны починила... Кормила. И все про тебя рассказывала, все!

Джуман подошел и обнял мальчишку. Обнял горячо. В ту минуту он обнимал Адолят, сам того не сознавая.

Не прошло и получаса, как в пятый опять потянулись люди со всех барачков. Набились битком, как в ночь переселения Нафисы. Ничего не поделаешь, не прогонишь!

И пришлось Беку по второму заходу рассказывать им все сначала — как он убежал из дома, как попал в другой город, как его увидела и подобрала на базаре учительница, вдова, а через несколько лет разглядел и подобрал один ловкий, хитрый, красивый и страшный парень Анвар, как Бек ушел от учительницы, хотя очень ее любил, и как стал промышлять с Анваром и его людьми в поездах и не мог это дело бросить, хотя очень его не любил. Правда, при Анваре он жил в холе, одетый, обутый, как пижон. Первый раз Бек его послушался, отстал от него, и сразу отощал, и бездарно влип на чемодане Потчаева, в котором были одни казенные бумаги.

Джуман слушал с заметным нетерпением. Ему никак не удавалось расспросить Бека толком про Адолят.

К столу с трудом протискался Потчаев. И на этот раз он не стал мешать, стал слушать про Анвара.

Джуман спросил Потчаева:

— Как посоветуете — идти мне к начальнику управления?

— Я сам схожу, — сказал Потчаев. — Устроим. Попрошу только имя и фамилию.

— Бакир Субханов.

— Хорошо, пусть придет ко мне завтра.

Бек пришел к Потчаеву ровно в восемь утра. А в обед Джуман узнал, что Рахманкулов приказал послать Бека в Чалдаринский гравийный карьер, и Потчаев отправил его туда с первым же попутным самосвалом. Карьер находился в шестидесяти трех километрах от четвертого

стройуправления. Туда назначали обычно проштрафившихся на других участках.

— А может, вы сдали его в милицию? — спросил Джуман, кусая губы и проклиная свою доверчивость.

— Что вы, товарищ!

— Рахманкулов с ним говорил?

— Нет.

— Почему же он не прибежал хотя бы попрощаться? Он еще и простынь не принес...

— Простыни от нас не уйдут, я полагаю. Ну, а он просил передать братский привет, — Потчаев любезно улыбался. — Вы хотели, чтобы я устроил? Пожалуйста!

3

Дня два спустя в пятый вошел человек лет тридцати пяти, в пальто и в пыжиковой шапке-ушанке. Он был высок ростом, горбонос, смугл и узколиц, как горец. Бросались в глаза его выправка, напоминая военную, и твердая походка. Изредка он едва заметно прихрамывал на левую ногу, словно нащупывая что-то ступней и вдавливая в землю.

Бросив у двери небольшой черный фибровый чемоданчик и сняв шапку, он прошел в барак, приветливо здороваясь со всеми.

Ребята смотрели на его чемодан. Это, должно быть, чей-нибудь родственник, приехал проведать, привез вкусенького — фруктов из своего сада, орехов, а то и винца.

Джуман и Лукмонча сидели за столом. Стол не покрыт, но накрыт, на нем чайник, на листе оберточной бумаги нарезанная колбаса.

— Ну как работается? Как жизнь молодая? Все ли здоровы? — спросил гость, подходя к столу.

— Жизнь идет, спасибо, — ответил за всех Джуман. — Садитесь с нами чай пить.

— Просим вас, — добавил Лукмонча. — Чем богаты... Краковская, полукопченая!

И ребята на нарах заулыбались: сейчас приезжий примется потрошить свой чемодан...

Тот, однако, от чая отказался. Сел к столу боком.

— Мне бы, признаться, поспать минуток полста.

Странно! Так гости не разговаривают.

— Ложитесь на мою койку, отдохните,— предложил Джуман.— Или вот поближе к печке... Кимсан, уступи свое место.

Кимсан с готовностью встал.

— Честь и почет старшему,— сказал он.

— Залезай ко мне,— кивнул Кимсану Лукмонча.

Гость внимательно посмотрел на Джумана, потом на Лукмончу.

— Дружно живете? — спросил он.

— Обыкновенно.

— У ваших соседей не заметно этого обыкновения.

— Там не комсомольцы. И вообще шоферня. Маши-
нисты... Люди с гонором.

— А среди вас нет машинистов?

— Есть... желающие!

— Желающие приобрести гонор?

— Конечно,— ответил Кимсан.

Гость скупо улыбнулся:

— А вы, стало быть, Джуман? А вы Лукмонча? Так
надо понимать?

Джуман и Лукмонча переглянулись. Гость, видимо,
знал их имена из писем своего родственника. К кому же
он приехал? Идет по всем баракам...

— Скажите, братец,— спросил гость Лукмончу,— вы
не из Бухары?

— Да, из Бухары.

— Я знал одного лейтенанта-артиллериста на Вол-
ховском фронте — Бахрама Лукманова. Его убило на
моих глазах у орудия, на огневой позиции.

— Это мой отец,— тихо сказал Лукмонча, кладя на
стол недоеденный бутерброд.

Гость сжал смуглой жилистой кистью руку Лукмончи.

— Редкой храбрости был человек... Мы все попали
на передний край с ходу, с марша, еще не обстрелянные.
Всем было страшновато, естественно, а ему — нет, как
будто он сто лет воевал. Командовал, как на учениях,
четко, спокойно... Я был у него наводчиком. Меня ранило
осколком в левую ногу в том бою, в котором его убило.

— Я его часто вижу во сне,— сказал Лукмонча,— до
сих пор...

— Он был мечтателем,— сказал гость.— Мечтал, что
его сын будет географом или геологом...

— И будет! — проговорил Лукмонча твердо.

Гость кивнул и пододвинулся к Джуману:

— Скажите, друг, а вы... были на комсомольской работе?

— Да...— ответил Джуман с ноткой удивления.— Избирали меня...

— Избирали! Хорошо. Я слышал — вы тут всем миром приютили мальчишку-вора, устроили жилье первым молодоженам. Насколько я могу понять, ищите, так сказать, выхода своей общественной активности. Но — может, я ошибаюсь? — все это у вас как-то стихийно, экспромтом, по наитию... А что же, иных путей, более организованных, вы не находите?

Джуман молчал, исподволь косясь на Лукмончу и тщетно стараясь догадаться: кто ж такой этот все знающий человек?

— Смотрю я на вас,— продолжал гость мягко,— а вы вроде и не похожи на молодежь... С вечера на нарах! В ваши годы я не мог бы сейчас уснуть. Неужто не хочется размяться, повеселиться? Девушки-то не сердятся на вас?

— А ты сам не массовик случаем? — грубовато спросил Халдар, высунув косматую голову из-под одеяла.— Или, может, баянист? Поработал бы у нас с недельку, небось враз поостыл бы! Де-евушки... Мы сами на себя осерчали.

— Слава богу, мне по договору осталось шесть месяцев...— проговорил Кимсан, потягиваясь на нарах.— Полгодика — и баста!

— Слава богу? — переспросил гость с невеселой усмешкой.— Вы хотите уйти со стройки? С такой стройки!

Джуман и Лукмонча опять переглянулись. Они поняли, что этот человек здесь не проездом.

— В такие места, дорогие мои,— сказал он,— едут надолго, на всю жизнь. Просятся, чтобы послали, чтобы приняли!

— И мы просились,— сказал Лукмонча.

— И я просился,— сказал гость.

В эту минуту в пятый вошел Самади, одетый как в воскресный вечер перед театром Навои, при галстукке с булавкой. Вошел с шумом, напевая, изящно подбрасывая на ладони ключ с цепочкой.

— Кто просился и куда? — осведомился он, не умеряя голоса, с непринужденностью радушного хозяина.—

А-а, бонжур! Новая жертва вербовки кадров! Все абсолютно понятно. Нам на комсомольском участке как раз не доставало старичков, убеленных и неубеленных... Салют, салют!

— Так вам уже все понятно? — спросил гость, добродушно присматриваясь к Самади.

— На сто и больше.

— Вы, по-видимому, Самадов?

— Узнали? Польщен... Но с вашего позволения — Самади! Только что у Потчаева меня снимал на цветную пленку товарищ из центральной прессы.— Самади вынул из кармана куртки и с шиком бросил на стол горсть конфет.

Гость взял конфету, развернул три обертки, скомкал их и положил конфету целиком в рот. Сказал, разжевывая ее:

— Решительный вы парень. В такую пору броситься в воду...

— Водичка была холодна,—согласился Самади и дружески похлопал гостя по плечу, переходя на «ты».— Ничего, дядюшка, поработаешь малость, освоишься, станешь смотреть на жизнь просто!

— А вы, стало быть, уже освоились? — спросил гость так вежливо и невозмутимо, что Самади убрал с его плеча руку.

— Я лично держусь того мнения, что мы живем в историческое время и все у нас впереди,—сказал Самади, незаметно подмигивая рассерженному Лукмонче.— Но есть человеки, которых ведут за ручку, и есть человеки, которые ведут за ручку. И те и другие идут в ногу, разница неуловима. Как говорится, разделение труда! — Самади кинул беглый взгляд на ручные часы: — О!.. Прошу прощения. Общий привет! — Он легонько подпрыгнул и побежал к двери.

— Одну минуточку,—сказал гость, не глядя на Самади, спокойно складывая на столе сильные смуглые руки.

Самади остановился на бегу.

— Скажите, товарищ Самади, сколько раз вы ныряли у дамбы?

— Я? Два раза... Желаете интервью?

— Как же вы определили в мутной воде за считанные секунды, у какого по счету ряжа брешь?

По бараку прошелестел сдержанный шепоток. Ребята прыгивали с нар, собирались у стола. Самади тоже небрежно, враскачку шагнул к столу.

— Насколько я помню, определил *на ощупь!* — сказал он со снисходительной усмешкой. — И, насколько я помню, я не ошибся! Мой диагноз подтвердился.

— Совершенно верно... Скажите, а как вы могли понять без пробы, до химического анализа, что бетон — дрянь? Этот ваш диагноз тоже подтвердился!

Самади вернулся к столу с равнодушно-рассеянным видом, но в голосе его прорывалась злая дрожь.

— Как понял? — переспросил он. — Представьте себе — наитие гения! Это вас устраивает?

— Вполне.

— Больше вопросов нет?

— Нет. Есть просьба: напишите мне обо всем этом докладную. Коротенько.

Самади сел с усталым вздохом.

— Простите, а кто вы, собственно говоря, такой?

— Я Эльчибек Давранов, — сказал гость, вставая. — С сегодняшнего числа начальник вашего участка. — И с улыбкой повернулся к Джуману: — Вам большой сердечный привет от вашего дружка.

— Какого дружка?

— От того самого... с Чалдаринского карьера! Живет в палатке, ест из термоса. И уже соскучился по вас...

— Бек! — вскрикнули Джуман и Лукмонча в один голос.

— Очень соскучился, — добавил Эльчибек, посмеиваясь, — но уходить оттуда не хочет. Зло-ой паренек! Обожженный. Да! Еще он просил обнять и поцеловать сестру Адолят... Ну, я не прощаюсь, товарищи...

Эльчибек пошел к своему чемодану, и Джуман заметил, что хромает он сейчас чуть-чуть сильнее, чем тогда, когда вошел.

Часть вторая

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

После ранения и шести недель в госпитале Эльчибек Давранов попал на Волгу в саперную часть. В Берлин пришел командиром саперной роты. Еще в войну ему довелось много строить. Он строил дзоты и мосты. Наводил переправы через полноводные реки России и Польши. Очищал от мин пороги домов, фундаменты фабричных труб и радиомачт, перекрестки дорог и землю полей под пахоту. Он спас десятки и сотни зданий, мостов, шахт и машин, тысячи человеческих жизней. Его свидетельства: «Мин нет. Давранов» хорошо знали солдаты. Нередко он шел впереди атакующих бойцов, впереди танков.

После войны Эльчибек стал инженером и продолжал строить уже не под огнем. Повсюду было трудно, особенно в первую мирную зиму, когда возводили плотину на реке Чакмасай,— там Эльчибеку пришлось командовать женщинами и подростками. Но ни на одной стройке он не сталкивался с такой неустроенностью, как здесь, в горах.

Ни одна бригада, ни одно прорабство не справлялись с заданием, с планом. Коллективы расплзались, как сырое тесто. Складывалось впечатление, что здесь так и задумано: работа должна быть изнурительной и скучной, обеды — безвкусными, жилье — грязным, а люди — недоброжелательными и обозленными.

Эльчибек зашел в столовую. Попросил суп. Подали мутную болтушку. Эльчибек пошел на кухню. По пути, в комнатке заведующего, он увидел плотного пожилого человека с постным лицом и розовым носом, в новом полушубке. Он сидел, распахнув полушубок, за столиком,

покрытым чистой скатертью, ел суп. Это был начальник снабжения Самандаров.

— Как будто бы подвоз налажен,— сказал Эльчибек,— есть у вас и мясо и рис. Почему так кормите?

— Шеф-повар сбежал... Ах, что за мастер! Кудесник...— Самандаров сладенько улыбнулся.— Вы, по-видимому, из столицы? Скажем прямо: с ташкентскими ресторанами мы не сможем соперничать. Здесь столуется рабочий народ.

— Рабочий народ? А вы, простите, сами из какого же народа? У вас не такой суп!

Самандаров обиженно пожевал тонкими, как лезвия, губами:

— Пожалуйте, садитесь. Вам подадут такой же...

— Спасибо! Мой аппетит остался в общем зале.

— Ну, мы не можем, молодой человек, пойти на уравниловку...— начал Самандаров, повышая голос, и запнулся, увидев, с каким насмешливым ожиданием смотрит на него новый инженер.

— И второе, товарищ начснаб,— сказал Эльчибек так, будто о первом они полностью договорились: — сапоги, спецовки, рукавицы. Предупреждаю — жаловаться не стану. Это дело подсудное.

— Но мы не можем... мы...

— Вам придется вспомнить,— сказал Эльчибек твердо,— что такое рабочий народ.

Самандаров хотел вскочить, вспылить. Ни того, ни другого он не сделал. Эльчибек отошел от него, прихрамывая.

Он думал о Рахманкулове. В тресте хвалили начальника четвертого СУ: «Это конь ломовой. В такое дело, как у него, не всякий впряжется. А он повез! Он вывезет...» В парткоме о Рахманкулове отзывались сдержаннее. Секретарь парткома Ахмед Хусейн словно бы обнадеживал: «Человек он рабочий, с ним можно найти общий язык». Ульяна Басова сказала прямее: «Если он вас не подомнет сразу, толк будет...»

Еще в институте Эльчибека учили: «Скажи мне, кто твои помощники, и я скажу, какой ты начальник».

Судя по Самандарову и Потчаеву, Рахманкулов начальник слабый.

Эльчибек пошел в контору и раскрыл папку с приказами по управлению. Приказы Рахманкулова были

кратки и деловиты. Чувствовались опыт, уверенность. Ни казенщины, ни краснбайства. Подпись простая, без закорючек... И вдруг Эльчибеку бросился в глаза новый приказ, подписанный на днях: «...в целях предотвращения самовольных уходов молодых рабочих со стройки...», Эльчибек невольно поморщился, «...отобрать у всех паспорта и хранить в отделе кадров. Только в исключительных случаях, с моего разрешения...»

Эльчибек не поверил своим глазам. Отобрать паспорта? На основании какого же закона? Может, Рахманкулов полагает, что его слово здесь сильнее Конституции? Отобрать паспорта у молодых... Оскорбление!

Эльчибек отправился к Рахманкулову.

В приемной его встретила Хумахон. Встала, протянула ручку, заглянула в глаза:

— Он на объекте. Садитесь, подождем его вместе. Скорее дождемся...

Красивая женщина. И голосок ее сладок. Взгляд манит. Однако сейчас Эльчибек не был расположен к любезностям.

— В следующий раз я буду сидеть около вас сутки кряду. Узнайте, на каком он объекте.

— О, какой вы сердитый, какой злой!.. Он — в известковом цехе.

Минут через десять Эльчибек разыскал начальника среди незаконченных строений рудодробильного узла. Рахманкулов смахивал известковую пыль с бритой круглой головы. Увидев Эльчибека, он поспешил к нему на встречу.

— Я вас хотел видеть.— И стал расспрашивать по порядку — как доехал, как устроился, о семье и здоровье, по всем правилам гостеприимства. Ладонь Рахманкулова лежала на плече Эльчибека, и это походило на дружеское объятие.

Они пошли в контору, и Рахманкулов держал руку на плече Эльчибека, как бы опираясь на него по-стариковски. Сейчас трудно было говорить ему резкости.

— Мне кажется, на моем участке, Субханкул Рахманкулович, надо кое-что изменить,— начал Эльчибек.

— Кое-что? Все, с начала до конца! С первого же дня и часа... За этим я вас и ждал, дорогой мой.

Хорошо сказано. Лучшей встречи нельзя и желать.

— Прежде всего,— заметил Эльчибек,— следовало бы сломать то настроение, которое сложилось у молодежи...

— Сломать? Согласен!

— Молодой рабочий должен знать, что приехал сюда...

— Совершенно верно,— перебил Рахманкулов.— Приехал сюда работать.

— Я бы сказал: жить, товарищ Рахманкулов. Жить полной жизнью, трудной, но щедрой и увлекательной.

— Трудной, говорите? — переспросил Рахманкулов, убирая руку с плеча Эльчибека.

— Да, чтобы он не поглядывал на дорогу и на попутные машины. Чтобы он нашел здесь все, что искал. И чтобы он уважал нас за то, что ему дается, и за то, как ему дается...

Рахманкулов беззвучно рассмеялся, узнавая в словах Эльчибека прямой ответ на мысль, высказанную в последнем споре с Басовой. Типичная женская манера — как доходит до дела, отвечать через мужчину... А Давранову вроде бы не к лицу петь с чужого, да еще с бабьего, голоса!

Они вошли в управление. Рахманкулов грузно прошагал в свой кабинет впереди Эльчибека, толкнув дверь ногой. Спросил с холодком, кидая белую фуражку на стол:

— И что же для этого от меня требуется?

— Во-первых, вернуть рабочим паспорта.

— Так,— промолвил Рахманкулов,— во-первых...

А взгляд его добавил: «Во-первых, отменить мой приказ! Из молодых, да ранний».

— Я думаю,— сказал Эльчибек сдержанно,— нам не зачем ущемлять достоинство людей, особенно молодежи. Я думаю, резоннее наградить достоинство, гордость, самолюбие человека, иначе...

Рахманкулов побарабанил пальцами по столу.

— Возможно, вас послали сюда воспитателем, товарищ Давранов. Тогда уж лучше бы нам воспитательницу! («Басову...» — тотчас смекнул Эльчибек.) Меня послали строить, делать будничное, скучное дело, определенное указом правительства в плановые, то есть узаконенные, сроки. Сделаю — хорошо, не сделаю — положу вот это на стол,— он хлопнул себя по левой стороне груди, где в

пиджачном внутреннем кармане лежал партбилет.— Не далее как вчера у меня с Чалдаринского гравийного карьера сбежали двое рабочих, молодых... которых вы не успели воспитать...

— Знаю. Я там был вчера.

— Та-ак,— протяжно выговорил начальник. Это сообщение ему, видимо, понравилось: новый инженер входил на стройку не с парадной двери, а с узкого места.— Что же вы, дорогой мой, скажете завтра, когда с вашего участка во все прорехи,— а их пока мно-ого,— потечет рабочая сила? Мы ее набирали, заключали договора, били себя в грудь на митингах по всей республике... а вы вмиг разбазарите... И укатите себе в Ташкент, на крупный пост в главк, а то и в Москву, в Академию общественных наук, совершенствоваться в воспитании! А мне — тут потеть... Мне — отвечать!

Эльчибек заставил себя улыбнуться. Его раздражало каждое слово Рахманкулова. «...У меня, с Чалдаринского...» Эльчибек терпеть не мог это сакраментальное «у меня». Комсомолия была для Рахманкулова «рабочей силой». «Делать будничное, скучное дело». Так он сказал. Если тут ирония... глупейшая, право! А может, он всерьез считает жизненной нормой будничность в деле?

Эльчибек протянул ему руку:

— Желаете, поспорим, кто из нас двоих раньше бросит строительство?

Странное впечатление произвело на Рахманкулова это безобидное предложение. Обветренные его щеки побелели. Он тяжело опустился на стул, утомленно бормоча:

— Не раскусили вы еще нашу братву... Раскусите — сплунете! На груди, на спине, на заднице татуировка... Узбек, а расписан морскими сиренами. О аллах милосердный...

«И где он нашел такого? — подумал Эльчибек, садясь по другую сторону стола.— Показал бы мне! Наверное, нравный парень, с фантазией... Может, воевал на флоте?»

И, словно о паспортах было уже договорено и условлено, так же, как в разговоре с Самандаровым, Эльчибек продолжал:

— Во-вторых, уважаемый брат Субханкул (он назвал его почтительно-ласково: «Субханкул-ака»), я буду вас

просить: Самандарову парочку слов, не больше, чтобы замечал мой участок и пошевеливался, а Потчаева убрать с глаз долой, чтобы я его на участке не видел. Чтобы духом его не пахло!

Рахманкулов поднял на Давранова ошеломленный взгляд. Теперь его лицо, бритый затылок и шея окрасились в цвет свеклы. Он готов был по-ребячески прыснуть от неожиданности. Ну и нахал, однако! По чести говоря, он попал в яблочко: Самандаров нуждается в «парочке слов» — распустился, забарствовал, а Потчаева пора, пора гнать, на дурачке можно походя, между делом и безделицей, голову свернуть. Но в первый свой рабочий день инженеру «просить» начальника управления прижать своих двух заместителей... Каков!

Если уж совсем открыться — с Потчаевым инженер угодил в больное место. Недалек, болтун, слов нет, но старателен, радеет молодой человек, имеется в нем, так сказать, бдительность в ряде вопросов. А потом, как ни говори, пусть бестолковый, ералашный, но ученик! «Неумно, неумело, а с меня брал...» — думал Рахманкулов с тайным смущением и видел, что инженер это понимает, понял сразу!

— Так... — сказал Рахманкулов выжидательно.

А Эльчибек тут же заговорил о другом, чтобы не дать начальнику отрезать под горячую руку:

— Кстати, я уверен, что это вас давно заботит и мучит... Вот тот самый Чалдаринский карьер, с которого бегут малодушные и мамины сынки, будь он неладен!

«Превосходно схвачено, превосходно, — подумал Рахманкулов, со стуком переставляя подальше от себя пластмассовый стакан с карандашами. — Впрочем, это и Казимов заметил. Заметил, но смолчал. По сей день помалкивает. Вот разница между ними».

— Что поделаешь! — сказал Рахманкулов, не скрывая раздражения. — Строим в горах, а гравий возим из долины.

— За шестьдесят три километра, — напомнил Эльчибек.

— На Волжскую ГЭС возят камень с Царева кургана, за все девяносто километров!

— Не смею спорить, но мне ли вам говорить — в один прекрасный день гравийная проблема свяжет вас по рукам и по ногам.

«Просто зарежет!» — подумал Рахманкулов и усмехнулся добродушному тону инженера, тону легкого, беспечного собеседования за десертом, после праздничного обеда. «Свяжет вас...» — сказал он. Так мог бы выразиться и Потчаев».

— А в других вопросах вы, я вижу, смеете? И даже весьма! — высокомерно-насмешливо заметил Рахманкулов.

Эльчибек встал, слегка морщась от боли в ноге.

— Нет, и в других не спору. Субханкул Рахманкулович, приказ о паспортах вы отмените... или не подписывайте приказа о моем назначении.

— Так, может быть, с этого последнего и начать? — спросил Рахманкулов. — По крайней мере не придется слушать прописные истины...

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, напряженно-вежливо улыбаясь.

— Решайте, — сказал Эльчибек и поклонился. — До свидания.

Когда он шел через приемную, Хумахон смотрела на него с ужасом, прижав руки к груди и задыхаясь от сердцебиения.

2

«Что за нелепость! — думал Эльчибек, уединившись в своей конторе. — Рассориться с начальником прежде, чем начать работать...»

Однако иначе Эльчибек не мог. Держался он, кажется, не слишком дерзко? И то слава богу. Басова, пожалуй, одобрила бы такое начало. А секретарь Хусейн? Он ровесник Рахманкулову и его приятель. Хусейн скорее всего скажет, что в деле младшему по опыту и возрасту задевать самолюбие старшего необязательно. Хусейн работал в аппарате республиканского ЦК, но отдает должное восточным церемониям. У него это получается очень натурально, подчас красиво и отнюдь не вразрез с партийностью.

Жизнь с Рахманкуловым будет, конечно, немирной, если будет... Их спор только начался. Но иной жизни Эльчибеку не обещали.

Хозяиственный Рахманкулов крепкий. Это видно по

тому, как он... смолчал, когда речь зашла о Самандарове, Потчаеве. Каков он политик, каков человек? Словом, какой он коммунист? Ясность меж ними полная. Никаких недомолвок. Обошлось без намеков и иносказаний. Это хорошо. Что же он решит?

Эльчибеку захотелось немедленно поговорить с Басовой. Так... обменяться несколькими словами... Он поднял телефонную трубку, попросил партком. И положил трубку. Вряд ли она сидит в парткоме — где-нибудь в шахте, у себя на подземных водах. И вообще не нужно сейчас, не нужно...

«Будем работать», — сказал себе Эльчибек.

Пришел Самади, принес докладную.

Он пробыл у начальника участка с полчаса, вышел от него мокрый, точно после купания. Постоял за дверью в коридоре, открыл дверь и спросил:

— Что же... отдадите под суд?

— Нет, не думаю. А вы рассчитываете удрать от меня?

— Как — совсем... со стройки?

— Ну да.

— Тоже не думаю.

— Тогда пойдете к коменданту. У него есть тележка с бочкой...

— Это которая в упряжке с ишаком?

— Она самая. Будете развозить воду по баракам.

— Я-а-а?

— Идите, — сказал Эльчибек. — И пришлите ко мне Лукмончу и Сариева.

— Кар-рамба, — сказал Самади и ушел, бесшумно притворив дверь.

Лукмонча и Джуман явились тотчас после смены, запыленные, не успев умыться. Тревожное ожидание чувствовалось в каждом их движении. Эльчибек понял, что Самади ничего от них не утаил и уже сел на тележку с ишаком, не мешкая ни минуты. Интересно — почему: боится суда или расканивается?

— Признался мне во всем, — сказал Эльчибек Лукмонче и Джуману. — Шельмец порядочный! Все подстроил и разыграл как по нотам. Он работал как раз у второго ряжа, где просочилась потом вода. Оказывается, подмешал в бетон серую землю. Сумел, ловкач, извернуться на глазах у всей братии, бригадира и почтенного

Казимова! Поистине жонглерский номер... Ослабил нас на всю республику.

Лукмонча молчал, подавленный и обескураженный.

— Вымести его со стройки грязной метлой! — вскрикнул Джуман.— Будет случай — так продаст нас за поношку табаку.

— Это Потчаев его научил. Их затея, общая! — сказал Лукмонча, краснея от гнева.

— Нет. Поклялся мне, что Потчаев не замешан. «У этого, говорит, индейского петуха для данного мероприятия чересчур длинны сопли!» Молодец.

— Кто?

— Наш герой... Не марал никого. А ведь мог бы со страху... а?

Лукмонча и Джуман задумались.

Эльчибек подошел к Лукмонче:

— Матери письмо написал?

— Писать-то не о чем... стыдно писать!

— Однако написал?

— Уж не одно.

— Она отвечает?

— Ответила. Ничего не разберешь. Плохо она видит — с тех пор, как пришла похоронная на отца...

— А можно мне... почитать?

— Читайте.— Лукмонча вынул письмо. Оно было завернуто в целлофан вместе с комсомольским билетом.

Эльчибек прочел:

«Слушайся своего начальника, сынок, слушайся своим чутким сердцем. Он тебе нынче заместо родного отца. Учись тому, чему хотел твой отец».

Эльчибек был не слезлив и не особо чувствителен, но слова имеют иногда страшную скрытую силу. У него защипало в горле.

— Ну, и чему же успел научиться? — спросил Эльчибек намеренно суховаго.

— Гравий перелопачивать.

— Отлично! Матери сообщил?

— Сообщил.

— Так вот, ставлю тебя на бетон, к вибраторщику. Присмотришься — получишь вибратор.

Лукмонча вскочил, засмеялся, ткнул кулаком Джумана:

— Вы серьезно? Не передумаете?

— Ну что? Что такое! — проговорил Эльчибек, хмурясь. — Работа очень тяжелая. Душу выматывает на первых порах.

— Знаю! Видел! — радостно закричал Лукмонча. — Так я пойду. Ну, это... сапоги помыть... то-сё!

Лицо у Лукмончи раскраснелось, как у девочки, очки блестели.

«Милый мальчик, — подумал Эльчибек, — впереди у тебя огромная, необозримая жизнь. Иди, спеши! Мой сапоги! Сердце у тебя без пятнышка...»

Он кивнул, и Лукмонча убежал.

И как только хлопнула за ним дверь, вскочил Джуман, схватил руку Эльчибека и стал ее трясти изо всей силы:

— Спасибо вам... Большое спасибо...

— Сариев, Сариев, сядьте, — строго сказал Эльчибек. — Вы как будто бы слесарь? Я слышал, знаете машину, точнее — автомобильный, тракторный двигатель. Это верно?

— Верно.

— А электромотор?

— Немножко.

— Ого! Приходилось в нем покопаться?

— Н-нет.

— Значит?..

— Электромотора не знаю.

— Так и запишем. И запомним твердо! — Эльчибек погрозил пальцем.

— Есть, — сказал Джуман. — Разрешите курить?

— И мне дайте.

Эльчибек размял табак в гильзе.

— Вам понятно, почему вы работаете землекопом? (Джуман не ответил, раскуривая папиросу, пристально глядя на Эльчибека.) Рахманкулов — дурной человек? Любит лопату?

— Не знаю, какой он человек. Хозяин мелочный.

Эльчибек поднял одну бровь:

— Думаете? А почему так думаете? Потому что он вычел с вас за краденые простыни?

— Нет, не потому! — сказал Джуман. — Я знаю, с тех пор как мы сюда приехали, ни один экскаватор, который поставили на текущий ремонт, не вернулся в строй. Знаю! Ремонтные мастерские... одно название! Техника

стоит, а я не оправдываю комсомольскую путевку... Вот чего ему не прощу.

Эльчибек бросил папиросу, смахнул с губы крошки табака.

— И что за гвоздики вы курите...

— На «Казбек» не заработал.

— А если я поставлю вас на ремонтные мастерские? — неожиданно спросил Эльчибек. — Заработаете?

— Как на ремонтные?..

— Командиром! Хозяином! Справитесь? Каким будете — мелочным или щедрым? Примете по смете, по акту многотысячное хозяйство, инструменты, станки, рабочий штат... Не испугаетесь?

Джуман усмехнулся этой недоброй шутке в защиту начальства.

— Конечно, испугаюсь! — сказал он. — Я понимаю, что я младенец перед Рахманкуловым.

— Так вот, принимайте, товарищ младенец, мастерские, — перебил Эльчибек. — И полно ребячиться! Подберите себе мастеров по своему усмотрению. Кого выберете, того и дам не торгуясь! Прикиньте с людьми примерно, когда дадите в котлован первый экскаватор, — тоже желательна без запроса и без затяжки. Чем раньше поставите перед собой плановую цель, тем бодрее себя почувствуете. Действуйте осмотрительно, своей неопытности не показывайте, но к мастерам прислушивайтесь в оба уха.

Джуман курил, стараясь не выказать своего волнения. Он понимал, что отшучиваться, отказываться, уговаривать перерешать и даже спрашивать, а поможет ли инженер, не время. Сказано — не ребячиться. В армии Джуман был солдатом, отвечал за себя. Ныне судьба — отвечать за других. И где! На большой, знаменитой республиканской стройке, на прорыве!

— А как же... руководство стройуправлением? — спросил Джуман, пуская табачный дым нитяной стружкой.

Эльчибек оценил этот вопрос. Назначение Сариева нуждалось в санкции сверху.

— Вот и посмотрим, какой он хозяин, — сказал Эльчибек.

И неприметно вздохнул, спрашивая себя: «Чем сию минуту занят Рахманкулов?»

Домой Эльчибек пошел поздно. Перед зданием СУ-4 зажегся фонарь. Окно начальника управления светилось. Эльчибек повернулся было — зайти к нему, но раздумал.

По дороге Эльчибека догнала Хумахон. Глаза ее сияли веселым лукавством. Она бежала за инженером и запыхалась.

— А вы упрямый джигит! — сказала она, оглядываясь. Дом управления потонул в темноте. — Я дрожала, будто у меня малярия, температура под сорок... При мне еще никто с ним так не разговаривал! Разве что жена по междугородному...

— Поздненько вы засиделись, — сказал Эльчибек, чтобы переменить тему.

— Я вас стерегла.

— Меня? Что же не зашли?

— Нельзя! Вышло по-вашему, как вы хотели: он распорядился раздать паспорта. Я сама ему вызвала кадровиков. Как только вы ушли, сразу же: «Хумахон... отдел кадров...» Это меня зовут Хумахон.

Эльчибек внимательно, гораздо внимательнее, чем утром, посмотрел ей в глаза. Она не только красива, молодая, она еще и приятна, оказывается.

— Вот это подарок, — сказал он, слегка поддерживая ее под локоть. Тропка, по которой они шли, была рассечена извилистыми трещинами.

Хумахон охотно и доверчиво оперлась о его руку.

— Будь я начальством, я бы исполняла все ваши требования, — сказала она. — Люблю упрямых!

— Будь вы начальником, я бы мигом растерял свое упрямство, — сказал он. — Смотрел бы на ваши губы и ждал, когда они откроются и изрекут приказание.

Губы у нее были выпуклые и сочные, как спелые черешни. Они открылись и изрекли:

— Ах!

И в ее приказании были нежность, умеренное, нежесткое смущение и признательность. В тот миг Хумахон думала о том, что ее ведет под руку настоящий мужчина, интересный человек, властный, незаурядный, видимо, с большим будущим на стройке, во всяком случае не ровня юноше Джуману.

— Я уверена, молодежь полюбит вас безумно, — сказала Хумахон.

- Эта любовь будет взаимной.
- Когда вам будет худо, вспомните вдруг... что у вас есть единомышленник.
- А когда хорошо? Вспоминать?
- О, на это уж я не рассчитываю...
- Эльчибек не удержался и спросил:
- Кстати, обо мне приказ подписан?
- Вы представьте, я и не знаю, что подумать... Я ему два раза подкладывала... Я ему — под нос, а он — на край стола! Прижал локтем, держит... Бумага тонкая, рукав брезентовый, — все измял, представляет?
- И чем же это кончилось? Подписал или нет?
- Вы будете сердиться... Но он не подписал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Не было в жизни Джумана горше дня, чем тот, в который он потерял Гюльрез. Не было тяжелее обиды, чем тогда, когда с него вычли деньги за доброту к Беку. Но и горечь эта и обида померкли и казались ему самому наивно-ребяческими в сравнении с тем, что он испытал, придя в мастерские.

Он и не знал, что человеку может быть так больно при виде дырявой крыши над станками и машинами и багровых мазков ржавчины на станинах и рычагах, похожих на ссадины с запекшейся, еще не почерневшей кровью.

Год был на исходе, а осень лила и лила свои нескончаемые слезы. Днем на всех дорогах самосвалы протяжно выли, утопая по оси в жидкой грязи. Утром и вечером опасно кричали, скользя по гололеду. В Чалдаринский карьер за смену поспедали сделать только одну езду. И думалось подчас: ударит внезапно зима — и все встанет, замрет жизнь.

В ремонтных мастерских она уже замерла. В крошечной конторе, рассчитанной на то, чтобы войти в нее, взяв наряд и уйти, за промасленным до лакового блеска столиком сидели слесари, токари, экскаваторщики. Одна компания с молотобойным стуком забивала козла, другая, звучно шлепая замусоленными картишками, играла

в замысловатый гультадж. Табачный дым висел несколькими слоями, подобно водорослям в аквариуме. На цементном полу валялась немытая посуда, растрепанные, словно на ветру, книги, портянки, прокопченный чайник, топорище и обух — врозь, корки засохшего хлеба.

— А вам не тесно здесь, орлы? — спросил Джуман с порога распахнутой настезь двери.

— Зато не каплет, не дует! — ответил бравый малый в красной ковбойке с засученными до локтей рукавами.

Короткие волосы на его голове мелко курчавились, как у негра, щеки обросли синей щетиной. На обеих руках изгибались фиолетовые голые девы с рыбьими хвостами.

— Заходи, друг, грейся, — позвал он через плечо. — В тесноте, говорят, не в обиде.

— Стало быть, вам... не обидно? — спросил Джуман.

— Зачем обижаться? Работа стоит, зарплата идет. Грех жаловаться!

— И не думаете с этим кончать?

— У нас все давно конченс. Нечего больше кончать...

Ребята, сидевшие ближе к Джуману, засмеялись. Другие и головы не повернули — им было некогда.

Они знали, кем пришел к ним Джуман, но не бросили игры. Делать-то нечего все равно. Нет запасных частей, нет резцов, нет нужного сортового металла. Нет жести на кровлю, нет теса. Ничего нет и не будет! Люди знали, что Джуман пришел ни с чем... А разговоры разговаривать и Потчаев мастак, краше говоруна не сыщешь.

Экскаваторы, бульдозеры стояли под открытыми навесами, вмерзая по ночам гусеницами в оледенелую грязь, обдуваемые всеми ветрами, известными компасу. Стояли, дожидаясь, надо думать, снега, — дождя они уже наглотались вдосталь. Машинисты и водители снимали со своих машин дорогие, дефицитные части и прятали в общепитии, чтобы не унесли другие. На складе — как на свалке, все кувырком. Чтобы найти нужную деталь, надо гору перевероршить, рискуя поломать ноги. Полсмены будешь копать, да найдешь ли?

Джуман прошел в каменный сарай, который по чину положено было бы называть механическим цехом. И заметил, что за ним следом вышел из конторы малый с разрисованными руками.

Сарай крыт толем. Потолка нет. Видны грубо оструганные стропила.

Крыша текла во многих местах. И когда Джуман увидел, как крупные прозрачные капли воды падают на верстаки и тусклые, грязноватые кожухи станков и расширяются, разбрызгиваясь в пыль, он ясно почувствовал, как эти капли бьют его по сердцу. Лишь ходовые части станков были укрыты — где брезентом, а где мешковиной, рогожей и бумажными кулями из-под цемента и асбеста.

Джуман взглянул на марки станков и ахнул. Станки современные, новейшие — этаких и на ташкентских заводах не много. Будь он токарем, как он любил бы и ходил такой станок. Работать на нем и молодому и бывалому мастеру — удовольствие, истинная радость.

Малый в красной ковбойке подошел к токарному. Он вертел в руках небольшой блестящий цилиндр.

Ковбойка на его груди была расстегнута, точно в знойный день, и грудь разрисована до самых ключиц. Те же фиолетовые оголенные девы с чешуйчатыми хвостами.

Почесав затылок, затем грудь, малый сдернул со станка брезент и взялся за рукоятки. Неужели запустит? Джуман сжался от внезапного озноба. Ему казалось, что едва завертятся, разгоняясь, шкивы, станок с грохотом рассыплется на части...

Джуман подошел поближе.

— Что, брат? — окликнул его малый, не оборачиваясь. — Ходишь, интересуешься? Тут тебе не гравий. Лопатой не подцепишь!

Джуман рассеянно присмотрелся к цилиндрику. На стеллаже рядом стоял на торце другой такой же. Но это же... это же... Конечно, — поршень к мотоциклетному мотору!

— У вас что же, собственный мотоцикл? — спросил Джуман, закладывая за спину стиснутые кулаки. — Ижевского завода?

— Ха! — сказал малый и цыкнул слюной сквозь зубы. — Тоже, значит, кумекаешь? С понятием... Это не для себя. Тут один человечек просил слезно за пол-литра. По дешевке, понимаешь... Уговорил, сукин сын!

— Сам ты!.. — выговорил Джуман, чувствуя, как темнеет у него в глазах. — Сами вы!..

Малый удивленно пожал покатыми могучими плечами.

— Ясное дело, что и я и мы... Чего кипятиться? Вместе и разопьем. А будешь возражать — тайком сделай. Кому это надо? Излишнее беспокойство.

Джуман отвернулся и пошел назад в контору. Пришел холодно-злой, кусая губы, как Бек, встал в дверях и принялся говорить козлятникам и каргежникам напрямик то, что о них думал, с болью, которую нес в сердце, с безудержным пылом молодости. Он винил их в равнодушии.

И тут все, кто был в конторе, поднялись на ноги и закричали на Джумана, яростно, бранно, не выбирая слов. Они кричали, что он молод их учить и сперва пусть научится работать и понимать людей.

Пришел малый в красной ковбойке, поднял руку. В конторе стихло.

— Ты, друг милый, с рабочим классом так не разговаривай, — сказал малый просто и серьезно. — Горло побереги — надорвешься.

Он расстегнул нижнюю пуговицу на рубаше — Джуман разглядел под отворотом полосатую тельняшку. И сразу парень стал ему словно ближе и понятнее. Тельняшка была порвана на груди.

— Видишь, — сказал парень, — зашить неохота. А это, браток, не что-нибудь, морская душа. Жить, понимаешь, неохота! Думаешь, сладко мне есть даровой хлеб?

Он повернулся к своим товарищам:

— И вы не орите... Тоже непорядок. Неправильно! Человека послали, он болеет. Можно простить... А как он умеет работать — посмотрим. Будем знакомы. Заманов Тиркаш.

Сели, усадили Джумана, закурили. Стали говорить с ним потихоньку, как положено.

Тогда-то и понял Джуман Сариев, с кем имеет дело, к кому пришел. Понял, что эти люди в большой обиде. Им люто опостытели безделье, неразбериха. У всех накипело в душе. Понял он и то, что парень в тельняшке тоскует, хватается за любую работенку, даже за подлую халтуру, — и не ради пол-литра.

Понял Джуман, что новых людей в мастерских ему не нужно. Сойтись бы с этими, оправдаться перед ними.

В тот же день он пришел к начальнику участка.

— Рано, рано! — сказал Эльчибек, недовольно нахмурился.

— Нет, не рано,— сказал Джуман.

Минут через двадцать инженер повел его к начальнику строительства.

Рахманкулов рассмеялся, увидев Джумана.

— Привет, привет! Что, начал выполнять нормы?

— Начинаю,— ответил Джуман.

Слушал их Рахманкулов внимательно, не проронив ни слова. Потом в его кабинете появился Самандаров. И Джуману довелось услышать настоящий, крупномасштабный разнос по первое число! Джуман и сам кричал на Самандарова, перебивая Рахманкулова; Эльчибек поглядывал на парня с недоверчивой и, пожалуй, неодобрительной усмешкой.

— Чтобы этого молодого человека я у себя больше не видел! Чтобы он ко мне не приходил! — приказал Рахманкулов начснабу напоследок, стуча кулаком по столу.— Он у вас будет жить невылазно. Вы живите у него в мастерских неделях, а мало — так две!

В эти минуты начальник четвертого стройуправления нравился Джуману. Джуман им любовался...

Парень, кажется, и не собирался уходить. Эльчибек увел его, оставив Рахманкулова и Самандарова с глазу на глаз.

По пути Эльчибек взглядом спросил у Хумахон: ну как? Она ответила жестом: нет, приказ, которого все ждут, не подписан.

2

А тем временем бетон шел и шел. Не тот большой бетон, который идет на плотину, праздничный, авральный, о котором узнает вся страна, если плотина крупная, а рядовой, обыкновенный, но — бетон!

Под горой Ак-Таш, под прикрытием Комсомольской дамбы, возводилась высоченная, толстенная каменно-бетонная упорная стенка. Она медленно, круто поднималась со дна котлована и должна была дорасти до главного входа в Ак-Таш — штольни Капитальной. Стена подпрет гору и будет спиной рудодробильного узла сортировочного цеха.

Через эту стенку из осушенной штольни покатают по рельсам вагонетки с рудой. Ссыплют груз в грохочущее жерло сортировки, уползут назад. Дальше руда пойдет

вниз, на флотацию. А до того как попасть в вагонетки, многотонная масса руды повалит сверху, по гигантскому внутреннему шахтному бремсбергу высотой в четыреста метров! Она будет с гулом и треском валиться в просторную пустошь, на стальной пол, высекая из стали слепящие пучки и зигзаги искр, похожие на маленькие молнии.

А пока что на каменном дне глухо плещет вода и рекой выхлестывается из глотки штольни, упираясь в дамбу и взбивая близ нее пену. Вода в этом месте ждала Ульяну Басову...

Джуман пришел в котлован. Ему нужен был один человек — заводской, сметливый и аккуратный — распорядиться складом. Станочника на это дело ставить жалко.

Котлован был полон многозвучным шумом моторов. Один за другим подходили самосвалы, осаживали задом, поднимали кузова и сливали жидкий и свежий бетон в железные бадьи. Кран подхватывал на крюк бадью за бадью и поднимал на упорную стенку. Ее широкие плечи вздымались все выше в туманное, низкое небо.

Молодой коренастый паренек взбирался на колеса, выскребал из кузовов лопатой остатки бетона. Забирался он и внутрь кузовов и прыгивал на землю с налипшими на сапоги пудовыми лепешками раствора. Прицепив к бадье крюк, он поднимал рукавицу размером с мирзачульский арбуз и кричал:

— Вира-а!

Бадья, поскрипывая на крюке, слегка раскачиваясь, уплывала вверх. Изредка она роняла на лету шматки бетона — зеленые плевки и мелкие камешки.

И сапоги, и рукавицы, и лопата у паренька словно распухли — так они облеплены бетоном. Все кажется ему не впору, а сам он выглядит карликом. Но он весел, кричит, крикает, изредка приплясывает, смешно волоча свои бахилы.

Весел парень и, видимо, беспечен. Не закрепил крюк, как должно, а уж отскочил, крикнул, подняв рукавицу. Крюк сорвался с верхней петли дужки, дернув бадью и валя ее набок, подцепил дужку загнутым носком за край и понес. Бадья накренилась и вывалила бетонную жижу на паренька. Крик его оборвался. Парень повалился ничком и остался лежать, приклеенный раствором к земле. Только руки и голова его торчали из плоской зеленой лепешки. Крановщик растерялся и, вместо того чтобы мя-

гонько отвести стрелу и опустить бадью, затормозил. Тяжелая бадья, подрагивая, остановилась над парнем, над его затылком, готовая ежесекундно сорваться.

Люди загомонили и умолкли. Парень не мог отползти, а к нему, под висящую на волоске бадью, не решались сунуться.

Джуман был далеко, на другом краю котлована. Он видел, как пожилой рабочий схватил шест и хотел сунуть конец парню в руки. Но не угадал, торопясь. Шест, длинный, непослушный, увяз концом в бетоне у пояса паренька, не повернешься с ним...

Джуман помчался на выручку. Девушка в черном платье опередила его.

Она спокойно пошла под бадью, подхватила парня под мышки и отволокла прочь, на безопасное место. Сильная оказалась... И тотчас бадья соскользнула с крюка и звучно шлепнулась в бетон, облепив густыми, тяжелыми брызгами стоявших вокруг.

Крановщик, потерявший голову от испуга, спустился на землю и подскочил к девушке. Она сидела на корточках около незадачливого паренька и подолом платья стирала ему бетон со щек и лба. Крановщик схватил ее за руку, рывком поднял и грубо толкнул в спину.

— Пошла отсюда! Опять ты... Кто тебя пустил сюда? Уходи, покуда цела!

Девушка кинулась от него в сторону, споткнулась о виток проволоки, но не упала, только ссутулилась, словно ожидая удара.

Подбежал и Джуман и с ходу схватил крановщика за горло. Тот захрипел, выпучив глаза. С трудом Джумана оторвали от него.

— Дай ему, дай, Джуман! — яростно кричал паренек, облепленный бетоном. Это был знакомый ферганец.

— И верно, следовало бы... — сказал пожилой рабочий.

Джуман пошел за девушкой.

Она быстро поднималась из котлована по крутой дорожке. Водители самосвалов, ожидавшие очереди — подъехать под кран к бадье, высовывались из кабин, окликали девушку, махали ей руками, и видно было, что с похвалой, по-доброму. Она отворачивалась, ускоряя шаг, прикрывая лицо платком до глаз.

Джуман догнал ее наверху.

— Адолят!

Он ожидал, что она побежит от него. Она остановилась и открыла лицо.

На смуглых ее щеках видны потеки от слез. Глаза по-прежнему печальны. Но теперь печаль в них была не строгой и не мрачной, а скорее нежной. Губы приоткрыты словно бы вопросительно, доверчиво. Бархатная родинка мило лепилась у угла рта.

— А вы отчаянная, честное слово! — сказал Джуман, тихо подходя к ней, точно боясь испугать. — И откуда у вас такая сила! Вы могли бы бадью снять с крюка...

Он думал, что она будет дичиться, молчать или ответит срыву, со злой обидой. Она сказала мягко, спокойно и так, будто они были давно знакомы:

— Зря вы об него свои честные руки марали, — и голос у нее оказался низкий, полный и сильный, какой бывает у певцов.

Он обрадовался и ее голосу, и взгляду, и тому, что она узнала его, и тому, что не благодарит.

— Он ушиб вас?

— Это не больно. Это пустяки... — Она выпрямилась, и узкие влажно-черные ее глаза на миг прикрылись ресницами, а выпуклые губы, истемна-красные, как сок граната, сложились твердо, жестко. — Все равно я и завтра туда пойду. Пусть он гонит, а я не уйду. Все равно не отстану, буду работать, где бетон, где кран... Пусть из-под ногтей пойдет кровь, а я буду цепляться!

Джуман молчал. Ему было стыдно. Завтра она вернется, но сегодня — ушла...

— Мне один парень поумнее этого обещался, — добавила Адолят. — Он сменщик у этого припадочного... «Ходи, говорит, присматривайся — будешь такелажницей!» Образованный тоже, вежливый. Все машины знает.

Джуману было приятно, что нашелся и такой парень. Правда, другое, затаенное, чувство заставило его слегка побледнеть: образованный... вежливый... все машины...

— Бек просил вас обнять и поцеловать, Адолят, — сказал он.

— А вы не боитесь стоять около меня, Джуман? — спросила она. — Вы новенький, непосвященный...

— А надо бояться?

— Не знаю. Бывает же людям страшно, когда черная кошка перебегает дорогу. Я — черная кошка!

Джуман опустил голову:

— Я давно должен был вас отыскать, давно... я понимаю...

— Должны? Как это... должны?

— Очень просто. Это всем понятно. А вы должны быть с нами со всеми! Должны быть счастливой, хотя и считается, что никто не может сказать, что такое счастье...

— Я могу сказать, что это такое,— глухо выговорила Адолят.— Это когда один какой-нибудь день, целый день не нужно ничего бояться.

— Значит, вы... и вы верите в то, что про вас сочиняют?

— Вы хороший,— сказала она.— Вы не такой, как другие.

Он бережно взял ее за руку. Ладонь ее была шершавой, на пальцах царапины.

— Адолят... почему вы не пошли с Нафисой?

— Не могу, Джуман...

— Почему, скажите?

— Боюсь...

— Что же тут страшного?

— Этого вам не понять. Не спрашивайте...

— Вы мне не доверяете?

— Вам? Не знаю.

— В чем же дело?

Она отняла у него руку.

— Когда-нибудь узнаете.— И тихо пошла по тропе вдоль косогора, заметно сутулясь.

Он пошел за ней.

Тучи низко ползли над землей, задевая сырыми хлопьями крыши барачков. Лишь далеко внизу, над долиной, голубело в облаках окно в небо.

— Адолят, послушайте, я должен, я должен... Я не могу помириться с тем, какая вы...

— Ничего вы не должны! Ничего вы не можете...— сказала она своим глубоким, низким голосом и пошла быстрее.

И такая безнадежная убежденность и покорность были в ее голосе, в склоненной голове, в походке, что Джуман и сам на миг потерялся. «И в самом деле? А что я могу? Кто я такой для нее?» Затем все возмутилось в его душе.

Однако он взял себя в руки. С девушкой он был мягче, чем с Бекем.

— Адолят, — окликнул он ее негромко и нежно, — это правда, что у вас нет родных, не осталось никого?

— Есть брат, старший, — ответила она после долгой, тягостной паузы. — Единственный.

— Простите меня. Не сердитесь... Где он?

— Не знаю, Джуман. Когда-нибудь узнаю.

Она повернула к нему лицо, и он опять увидел в ее юных глазах печаль, давнюю, неизбывную, гордую.

— Я не сержусь. Мне ли сердиться? Просто лучше не попадаться вам на пути... как прежде... как до сих пор... И вам и мне будет спокойнее.

Из котлована донеслись звонкие частые удары ко-стыля о рельс. Кончилась дневная смена. И Джуман вдруг вспомнил, как ему некогда. Лукмонча, Сангин, Нафиса, Бек пойдут сейчас мыться, гулять, спать. Джуману смены не будет. Его работа, его забота не знает смен.

— Хорошо, — сказал он, торопясь, — поступайте как хотите. Попадайтесь, не попадайтесь... Только скажите: где вы учились?

Она почувствовала в нем перемену. И остановилась внезапно, будто споткнулась, подняла к нему лицо в нескрываемой тревоге. И глаза ее явственно сказали ему: «Ты уходишь? Бежишь? Бросаешь меня? Когда же мы договорим?»

— Адолят, Адолят, — проговорил он с озабоченной и нетерпеливой улыбкой, — не бойтесь ничего... ничего! Говорите скорей.

— Я... кончила четыре класса...

— А потом?

— Училась в ремесленном. Работала год на заводе. Джуман вскрикнул радостно, схватил ее руки:

— Ну, ну?

— Ну, и поехала сюда...

— Зачем?

— А вы зачем?

— Правильно! Я дурак... Что вы делали на заводе?

— Сперва немного у верстака... потом кладовщицей на инструментальном складе, выдавала резцы, заготовки...

— Не может быть! — воскликнул Джуман и быстро крепко поцеловал ее в лоб, вернее, — в платок на лбу.

Она отшатнулась, вырвала руки. Сказала, опустив глаза:

— Как тебе не стыдно...

Он радостно улыбался, маленькие его усики растянулись в тонкую нитку.

— Слушай меня, сестричка... Ничего мне не стыдно! Завтра придешь в ремонтные мастерские... знаешь, где они?

— Конечно.

— Вызовешь там самого главного, а дальше увидишь, что будешь делать! Если струсишь, не пойдешь — вот тогда все, тогда ты мне и Беку не сестра. Поняла?

— Да. А какой он из себя — старый или... Лучше бы старый...

— Седой старик! — сказал Джуман. — Дай руку.

Она протянула ему руку, он с силой пожал ее и пустился бегом вниз по косогору.

Внизу, под сенью навесной замшелой скалы, похожей на грудь зубра, стелилась круглая изумрудная лужайка. Трава на ней была свежа, как весной, пушисто-мягка. Из-под скалы бил родничок. Между крупных серых, красных, зеленых камней стальным зеркалом светился небольшой водоем. Казалось, камни обкололи зеркало по краям. Водоем был глубокий, как колодец.

Джуман по-солдатски, за считанные секунды, скинул с себя одежду и окунулся в зеркало воды... по шею... Тотчас он выскочил, судорожно хватаясь за камни, немо открыв рот, с круглыми, как у филина, глазами. Лишь на камнях, наскоро обтерев тело ладонями, он перевел дух и протяжно охнул. Ноги у него были розовые, точно из кипятка. На студенном ветерке ему показалось жарко.

Одевшись, он огляделся по сторонам, хотя знал, что его не видят, достал из кармана три серебряные монеты и швырнул в воду. Пусть никто не может сказать, что такое счастье, но это на счастье!

Он бросился грудью на траву. Приложил ухо к шелковым, невнятно шелестящим стебелькам. И услышал: «Седой старик... Как тебе не стыдно...» Он смотрел в зеркало водоема и видел в нем девушку, яркую, как тюльпан.

Потом он вскочил и пошел круто в гору, вдоль выпуклой, скальной груди, разминая на ходу застывшие плечи и спину.

Голубое окно вдали, над долиной, расширилось, раздвигая створки облаков, открывая горизонт на закате. Закат медленно наливался багровым огнем.

День завтра будет ветреный и ясный.

3

С утра Адолят принялась разбирать металл на складе. Тиркаш Заманов вызвался ей помочь.

— Эй, горькая, разложи наше горе по полочкам,— сказал он, застегивая рубашу до ворота и спуская рукава.

Самандаров привез толь, плотников. Начался ремонт ремонтных мастерских.

Джуман сам полез было на крышу. Тиркаш вышел со склада и велел слезать. Джуман слез. Тиркаш отобрал у него молоток.

А поздно вечером, когда Джуман уже растянулся на нарах, к пятому прибежала Адолят, постучала в окно, вызвала Джумана.

Он вышел. Губы у Адолят дрожали. Глаза сухо, жарко блестели.

— Что с тобой, Адол?

Она уткнулась лицом ему в плечо:

— Я боюсь, боюсь... Говорила я тебе: не надо нам встречаться... Пойдем — покажу тебе, почему я такая...

— Что случилось?

— Брат приехал.

— Откуда?

— Боже мой! Лучше бы он пропал без вести... в войну... Не ходи со мной туда! Посмотри на меня... в последний раз...

Он привлек ее к себе:

— Постой... не плачь...

— Я не плачу. Теперь ты выставишь меня со склада... и будешь прав!

— Глупенькая... Какая же это правота? Молчи! Говори, что с братом.

— У меня было четыре брата. Младший умер маленький от дизентерии. Двое старших погибли на фронте. Отец ослеп, как принесли вторую похоронную. Он был старый. Мать стала гаснуть и угасла. За ней вскоре и отец. Осталась я одна. Все думали, что и Джаббара нет в живых... Джаббар был в плену.

Сердце у Джумана сжалось. Он не воевал, но был солдатом. Он не только понимал, он чувствовал каждой каплей своей крови: плен для воина страшнее смерти. Джуман знал: сын Долорес Ибаррури, прозванной за мужество и страсть Пассионарией — Неистойой, родной ее сын, был ранен в боях на Волге. К нему подбирались фашисты, и он застрелился, чтобы не попасть им в руки. Наши бойцы, бойцы его взвода, они отбили героя, вынесли из огня уже мертвого.

Милая Адолят... Ей тяжело. Не брат и не смерть брата, горе брата настигло ее.

— Ты ждала его приезда?

— Да.

— Готовила ему кров?

— Да.

— У той юродивой?

— У тетушки Гажак...

Он ладонью стер слезы с ее щек.

— Пойдем.

Гажак жила в небольшом горном ауле, за горой Ак-Таш. В нем было десятка полтора дворов. Приземистый глинобитный дом ее походил скорее на землянку. Две тесные клетушки. В них и люди и скотина. И мухи, по-осеннему злые и нахальные.

Джуман переступил порог, низко пригнув голову, чтобы не стукнуться о притолоку, и в нос ему ударил запах сырой кожи и требухи, развешанной на перекладине. Половину дома занимала кухня, чугунно закопченная, — топят здесь по-черному. Очаг, котел, в нишах — глиняные чашки. Из ханика — глубокой ямы для стока воды после омовения — несет затхлой сыростью. Ханик — обычное и неперемное устройство в старых мусульманских домах. Есть и сандал — низкий столик над жаровней с красноющими углями. У сандала расстелена овчина мехом вверх.

Джуман опустил на овчину, преодолевая брезгливость, и огляделся: «А где же спит Адолят?» Но так и

не нашел места, где бы она могла приклонить усталую голову. И она это терпит?

Под котлом слабо дымился кизяк. Старая Гажак сидела перед ним на корточках и крошила в котел кукурузные початки, хрипло бормоча:

— В каждом человеке сидит нечистый, сынок. У каждого за пазухой ядовитая змея... А иначе какая же была бы разница между человеком и ангелом? Таких уж создал аллах своего раба. И ты, милый, такой... и я...

Она поднялась, принесла и поставила на сандал перед Джуманом старинный светильник. Подобных Джуман не видывал и в музее. Тяжелый, уткообразный, он, казалось, вылез из глухости веков и выпустил из круглого черного носика, точно из пистолетного дула, белый лепесток огня.

— Все недоброе, все худое — от людей. Ни волка, ни оборотня не бойся. Страшен человек, сынок. Он и обидит, и ограбит, и убьет. И я вот пострадала — от кого? От людей. Свои же соседи, которых мы с малолетства поили-кормили, сделали меня нищей, юродивой. И всегда так, везде было и будет: недруги выходят из друзей, а из твоего же благодеяния — черная неблагодарность, точно гадюка из птичьего яйца... На том свет стоит. Нету ни здесь, ни там ни друга, ни брата, — одно название, обман!

Запахло пригорелым молоком. Старуха слила его в другую посуду и стала ногтями соскребать со дна плошки пригорелые остатки. Она клала их за щеку и, причмокивая, жевала беззубым ртом.

— Взять хотя бы и тебя, сынок. Зачем пришел — кто тебя разберет? Ночью пришел, таясь от людей. От них, от них, аспидов! О-ох, да богу одному ведомо, что у тебя в голове... И ты такой же, как все.

Джуману стало не по себе.

— Я хуже других, мать, хуже! — сказал он резко.

— Партийный?

— Да.

Старуха умолкла и вышла во двор.

У двери Джуман внезапно разглядел высокого худощавого человека. Он стоял, прислонившись к косяку спиной и пригнув голову, чтобы не касаться потолка. Опрятно одетый, чисто выбритый, он был удивительно по-

хож лицом на Адолят и притом некрасив. Очень некрасив, будто лицо Адолят смялось, сморщилось и искривилось.

— Я думал, вы старше,— кашлянув, сказал Джаббар и оттолкнулся от косяка. Подошел, сел.— За двадцать-то перевалило?

— Я служил действительную,— сказал Джуман.

Джаббар понимающе склонил голову.

— Откуда вы прибыли? — спросил Джуман.

— С Колымы. Сестра — единственное, последнее, что у меня осталось.

Адолят кинулась на колени, прижалась к плечу брата:

— Не ругай его, Джуман, не ругай...

Джаббар мягко отстранил ее от себя:

— Меня обругать невозможно. Я обруган жизнью с запасом до гробовой доски. Но и жалеть меня не нужно. Подняли меня, сестра. Правда, хребет еще гнется — с непривычки. Со временем выпрямлюсь.

— Вот и сестра ваша гнется, посмотрите на нее... — сказал Джуман.

— Вижу. Знаю. Никогда себе не прощу. А ты... не вини, Адол... это такая беда... И вам скажу, товариш: взяли меня полуживого, в беспамятстве, в харьковском котле. Помните, сколько под Харьковом наших пропало? Впрочем, как вы можете помнить? У вас тогда в голове сидела таблица умножения.

— Ранены были? — спросил Джуман, вытаскивая из кармана папиросы.

— Нет. Не ранен. Раненых многих выносили, частью прятали жители. Болен я был. Несколько дней не ел. С ног свалился. Сбился с пути. Валялся в бреду. Взяли меня с винтовкой, с полным патронташем. Оружие я не бросил до последнего...

— А поднимал оружие... против нас... брат? — спросила вдруг Адолят.

Джаббар долго молчал.

— Значит, ты... вон что... — Он вздохнул. — Если б поднимал, к тебе не пришел бы. Так я думаю.

Вздохнул и Джуман и потянулся к светильнику — прикурить.

— Устал я, братец, до смерти устал жить,— сказал Джаббар, глядя, как Джуман затягивается.— Не при-

веди судьба тебе во сне увидеть то, что мы, проклятые небом и землей... отведали наяву у Гитлера...

Джуман положил на сандал папиросы и пододвинул их к Джаббару.

Вошла старуха, достала из очага обугленную сияющую клетчатую, как кукурузный початок, чурочку и кинула ее в жаровню под сандал. Разостлала старый палас. Разломала на куски большую плоскую лепешку и положила перед мужчинами по два куска, перед собой и Адолят по куску. Высыпала на середину горсть сушеных лиловых и желтоватых ягод джиды. Сидя на корточках, пробубнила себе под нос молитву. И застыла, глядя на Джумана, пожевывая сморщенными губами.

Джуман и Джаббар взяли по куску лепешки и стали есть.

Адолят беззвучно плакала, прижав свой кусок к губам.

— Господи, твоя воля... Чу-удно, право...— выговорила старая Гажак басистым, мужским голосом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Трое суток Лукмончу не подпускали к вибратору.

— Ты наблюдай, вникай,— наставлял его бригадир бетонщиков, озабоченный, сердитый парень с огромными красными руками, словно посыпанными толченым кирпичом.

Бригадир был ученым человеком. Услышав, что Лукмонча не закончил никаких курсов, он сразу же остыл к нему. И стал еще сердитее и озабоченнее.

— Что мне с тобой делать? Знаешь ты химию бетонного процесса? А принципы вибрации?.. М-да... Физику вообще проходил? В каком объеме?

Физику Лукмонча проходил. В объеме семилетки. Кроме того, он читал технический словарь. Лукмонча привез его с собой. В словаре о бетоне восемь строк, правда, мелким шрифтом. О вибрации — шесть... И в первый день Лукмонча сильно робел перед бригадиром. Даже красные его руки казались приметой учености.

На другой день Лукмонча понял, что вибратор —





простой инструмент, похожий на горняцкий врубовый молоток. Только не бур на конце, а тяжелый цилиндр, нашлепка. Он сотрясает и уплотняет бетон. Нажми кнопку — и пошел! Молодые девушки в складных синих комбинезонах легко справляются с ним на блоке.

Блок — это огромный короб, сшитый из досок, врытый в землю. Внутри него затейливое плетение арматуры, железная паутина. Он глубокий, как колодец. В его открытый зев осторожно опускаются бадьи с бетоном. На дне грохочут вибраторы.

Над этими блоками в будущем году встанет большая теплоцентраль. Она будет работать на природном газе. Она даст ток всему комбинату и... городу!

Бригадир послал Лукмончу в блок, и когда он впервые спустился на холодное, сырое дно колодца, и глянул сквозь кружево арматуры в бесконечно далекое небо, и представил себе, какая махина воздвигнется на этом месте, над его головой, ему стало страшно. Это был особенный, сладостный страх, — его испытываешь, впервые садясь в самолет, впервые выходя в море под свежим ветром, при первом прыжке с парашютной вышки.

— Ой, девоньки, смотрите, кого к нам прислали! — прозвенел высокий, нежный голосок, и шум его не заглушил. — Слетел, как этот... на белом коне... как Александр Невский!

Это была Оксана-батыр. В высоких резиновых сапогах, она ходила по вязкой массе бетона с завидной легкостью и грацией, словно плывя. Когда вверху появлялась бадья, Оксана с непостижимой для своего роста и веса гибкостью и быстротой карабкалась по арматуре навстречу бадье и комично тоненько кричала крановщику в небесной будке: «Сто-оп!» Бадья останавливалась, Оксана бралась за рычаг и рывком распахивала ее. Люди внизу разбегались, прижимались к стенкам. Вниз зеленой лавой валился бетон, и в колодце блока становилось еще более сыро и холодно.

— Эй, Лукмонча! А Лукмонча! Скажи-ка, сколько труб будет у ТЭЦ?

— Четыре! — тотчас ответил он. — И горение бездымное, как у линейного корабля или авианосца...

Оксана-батыр ловко спрыгнула с арматуры и погрузилась в бетонную жижу чуть ли не по колено.

— А ну-ка,— крикнула она,— давай покажи... Полежай, открой бадью!

Эта работа считалась совсем легкой, потому что от бадьи до бадьи нечего было делать. Но Лукмонча с оторопью смотрел вверх. Бадья висела на высоте тополя.

— Ладно, Ксанка, не балуй! — сказал бригадир строго.

— Уйди, Климов, зашибу! — ответила Оксана-батыр с нежным, точно у ребенка, смешком.

Лукмонча стиснул зубы и полез по неровной лесенке звенящей арматуры, спеша, срываясь и обдирая ладони о железные прутья. Он чересчур торопился, зря нервничал, и потому движения его были неверны и неловки. На середине пути он зацепился рукавом за проволочный узел и никак не мог отцепиться, порвал рукав, оставив на проволоке треугольный клочок. Потом он оказался выше бадьи, чуть выше, чем нужно. Потом — чуть ниже...

Бадья не давалась ему в руки. Она подрагивала перед ним на крюке, точно живая, выплескивая ему на грудь густые шматки бетона, и Лукмонча не догадывался, что это балует крановщик. Лукмонча не мог найти рычага — бадья прятала его, словно руку за спиной, слегка поворачиваясь вокруг оси. Наконец бадья повернулась к нему рычагом — Лукмонча его не видел! Голова у него кружилась. Ему казалось, что бадья вот-вот вдавит его в колючую, как борона, арматуру или снежет своим круглым боком вниз, в пропасть...

— Давай, давай! — кричала со дна Оксана-батыр, хохоча так залиристо звонко, что даже Климов не выдержал, фыркнул в свекольно-красный кулак.

Лукмонча прицелился, схватил рычаг и тут же отпустил его. Бадья стаскивала его с арматуры. Колени у него дрожали, в руках не стало силы. Он опять взялся за рычаг, дернул — и вдруг словно гром обвала обрушился на него... Лукмонча прижался грудью, лицом к арматуре, расцарапав себе щеку. Гром разом стих. Лукмонча повернулся, понял, что случилось, и сам рассмеялся над своим страхом. Поправил на носу очки. Это бадья выплонула бетон и бесшумно пошла вверх.

— Хорош! Ладно! — закричал снизу Климов. — Принимай бадью...

Три дня подряд Лукмонча висел на арматуре, покрикивал «Сто-оп!» и дергал рычаг. Постепенно Оксана-батыр забыла про него. Забыл и Климов.

На четвертый день Лукмонча остановил бригадира у верхней кромки блока:

— Сколько мне еще вникать? Давайте вибратор!

— Ага,— сказал Климов.— Это другой разговор.

Лукмонча облачился в комбинезон, подпоясался. Комбинезон был ему великоват,— меньшего размера не нашлось. Ничего не попишешь, здесь не ателье мод... Сменил кожаные сапоги на резиновые и, придерживая очки, плюхнулся в жидкий бетон, увязнув в нем по колено, как Оксана-батыр. И она опять заметила его.

— Э, Лукмонча! А, Лукмонча! С бетонным приветом!

Он смотрел на свои ноги. Бетон засасывал их, как тряпина. Лукмонча судорожно вытянул правую ногу по щиколотку, левая ушла по край сапога...

Оксана взвизгнула в детском восторге:

— Лукмонча, миленький, попляши!

Климов придержал его за плечи, поставил ровнее и вложил ему в руки вибратор.

Рукоять вибратора удобно легла Лукмонче в ладонь, но, едва он нажал кнопку, по всему его телу полилась изнурительная мелкая дрожь. Сперва она показалась ему легкой, словно бы щекочущей. Спустя полчаса она стала нестерпимой.

Лукмонча ясно чувствовал, как суставы его рук и ног стучат друг о друга, а зубы вытрясает из десен. Бетон возле его вибратора холодно кипел. И сырой воздух перед глазами Лукмончи дрожал, подобно жаркому мареву над минаретами Бухары. И дощатая опалубка, и железная арматура, и комбинезоны на людях кипели.

Лукмонча остановил вибратор, но руки его продолжали трястись, точно у паралитика. И голова, наверное, тряслась. Он не мог ни вытащить из бетона и ткнуть в другое место свиной пяточкой вибратора, ни ступить в сторону, ни вытянуть из-под сапога шнур в резиновой трубке.

— Эй, эй! Не зевай! — крикнула Оксана-батыр сердито-озабоченно, как Климов, схватила Лукмончу в охапку вместе с вибратором и оттащила к стенке.

Сверху, из бадьи, ухнула в колодец блока свежая порция бетона.

Больше Оксана не смеялась над Лукмончой. Она была занята собой. Ходила по бетону, как по песку, опираясь о вибратор, как о трость, и увлеченно рассказывала:

— Девушки, нейлоновые с черными пятками... видели? В Ташкенте, говорят, есть, выбросили... Я попросила одного человечка привезти две парочки.

Только ее звонкий голосок и был слышен сквозь рабочий шум. Девушек на этом блоке было двое — она да подружка-арматурщица. Но Оксана, захлебываясь, заводила: «Девушки, девушки...»

Работала и говорила без передышки. И хоть трудно было Лукмонче, он не мог на нее надивиться.

Через часок-другой ему стало как будто бы немного легче. Он отдыхал, приваливаясь к стенке, когда над блоком повисала бадья. В плечи, в спину вступала желанная тупая бесчувственность.

Бадья опорожнялась и улетала. Лукмонча отваливался от стенки, нажимал кнопку вибратора и, тщательно следя за тем, чтобы не отвисала дрожащая челюсть, машинально поправляя сползающие с переносицы очки, думал: «Только бы не упасть... только бы не упасть... Дотянуть бы до обеденного перерыва!» Что будет после обеда — Лукмонча не представлял себе и представить не мог.

В полдень к нему подошел Климов и взял из его рук вибратор.

— Хорош! На сегодня хватит с тебя.

Лукмонча не расслышал и не понял его, испуганно вцепился в вибратор слабыми руками, стал вырывать.

— Я... я... тихонечко... Я... справлюсь...

— Сказано — хватит! Потом поймешь... Давай вылезай отсюда. Я помогу.

Лукмонча и не помнил, как выбрался наверх. Климов отвел его в сторонку, чтобы не мешал и чтобы ему не мешали, усадил на землю. Лукмонча прислонился спиной к нагретому солнцем камню и уже не мог встать.

Все тело его словно разваливалось на части. Суставы пронизывала острая боль.

Теперь он не думал о том, чтобы скрыть свою немощь, свою постыдную, страшную усталость. Он слушал доносившиеся из блока трескучие голоса вибраторов и ненавидел их.

Так он сидел, распластанный, разбитый. Зазвенел рельс. Потянулись в столовую рабочие. Прошла мимо Оксана-батыр, легкая, быстрая на ногу. Остановилась, вернулась к Лукмонче, низко склонилась к его лицу и жарко зашептала:

— А Садбар твоя дурочка, дурочка, понял?

У него не было сил ей возразить.

Когда все разошлись, Лукмонча, перемогаясь, побрел домой. И за что он ни брался — за ручку двери, за кружку с водой, за подушку, за поясной ремень, все вещи, казалось, вибрировали под его ладонью.

Сняв сапоги, он лег на нары. Потолок над ним мелко дрожал. Лукмонча закрыл глаза.

Проснулся он в середине ночи, совершенно свежим. Боль в суставах прошла бесследно. Вещи под рукой и в глазах обрели привычную устойчивость. А по жилам его текла, бесшумно и радостно гудя, волшебная, упоительная бодрость. Хотелось встать, пойти и взяться за вибратор.

«Что это со мной? Что это во мне?» — подумал Лукмонча.

И сообразил: это тек по его жилам могучий и покорный большой ток с электроцентрали, которую он сегодня строил.

2

Со школьных лет Лукмонча знал, как будет счастлив: он будет работать. Работать самостоятельно и упорно, чтобы дивилась и радовалась мать. Работать на таком трудном и интересном месте, на какое его и не прочил покойный отец.

Но никогда Лукмонча не знал и не задумывался над тем, как будет несчастлив.

Смерть отца... Она была горька, но прекрасна. Она возвысила Лукмончу, сделала его взрослым. Когда погиб отец, он не плакал, хотя любил его, сильно любил. Лукмонча крепился все свои отроческие годы, не обронил слезы и гордился этим.

Горькие, бессильные, постылые слезы впервые выступили у него на глазах, когда он увидел, как плохой, нечестный парень целует Садбар. Он не хотел этого видеть. Он случайно наткнулся на них ночью. Они шепта-

лись за камнем неподалеку от дороги. Лукмонча узнал их голоса.

— Уж, верно, с тем очкариком вы этак не упрямились, ангел вы мой... козочка бодливая...

— Что вы все о нем, без конца?! Неужели вам не о чем больше говорить?

— О чем же еще говорить? Как будто бы договорились обо всем, что надо. Уж ежели решили складывать в один карман наши получки, давайте сложим и все остальное, ангел вы мой... козочка бодливая... Чего же еще?

— Ничего мне не надо! Только не говорите про Лукмончу!

Халдар пыхтел, как кузнечные мехи. Она упиралась.

Лукмонча хотел убежать и не мог. Остался у камня со стыдом, неведомо зачем, бессмысленно твердя себе: «Что же я делаю? Что же я делаю?» Другой бы выскочил, сшиб этого подлеца с ног, вырвал бы девушку из его рук, прижал к своей груди. Лукмонча не смел пошевелиться. Если Садбар увидит его сейчас за камнем, он провалится сквозь землю.

— А все-таки вы ему... приписали тогда процентиков двадцать, признайтесь! Когда он премию схватил...

— Ничего подобного!

— А мне бы приписали? А?

— И вам... никогда! С чего это вы взяли? И что вы опять начали? Я уйду...

— Ну ладно, ладно... ангел вы мой... козочка бодливая... Ну, хоть на прощание... для примера... один разок...

— Вы не отвяжетесь...

— Клятву даю! А не то обижусь!

Послышалась возня, мычанье Халдара. И звук сочного поцелуя.

Лукмонча пошел прочь, прижав подбородок к груди, придерживая очки. И слезы выступили на его глазах — оттого, как все это было безобразно, противно и глупо.

Он видел затем, что они разошлись. Садбар побежала вперед, а Халдар отстал, изображая обиженного. Сейчас он придет в пятый и будет похвастаться тем, чего не было.

Лукмонча догнал Садбар близ женского общежития, окликнул. Она обернулась, изумленная:

— Ах... что это с вами? Вы чуть ли не землю пашете носом!

Он и сам не мог бы сказать, откуда взялась у него смелость и как он нашел слова про то, чего сам толком не знал и не понимал.

— Садбар, он обманет вас... поверьте мне... Любовь такая не бывает! Она бывает безумной, бывает слепой... Но, Садбар, она не должна быть, не может быть глупой! Никогда! Послушайте меня... подумайте хоть минуточку своей головой... Он смеется над вами, презирает вас... Просто презирает — только за то, что вы, девушка молоденькая, приехали сюда, работаете честно... За все, все, что в вас есть, самое лучшее, дорогое, он вас человеком не считает! Он не любит, поймите... Он не может любить. Все знают, что он скотина. Вы одна... одна... ничего не знаете... Садбар!

Она подбоченилась.

— И знать не желаю! Понятно? Скажите, какие всезнайки! Ах-ах-ах... Уж больно ученые все наперечет! Лезут, суются... прямо спасу нет! А мы вас не просим... учить... Мы простые колхозники!

— Садбар! — вскрикнул Лукмонча в отчаянии.— Что ты говоришь! Ты — работница такой стройки!

— А ты — парикмахер! Был и остался... Ясно тебе? Подсматривает, пристает! Скажи уж прямо, что от зависти... Сплетни только разносит. «Садбар, Садбар...» А я тебе сказала: видеть тебя не могу! Что вам всем от меня надо? Пойду в лабораторию, схвачу с полки чего-нибудь... и отравлюсь!

Она вдруг разрыдалась, закрыла лицо рукавом и убежала.

Дверь за ней хлопнула с треском. Над дверью были прикреплены два выцветших красных флажка.

Лукмонча остался один. Опять один. Долго еще он бродил в сырой, туманной, неприятной ночи, от котлована к котловану, от скалы к скале, словно не находя дороги к жилью, не понимая, где он, куда и зачем идет.

Нашелся человек, который видел его и Садбар той ночью. Человек трезвый, здравый, рассудительный. Он все понял и всему дал оценку, причем прежде и определеннее других. Битых полчаса, а то и больше он ходил за Лукмончей и наконец остановил его:

— Дорогой ты мой Лукманов! Милый друг Лукмонча... Скажу откровенно, без этих намеков: я лично не любитель дешевки в отношениях между товарищами, ме-

жду комсомольцами. Но вот, пожалуйста! Я первый подхожу к тебе и единственный пока что, в тот самый момент, когда ты больше всего, так сказать, нуждаешься, и в тот, прости меня, момент, который я предсказывал, предсказывал заранее... ставил вопрос в резкой форме! — Это был Потчаев.

— Чего вы хотите? — спросил Лукмонча, удивленный его ласковостью.

— Видишь ли, Давранов неплохой инженер, хотя и слабый массовик. Он личный друг твоего отца, вообще добрый человек...

— Чего вы хотите? — повторил Лукмонча.

— Я прямо скажу: хочу опереться на тебя в одном вопросе! Что такое Самади, ты знаешь. Видел, слышал его в вагоне, в бараке, в котловане, все эти его байки, манеры и взгляды... откровенный, понимаешь ли, цинизм... ну, не наш, не наш, так сказать, профиль, чуждый комсомолу... Ты спал с ним на нарах рядом... Он же тебя вечно поднимал на смех!

— Ну и что же?

— Будь другом, напиши все это в общих чертах на имя бюро. И дай мне. В письменной форме... Есть такое мнение, понимаешь, что нужно подпереть в этом вопросе Давранова, подхватить...

Лукмонча не мог удержать недоброго смеха:

— А хотите, я напишу, что вас надо выгнать из комсомола? В форме резолюции!

Потчаев тоже засмеялся — льстиво, побежал за Лукмончей и стал его еще о чем-то просить, — кажется, подумать, войти в положение. И Лукмонча вспомнил, как ему было жалко Потчаева совсем недавно, минувшей осенью, в поезде дальнего следования.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Складывалось странное и неловкое положение: шли дни, а Рахманкулов по-прежнему держал приказ о назначении Эльчибека «под локтем».

Каждый вечер Хумахон смотрела на Эльчибека виновато, будто это происходило от ее нераспорядитель-

ности. Вначале его трогала ее деликатность, агатовые глаза Хумахон были необыкновенно выразительны, они напоминали глаза преданного и игривого щенка. Потом он рассердился и запретил ей подсовывать приказ Рахманкулову.

Жаловаться по этому случаю в трест или в партком было бы тоже нелепо...

Между тем Рахманкулов не обходил и не замалчивал ни одной просьбы Эльчибека. Явился Потчаев и доложил, что прислан в распоряжение начальника участка. Доложил, впрочем, так мудро, многословно и витиевато, намеками и обвиняками, что трудно было понять, с чем он пришел. «Подпереть... подхватить... закрепить...» Можно было подумать, что он назначен на участок генеральным консультантом.

— Что же, милости просим... По-жалуйста! — подчеркнуто-церемонно сказал ему Эльчибек.

Потчаев принял это приглашение с непринужденной обязательностью.

«Ну, держись!» — подумал Эльчибек.

Он взял его с собой в верхнее ущелье, где строилась узкоколейка. Она должна была поспеть к трудным зимним дням, когда начнут отказывать гудронированные шоссе, к дням заносов и обвалов. До этой поры оставались, строго говоря, считанные часы. На узкоколейке шел круглосуточный многодневный аврал.

Но Потчаев, казалось, не замечал его. Он усердно и весьма изящно, как бы походя, занимал инженера Давранова живой беседой. Волновали Потчаева три острые темы: во-первых, хромота инженера как следствие войны и назревание новой военной угрозы на сегодняшний день; во-вторых, личность Самади — ее он живописал с критическим огоньком и недюжинным ораторским даром; в-третьих, персона Рахманкулова. Касательно последней было высказано несколько тонких, язвительно-уважительных замечаний, из которых следовало, что Потчаев кое в чем смыслит более, нежели инженер полагает.

И этот недоросль — правая рука Рахманкулова? Сомнительно!

— Так я и думал, — сказал вслух Эльчибек, отвечая самому себе.

— Естественно! — воскликнул Потчаев с апломбом.

На попутном самосвале они вместе кружным путем спустились в нижнее ущелье и проехали километра три-четыре по дороге, которая вела в далекий Чалдаринский карьер. Здесь было опасное место, пожалуй, самое беспокойное на протяжении всех шестидесяти трех километров. Эльчибек хотел сам посмотреть, можно ли здесь расширить дорожную ленту, от которой столь многое зависело.

По дну ущелья наперегонки с дорогой бежала маленькая быстрая речка. Весной она станет большой, бурной и будет теснить дорогу.

Высоко, на хребтинах гор, видимо, выпал снег. Эльчибек чувствовал это по тому, как ныла левая нога. К ночи снег спустится сюда быстрее, чем речная вода. Побелеют обомшелые камни ущелья...

Эльчибек присел на обочину переобуться. Он разминал пальцами щиколотку, когда по шоссе со стороны Чалдар подбежала девушка в сыромятных сапогах и в распахнутом ватнике, похожая на крепкий осенний грибок. Она запыхалась, покраснелась.

— Обвал... — с трудом выговорила она. — Вот камень! Лег на дорогу... Колонна машин с гравием застряла. Ух! Надо бульдозер или подрывников...

— Мо-лодец, товарищ Суюнова! — воскликнул Потчаев с чувством. — Вот это, так сказать, патриотизм, самоотдача! Мо-ло-дец...

— Куда же вы бежите? — спросил Эльчибек.

— На узкоколейку! Я скажу прорабу, что вы велели! Я мигом...

— Погодите. Где это случилось?

— Отсюда метров пятьсот.

— Так вам же только что встретился самосвал. Вернули бы его...

— Ой, нет, спасибо! Там Тура. С ним ехать — себе дорожке...

— Что за глупости! Предрассудки... — бархатно упрекнул ее Потчаев и деловито повернулся к инженеру: — Я сейчас добегу, распоряжусь срочно...

— Не надо! Все равно не поеду, — перебила его Садбар. — Это очень долго. Я — напрямик! Я — мигом... — И, переведя дух, она сошла с дороги и быстро побежала по камням вниз к реке.

— Стойте! Девушка! Я запрещаю! — закричал ей вслед Эльчибек, взмахнув портянкой.

Садбар только хихикнула ему в ответ. Села на берегу и стала снимать сапоги. Эльчибек с недоумением повернулся к Потчаеву:

— Ну что вы торчите? Догоните ее!

Потчаев нескладно, опасливо прыгая по камням, побежал к реке.

— Това-ариш Суюнова-а...

Садбар дождалась, когда он приблизится к ней, и ступила в воду, пронзительно взвизгнув. Потчаев погрозил ей кулаком.

Держа сапоги над головой, подбирая подол, она перешла реку по колена, повалилась грудью на береговые камни, всползла на них и принялась растирать ноги ватником. Растерла, обулась и, не оглядываясь, побежала вверх по отлогому скату.

Потчаев вернулся на дорогу очень сердитый.

— Черт знает... Самовольство, понимаете ли! Должен сказать прямо — моя вина. У нее там, в колонне, приятели работают. А на приемке, у камнедробилки, дожидается ее зазноба. Вот она и бесится. Она прежде с этим бухарцем, Лукмановым, гуляла.

— С Лукмончой? Она?

— Ого! Мне за него чуть глаза не выдрала. Потом переметнулась. Нашла одного — без очков...

— А вы, я вижу, отлично знаете внутренний мир этой девушки, — сказал Эльчибек без улыбки.

Потчаев скромно потупился:

— Такая уж наша профессия. Наш долг.

— Сколько вам лет? — спросил Эльчибек, натягивая сапог.

— Э... собственно, двадцать три...

— А у вас есть зазноба?

— Что-о?

— Ну, девушка, которую вы любите, за которой ухаживаете...

Потчаев посмотрел на инженера круглыми глазами и коротко, отрывисто рассмеялся с закрытым ртом.

Эльчибек пошел по дороге, сильно хромяя.

— А ты не думаешь, дружище, — спросил он неожиданно, — что в определенный момент жизни человеку очень полезна крепкая встряска?

Потчаев уловил в этом обращении знак особого к себе расположения и пустился в рассуждения о том, как вышесказанное полезно молодежи...

— Есть у тебя специальность? — перебил его инженер.

— Видите ли, мы, как говорится, на все руки... ото всего набираешься понемногу... Руководящая работа — она требует общей ориентации. Она тем и трудна, что...

— А лопату тебе приходилось держать в руках? — спросил Эльчибек. — Хотел бы ты поработать, ну, скажем, нижником у экскаваторщика для начала?

Потчаев надул щеки. Он не находил смысла в подобных шутках.

— Меня сюда направил обком комсомола по республиканской разверстке!.. Я... я брошен к вам на прорыв... стройуправлением! Вы... вы обязаны считаться...

• Эльчибек обхватил его за плечи, потряс:

— Человеком хочешь стать? Сыном рабочего класса! А? (Потчаев смотрел непонимающе.) Или пойдешь на меня жаловаться? Будешь кричать, что я самодур? Не ходи. Не советую. (Потчаев обмяк.) Не надо этого... Ступай сейчас на камнедробилку, скажи, что я тебя прислал на место Джумана Сариева. Это хорошее место! Попутно забеги в управление — там уже прораб узкоколейки бушует, не дает людей на обвал. Подтверди — дать!

— Но, товарищ Давранов, — пробормотал Потчаев, — а как же... а что же скажет Субханкул Рахманкулович? Вам же будет неудобно... Собственно, о вас самом приказа еще нет...

— Если позволишь, я ему объясню, что это твое принципиальное решение. Наотрез!

Потчаев безмолвно открыл рот. Эльчибек ободряюще подмигнул ему:

— Так и сделаем. Дай я тебя обниму... — И он обнял и прижал его к своей груди, как будто провожал в далекий путь. Крепко похлопал по плечу. — Давай, братец... Ни пуха тебе, ни пера!

Потчаев остался стоять на дороге. Эльчибек, прихрамывая, пошел к месту обвала.

«Чалдары, Чалдары... — думал он. — Какой мудрец-

проектировщик придумал возить на стройку инертные материалы за шестьдесят километров? С размахом, видно, человек. Шибко грамотный».

2

Рахманкулов вызвал к себе Эльчибека и встретил его, прихлебывая из стакана чай, не вставая из-за стола и не протягивая руки, ответив на приветствие кивком.

Зато в его кабинете Эльчибека ждала приятная неожиданность: Ульяна Басова. Она тоже пила чай. Для нее нашли пиалу тонкую, как лепесток лилии. Точно такую он видел у Хумахон. Это, конечно, ее пиала...

Эльчибек порывисто шагнул к гостье и взял ее руку обеими руками, долго не выпускал.

— С приездом! Какими судьбами?

— Обыкновенными, рабочими... без подъемных и командировочных!

— Как я вам рад!

— Это недоразумение,— сказала Басова, смеясь.— Вон брат Субханкул встречает меня прохладнее, и это понятно... Только чай у него горячий.

Бесшумно вошла Хумахон и метнула на Басову бешеный взгляд.

— Еще желаете чаю? — спросила она отменно любезно.

— Благодарю. Я уже согрелась. А вот в кабинете начальника навести мало-мальский порядок недурно бы. Живет он у вас как в цыганском шатре. А ведь стоит он того, чтобы о нем позаботиться, сестра Хумахон!

Хумахон прищурилась, ослепительно улыбаясь:

— У вас вечно замечания. Ужасно на вас похоже...— И с поклоном вышла.

— Так,— сказал Рахманкулов, допив чай.— Я лично избалован вашим вниманием, Ульяна Георгиевна. Нагрянете, перевернете всех вверх дном и отбудете... Теперь, стало быть, не отбудете? Мне было ясно, кто, так сказать, благословил инженера Давранова. Ва-аш выбор! Теперь и вы пожаловали?

— Вы не поверите мне, но я сама напросилась,— ответила Басова в том же тоне, который мог быть принят

и за шуточный.— Ввязалась... хотя за это денег не платят... и хотя превосходно знаю, как вы не почитаете нашу сестру в том качестве, в котором я сейчас выступаю. Жены должны быть женами, в крайнем случае секретаршами... правда?

— Может быть, и правда. Я не скрою: я возражал. У Давранова на участке молодежь. Полно сантиментов! Там нужна мужская рука и не нужен женский глаз... Но у нашего секретаря Ахмеда Хусейна к вам пристрастие, я бы сказал — беспартийная слабость...

— Я тоже признался бы в этой слабости, если бы меня спросили,— быстро сказал Эльчибек, чтобы смягчить неловкость последних слов Рахманкулова. В прошлом году на стройке поговаривали, что Басова — невеста Ахмеда.

— А чему вы радуетесь? Постичь не могу! — проговорил Рахманкулов, хлопнув ладонью по столу.— Вы инженер, любите хозяйничать — больше, чем вам положено! Вам всерьез нужен комиссар?

Эльчибек шуточно-испуганно приложил ладонь к уху:

— Комиссар?

Басова от души рассмеялась. Затем опустила голову, принуждая себя сдержаться, но все же в глазах ее, строгих и властных, блеснули насмешливые искорки.

— Ах, мужчины, мужчины! И что вы с нами не поделили? — Она сняла с рукава Эльчибека маленький серозеленый репейник.— Мне нечего говорить, что участок ваш головной... в очень большом, ведущем хозяйстве Рахманкулова. (Начальник управления устало усмехнулся этому тонко рассчитанному комплименту.) Ну, и молодежь! Подумали и решили: прикрепить члена парткома к вашей комсомолки. Вот и все мое комиссарство — с огромными возможностями, без никаких прав. Начнем, я думаю, с выборов нового бюро...

— Как?! — вскричал Рахманкулов.— Оно же только что избрано. Распускаете? Поздравляю! Значит, все-таки разгоняете?

— Нет,— спокойно отозвалась Басова,— собираем. «В нашем полку прибыло»,— подумал Эльчибек.

Вошла Хумахон и поставила перед ним чай в тонком стакане с мельхиоровым подстаканником. У Рахманкулова был граненый стакан без блюдца и подстаканника...

И опять Хумахон одарила Басову нежной улыбкой и огненным взглядом. Эльчибек внутренне поморщился. Ревнует, что ли? Это было ему и приятно и неприятно.

— Так,— сказал Рахманкулов, пожевывая бледными губами, и это уже относилось к Давранову.— Насколько я могу понять, головной мой участок в прорыве. На дорогах обвалы. С инертными материалами сижу на голодном пайке... Факт? Непреложный. А вам... вам хоть бы что? Вы гнете свое — шерстите мне кадры, рассредоточиваете рабочую силу, безобразно балуете людей... и в конечном счете беспардонно обманываете их, морочите молодежи голову ребяческими планами, чистейшим прожектерством! Экс-пери-мен-тировать изволите? А кто разрешил? Сорок семь человек, сорок семь... снял с работы, когда у меня каждая активная лопата на счету, как у командира в бою активный штык!

«Роскошное сравнение,— подумал Эльчибек с неприязнью.— Специально для меня». Однако начал Рахманкулов не с Потчаева — хорошо. И что же он, ищет в Басовой арбитра? Очень хорошо!

— Не пойму,— сказала Басова,— как это — снял с работы?

— Буквально: отобрал лопаты, приставил, видите ли, к технике... как козлов к граммофону... Учиться! Да это все равно, что выпустить цыплят на бильярдный стол. Поле зеленое — кормите, милые... Не только обман, насмешка! И потом, прошу прощенья, что у меня здесь, СУ или РУ? Строительство или школа?

— Школа жизни,— негромко сказал Эльчибек.

— Дорогой мой,— отозвался Рахманкулов с ласковым пренебрежением,— это я уже слышал, читал в газетах. Стыдно вам говорить такие прописи человеку, который постарше вас в партии. А главное — что же, что вы такое творите, что вы делаете с людьми, с молодыми рабочими? Думаете приласкать детишек, заработать себе дешевый авторитет?.. Прimitивный замысел! Осмелюсь спросить: достойно ли это вас? Во всяком случае, пока я не свалюсь с ног от бессонницы и нервной горячки, я буду пресекать эту дезорганизацию и деморализацию. Вам придется вспомнить, что вы инженер и что вы в прорыве! Держать это в голове день и ночь, как память о матери и об отце...

Басова молчала.

— Товарищ Рахманкулов,— сухо выговорил Эльчибек,— нужно ли, должно ли инженеру держать в голове те горизонты, которые по ту сторону прорыва? Прошу вас ответить по возможности в спокойном тоне...

В эту минуту Эльчибек думал уже не о «срока семи». Он думал о дороге на Чалдаринский гравийный карьер, по которой приехал сюда, на стройку. Вчера дорога пустовала полдня, схваченная за горло обвалом. Хотелось бы подумать втроем о Чалдарах.

Но Рахманкулов грузно встал, гремя стулом, и ответил поклон. Чайная ложечка зазвенела в стакане.

— Примите мои, как говорится, нижайшие... за прошлое и на будущее... Некогда, некогда мне церемониться, дорогой Давранов! И вообще — я не поэт, я плотник. И мысли мои витают не на горизонтах по ту сторону... Мысли мои — в котловане! Я весь там, весь, по макушку... — Он звучно пошлепал себя ладонью по голуму, коричневому затылку.

— Не может быть! Не верю,— сказала Басова, отодвигая пиалы от края стола.— Поклеп...

— А вот уж это,— словно бы с торжеством, яростным торжеством, выговорил Рахманкулов,— уж это, простите меня, всецело дамское суждение! Благодарю, конечно... и... не нуждаюсь! Моя поэзия земная: нормы, сроки. Как говорится,— гравий, цемент, песок... Итого — бетон!

Эльчибек смотрел на него и думал: что же это? Человек упрямо ищет ссоры... Зачем она ему в такой трудный час? Или, может, наоборот, ему нужно в открытую выговориться, отвести душу со всеми доверенными людьми? Немыслимо, чтобы он на самом деле не хотел видеть дальше своего носа?

Озадачена была и Басова. Рахманкулов никогда не отличался многословием в деловых встречах с подчиненными. А с ней он держался обыкновенно с восточной настойчивой предупредительностью, как Ахмед Хусейн... Сегодня он, казалось, спорил с самим собой. И ждал, что ему возразят — тоже резко, криливо, вызывающе...

Эльчибек подошел к Рахманкулову, под руку почтительно подвел его к столу, усадил. Пододвинул свой стул поближе. Сказал, будто начиная разговор сначала:

— Вы говорите — бессонница у вас... Это беда. Вам — не тридцать, к сожалению. Вам положено иметь ясную голову.

Рахманкулов со скрипом откинулся на стуле, глядя то на Эльчибека, то на Басову и словно недоумевая: кто же они? Затем сморщился и махнул рукой.

— А, ч-черт меня разберет!.. И жена тут еще донимает по междугородному... из Ташкента... Нервы, нервы... и никакого сочувствия... Ох-ха! Сидишь или лежишь этак за полночь и думаешь: ну ладно, а совесть у людей есть? А комсомольская путевка — это что, бумажка? А зарплата, наконец, течет тебе, молодцу, из госкармана, из народной кошны, как молоко из материнской груди?

Басова и Эльчибек переглянулись. Она, видимо, не хотела ему мешать. А ему надоела эта песня...

— Субханкул Рахманкулович,— сказал Эльчибек,— я умолчу о том, что такое для меня в данных условиях решение о сорока семи... Но мне кажется, вы понимаете, что я от него не откажусь.

— Понимаю,— неожиданно сказал Рахманкулов.

— Ну, а я понимаю, что на себя беру.

— Можно ему верить? — спросил Рахманкулов у Басовой.

— Думаю, можно,— ответила она.

Рахманкулов небрежно, как бы рассеянно пододвинул к себе черную картонную папку с вытесненными на лицевой стороне словами: «На подпись».

— Когда войдете в график?

— Этот вопрос решаю,— ответил Эльчибек.— Он у меня в генштабе, в руках у сорока семи...

Рахманкулов с кривенькой усмешечкой покачал головой. И вдруг беззвучно засмеялся, трясаясь всем своим грузным телом.

— А что же этого, вождя волостного масштаба, товарища Пожалуйста... действительно это... землю копать? И ничего, согласился?

— Да.

— Тайны гипноза!

Эльчибек смотрел на него с каменным лицом. Чему, собственно, Рахманкулов смеется? И что ему так понравилось? Как круто обошлись с нескладным, самонадеянным парнем? И как он покорился, не пикнул?

— Так,— сказал Рахманкулов, все еще трясаясь, раскрыл папку, перечитал знакомый Эльчибеку приказ, подписал, вызвал Хумахон и отдал ей папку.

Эльчибек встал, ему нужно было поспеть до смены в карьер.

— Не держу, не держу,— сказал Рахманкулов, протягивая руку.

Эльчибек молча простился с Ульяной.

Идя в карьер, он длинно чертыхался сквозь зубы.

Грустно, все-таки грустно... Ни шага, ни слова инженера Давранова не оставил без пристального внимания Рахманкулов. Только об одном, самом важном и нужном, он умолчал — о Чалдарах! «С инертными материалами сижу на голодном пайке...» И все. Более ни звука. Непостижимо!..

«Ну что ж,— сказал себе Эльчибек,— попробуем взяться за это дело с другого конца!»

3

Басова поселилась в общежитии прорабов. Вечером Эльчибек встретил ее в коридоре. Она была в спортивном костюме, напоминавшем лыжный,— в синих брючках со швом и в серой куртке. Под курткой виднелся шелковисто-белый тонкий свитер. Этот костюм шел ей, пожалуй, не менее, чем шахтерская парусиновая роба.

От взгляда Ульяны не ускользнуло, что ее домашний наряд замечен.

— Вашему восточному глазу,— сказала она,— должно импонировать, что женщина в шароварах.

— О... да....

— Так мы соседи. Позовете в гости?

Они вошли в комнату Эльчибека.

— А вы устроились иначе, чем Рахманкулов. Тут чувствуется женская рука! Или это солдатская аккуратность?

Эльчибек слегка покраснел. Кровать его была застелена не по-солдатски, ее касались заботливые ручки Хумахон.

Басова подошла к окну и распахнула его настежь. Эльчибек невольно поежился. Печи в его комнате пока не поставили.

— Ага, это вам уже не нравится? — сказала Ульяна. — А я никак не привыкну к комнатному воздуху. Вы любите ночевки у костра ранней осенью, когда в небе звезды величиной с кедровую шишку?

— Очень люблю, — ответил Эльчибек, — если костер в виноградном саду. На фронте я мерз жутко. Русские валенки, по-моему, гениальное изобретение. — И он с сожалением повесил свою пыжиковую ушанку на гвоздь. Левая нога ныла несносно.

— Что с вами? — спросила Ульяна, когда он повернулся к ней лицом.

— Отсидел, что ли...

Она помолчала, присматриваясь к нему, едва приметно щурясь.

— Ну, а как же понимать нашего общего друга? Наступили вы ему на мозоль?

— Боюсь, что эта мозоль у него на сердце.

— О, не торопитесь, не спешите с приговором! Вам с ним работать. Что в нем ценно — то, что он не терпит спекулянтских замашек.

— И это вы говорите? — удивился Эльчибек. — Не вас ли упрекали в спекуляции, когда вы сочинили свой метод? И осушили Кайраккырские руды...

— Положим, меня. И что же?

— Вы гидрогеолог, вам ли не знать! В человеке, как и в грунте, бывают подземные течения. А я люблю ясность. Я привык к тому, что коммунист понимает коммуниста с полуслова. Уж больно много времени уходит у нас на споры. Жалко.

— Жалко, — согласилась Ульяна.

— Человек рискует, ищет, видит новенькое... А ему говорят мудрые каси, стреляные воробьи: «Это корысть, зарабатываешь дешевый авторитет». Да, черт вас возьми, зарабатываю, мечтаю заработать — и не такой уж дешевый!

— Спокойнее, спокойнее! — проговорила Ульяна задумчиво. — У вас, кажется, должна быть выдержка.

— А у вас она есть? — спросил Эльчибек, исподтишка разминая под столом ноющую голень. — Что у вас там с водичкой на Кураминских рудах? Много ее?

— Многовато. Пока что худо дело. Вода не в одном, а во всех трех отложениях. Сильные течения. И самое

сильное проходит как раз над рудным телом. Вы эту воду видите каждый день у Комсомольской дамбы.

— Надоело видеть, Ульяна Георгиевна...

Она села на подоконник, выставила наружу плечо.

— Говорят, однажды Брюллов подошел к полотну студента, взял кисть и мазнул слепой, плоский глаз на портрете... И стал глаз выпуклым и зрячим. Стал видеть! Как будто бы в штольне Капитальной нашелся скромный горнячок, который может положить вот такой единственный недостающий мазок на мой метод.

— Ага! Теперь ваша очередь сказать, что этот горнячок прожектер и примазывается!

Она кивнула, смеясь.

— Теперь — моя... Я еще с ним не познакомилась.

— Желаю вам полного успеха. А ему — выдержки!

Она поклонилась.

— Кстати, а что у вас такое с Потчаевым? Всех — к технике, а его — к лопате?

— Прошу вас, — сказал Эльчибек, — не смотрите на это глазами Рахманкулова... В армии считают, что плох тот командир, который не испытал солдатского пота. Парень не знал ни радости, ни тяжести труда — может ли он понять рабочего?

— Он просит поставить его хотя бы на бетон. Если не ошибаюсь, на бетонном заводе можно его...

Эльчибек почувствовал себя задетым:

— Ах, с ним вы уже познакомились? Жаловался?

— Нет.

— Ну что ж, можно подумать.

— И еще вот о чем просьба поразмыслить... Джуман Сариев, мне кажется, будет дельным секретарем комсомольского бюро.

— Ни в коем случае! — воскликнул Эльчибек почти испуганно. — Только этого не хватало... Сариев поднимает технику, наше спасение, надежду молодых. Шутите вы делом! И не заикайтесь... Категорически буду против. Боже упаси!

— А я категорически буду «за», — сказала Ульяна так мягко, что Эльчибек умолк, досадуя, что вдруг и невпопад погорячился.

— Ульяна Георгиевна... — начал он, вставая и морщась от боли в ноге.

Она с непринужденной улыбкой прервала его:

— Эльчибек Давранович, решит собрание. Все решит. Нам не к чему спорить...

«Действительно не к чему,— подумал Эльчибек.— Вынести спор на собрание? Наверняка проиграешь. Джумана выберут. Его любят. Но это же зарез для дела, для ремонтных... Парень не семи пядей во лбу. И сам надорвется, и сорвет нужное для многих!»

— Позвольте и мне вас просить,— добавила Ульяна,— не смотрите на это глазами Рахманкулова... Прошу вас...

Эльчибек засмеялся без особого вкуса. Вот первая осечка, первое решение против его воли и понимания вещей с тех пор, как он здесь.

Тихо постучали в дверь. Эльчибек и Ульяна обернулись на стук. Вошла Хумахон с маленьким эмалированным китайским подносыком, желтым с красными цветами. На нем стоял стакан чая в мельхиоровом подстаканнике. Чай крепко заварен, в нем плавают ломтик лимона.

— Добрый вечер,— вымолвила она, и взгляд ее мгновенно потемнел, пока она переводила его с Давранова на Басову.— Проявляю заботу о начальстве, которое того стоит... Пожалуйте к столу. Сахар я положила, как вы любите. Может, варенья? Хотите? У меня есть клубника...

Эльчибек медленно, густо покраснел. Он не мог выдавить из себя ни слова.

Ульяна соскочила с подоконника и подошла к Эльчибеку:

— Слушайте, брат, а что же будет с ногой? У вас, у вас... Это посерьезнее бессонницы. Надо об этом думать. Вам положено стоять на здоровых ногах... Ну, не буду мешать.

Она кивнула ему, потом Хумахон и вышла. Эльчибек растерянно смотрел на дверь.

Тогда Хумахон неслышно скользнула к окну, плотно закрыла его, подошла к Эльчибеку и приникла к нему всем телом, заглядывая в глаза, горячо шепча:

— Не слушайте ее. Не смотрите на нее... Она — ведьма, скорпион! Она вас укусит...

— Хума... Хума... ну можно ли так?.. Можно ли так?..— бессвязно бормотал он.

С дальних гор доносились короткие частые трескучие взрывы. Казалось, что там, на скалах, кто-то ловко, быстро колет дрова. Эльчибек любил эту рабочую музыку, слушал ее с удовольствием.

День выдался погожий. Доверху, до белков, открылись Кураминские горбы и плечи Тянь-Шаня, по-осеннему угрюмые, по-зимнему холодные и величавые. Лишь небо голубело, как вешние полые воды; по нему плыли белые облачка, похожие на спящих гусей, уткнувших головы под крыло.

Из еловых боров, которые росли на отвесных бородавчатых стенах ущелий, тянуло прелой хвоей. Этот запах напоминал Эльчибеку леса Полесья, сырые, душевные, — сколько гатей, долгих, как дороги во сне, он там настелил!

Круглый, просохший на солнце и ветру каменный холм походил на муравейник — так был облеплен людьми. И куда ни глянешь, юные лица, белозубые улыбки, веселые глаза. Холм шевелится, радужно пятнится и рябит на жгучем горном солнце и гудит, гудит... Смех волнами прокатывается по нему. Все говорят в полный голос. Всхлипывает гармонь — ее и не слышно. «Молодость, молодость, как ты щедра!» — думал Эльчибек и не мог удержать улыбки.

А пришел он на собрание сердитый. Глупая злость накипала в нем вопреки его желанию. До последнего момента он надеялся, что Басова уступит, передумает. Нет! Спросил — засмеялась... Видимо, она уже говорила с Джуманом, тот смотрел виновато, и Эльчибек отворачивался, чтобы не увидели, как он глупо зол.

Собрание открыла Нафиса. Она немного располнела и стеснялась. Басова настояла, и Нафиса встала у стола, открытого кумачом, не смея поднять глаз. Ей закричали с вершины холма:

— Давай, давай, не тушуйся! А то Сангин тут в обморок упадет...

И, как это нередко бывает, когда люди веселы и игриво настроены, в президиум был избран и Потчаев. Самади выкрикнул его фамилию из озорства, и многие с

веселой готовностью подхватили... Потчаев прошел к красному столу под жиденький язвительный шум хлопков, который человеку с самолюбием лучше не слышать. Однако впервые собрание вел не он.

Поднялся Джуман и взял в руки бразды... И только вначале пискнула гармонь и для порядка крикнули с разных концов:

— Тише!

— Громче!

Огромный муравейник застыл в заинтересованном молчании. Собрание слушалось Джумана. А он вел его спокойно, просто, и видно было, что со вкусом. Вряд ли кто-либо другой мог бы так легко справиться с делом. И сам Эльчибек и Басова не сумели бы. Эльчибек понимал — этому нужно радоваться — и все же не мог совладать с собой: он злился...

Джуман дал слово Басовой. Из-за стола президиума Эльчибек заметил — на холме много старых рабочих, много коммунистов. Прорабы, техники из управления... Они сидели в первых рядах. Вообще здесь еще не выдвигали столько народу вместе. Пришли и беспартийные. И Эльчибек подумал, что и не видать бы ему такого сбора на своем головном участке, если бы не Басова. Люди пришли потому, что она пришла.

На момент ему стало стыдно перед ней. Он вспомнил вчерашний вечер, ночь... И опустил голову, словно глаза могли его выдать. Та, другая, еще более красивая, чем эта, тоже сделала по-своему. Недалекая, пустынная, а повела, повела его, куда хотела... Это хотелось скрыть, и Эльчибек с тягостно неловким чувством сжал ладонями виски.

А Басова говорила о том, что нынешнее бюро, по сути, неправомочно и малосильно. Его выбирало меньшинство сегодняшнего собрания, когда участок не развернулся и большая часть комсомольцев была еще на колесах.

— Есть предложение — кооптировать!.. — крикнул из президиума Потчаев приятно бархатно и деловито. Слова его вспорхнули и улетели, как парок из трубы локомотива.

Кроме того, говорила Басова, в бумагах бюро она нашла непонятные документы: персональное дело комсомольца и кандидата партии Джумана Сариева, ходатай-

ство о награждении Самадова грамотой ЦК Ленинского комсомола, правда, еще не рассмотренные бюро, и решение большинством в один голос, при двух воздержавшихся, отказать работнице Адолят в приеме в члены ВЛКСМ, правда, еще не утвержденное общим собранием... Документы эти совестно держать в руках.

Во втором ряду, за спиной рослого экскаваторщика, Эльчибек внезапно увидел миловидное женское лицо, не тронутое загаром, с прозрачными тенями под глазами. Глаза прищурены, в них ненависть. Эльчибек не сразу узнал это лицо. Узнав, прикрыл ладонью глаза. Вчера допоздна она нашептывала ему о Басовой чепуху. Он засыпал, она его будила. И спрашивала, кто из них краше.

Эльчибек поймал себя на том, что не слушает... Он встряхнулся, посмотрел на Басову и мысленно стукнул себя кулаком по затылку. Досада! Самое интересное он прозевал.

— Само собой разумеется,— говорила Ульяна,— это не директива, совет. Воля собрания принять его или не принять.

Ей долго, весело хлопали, а Эльчибек косился углом глаза на очаровательную Хумахон. Вот еще откуда в нем глупая злость.

Полагалось отчитаться старому бюро. И собрание приняло неслыханное решение: дать Потчаеву пять минут.

Вскочил молодой инженер-плановик и, не прося слова, сварливой скороговоркой заявил, что это не игрушки все-таки, и здесь не волейбол, чтобы давать «двухминутки», и что он, как член партии, не может...

Джуман прервал его:

— Товарищ, товарищ... простите, не знаю вашей фамилии. Мы уважаем вас как члена партии. Но собрание проголосовало. Это закон для всех.

— В порядке ведения! — крикнул инженер.

— А мы вас уже выслушали.— Джуман заглянул в листок, лежавший перед ним.— Согласно регистрации у нас присутствует пятнадцать коммунистов. Мы благодарим за такую честь и... не думаем, что здесь волейбол! Вы, пожалуйста, поправьте эти слова.

Инженер невнятно извинился и сел.

Басова с улыбкой смотрела на Эльчибека. Он почувствовал ее взгляд, но сделал вид, что рассматривает регистрационный листок.

В задних рядах задвигались, зашумели. Все стали оборачиваться. Эльчибек поднял голову и увидел на вершухе холма, в людском муравейнике Рахманкулова. «Та-ак...» — мысленно выговорил Эльчибек излюбленное рахманкуловское. Пришел. С небольшим, вполне приличным опозданием... Стало быть, не мог не прийти. Этим Эльчибек обязан тоже ей, Басовой...

Джуман пригласил Субханкула Рахманкуловича пройти к столу и без голосования усадил его рядом с собой.

— Возражений не будет?

И молодые и старшие умеренно, вежливо похлопали.

«Что за молодчина!» — подумал Эльчибек.

Встал Потчаев. Он мог бы говорить минут сорок, а то и час. Но собрание не нуждалось в его красноречии. Обыкновенно он и не задумывался над тем, хотят ли его слушать. Он требовал, чтобы слушали, поскольку был убежден, что говорит правильно и без его речи не обойтись. Сегодня он, может быть впервые, в этом усомнился.

— Товарищи комсомольцы! — начал Потчаев торжественно. И повесил голову. — Что тут сказать? Тогда нечего и говорить. Я и сам не знаю, как это у меня получилось... Я плохого никому ничего не хотел. Совершенно наоборот. Я болел своей работой. И товарищ Рахманкулов может подтвердить. А что не справился, напорол — не я один виноват, честно вам говорю!

— Правильно, — сказал Эльчибек.

— Ну вот, пожалуйста, — проговорил машинально Потчаев, не ожидавший услышать такое слово о себе. — А что я смогу дальше... полезное для народа... или не смогу — это вы еще увидите... Увидите! Так у нас тоже не бывает, чтобы человек не стал на ноги!

Взмахом руки он поставил точку и не пошел в президиум, а сел на корточки перед первым рядом.

И что же? Понравилась речь... И понравилось, что не полез парень назад за стол под кумачом.

— Вверну-ул! Э?.. — крикнул шофер Тура восхищенно.

— Поди сюда, Потчаев, я тебя облобызаю! — позвал Тиркаш Заманов, протягивая к нему руки с наглухо застегнутыми у кистей рукавами.

Джуман исподтишка поглядывал на Эльчибека. До собрания они не успели обменяться хотя бы двумя словами, а Басова говорила об инженере шутливо-уклончиво. Джуману и в голову не пришло, что Давранов и Басова разошлись во мнениях, и он безуспешно тщился понять настроение человека, которого он, казалось, так ясно и душевно понимал.

Однако собрание ждало. Джуман поднял зажатый в кулаке карандаш. Он сумел на ходу уловить главное: как расширились возможности собрания, когда пришел начальник управления. Ведь «в зале» пятнадцать членов партии, два члена партийного комитета!

Большой корабль... ему — большое плавание.

— Друзья, — сказал Джуман, — я думаю, попросим сейчас начальника участка? Без регламента! Хотим вас послушать, Эльчибек Давранович. И других старших товарищей приглашаю...

Эльчибек собирался выступить, и — не потому, что это было в неписаном привычном порядке вещей и все этого ждали. Ему хотелось сказать о том, чего не ждали. И именно это чутко уловил Джуман, умный председатель. И выбрал момент — как нельзя лучше.

«Попробуем, попробуем взяться с другого конца...» — мысленно сказал Эльчибек Джуману и Басовой, глядя на Рахманкулова и замечая, как он весь собрался, грузно сгорбясь над столом.

Одно мешало. Хумахон выдвинулась из-за плеча экскаваторщика и смотрела на Эльчибека так откровенно и восторженно и властно, словно говоря: «Ты мой! Я разрешаю тебе — топчи их...» Эльчибек потемнел от нового приступа злости. Ему казалось, что все за красным столом — и уж конечно Басова — видят, как она на него смотрит.

— Ну, мечтатели, зачинщики будущего... — начал Эльчибек с невольной злой дрожью в голосе, окидывая взглядом задние ряды, где полулежал на боку парень с гармонью. — Может, помечтаем? Есть такое желание?

Для начала неплохо. Не казенно начал... Однако собрание молчало. Что будет дальше? Воробья на мякине не проведешь.

— О чем же будем мечтать? — спросил Эльчибек. — О городе с башнями из белого камня? Или о длинном рубле? А может, о девушках с сорока косичками?

— А вы... еще не разучились о девушках? — поинтересовался Тиркаш.

— А вы? — быстро ответил Эльчибек, стараясь не смотреть на Хумахон. — Вы не разучились? До каких пор вы будете танцевать на грунтовом паркете под дождем, а жить в бараках? Почему комсомолия не висит на горле у начальника управления, чтобы был клуб не хуже, чем в Ангрене и Жигулевске? И чтобы сын Нафисы и Сангина, первый коренной гражданин, родился в комнате с паровым отоплением!

— Ну, уж это вы того... ей-богу, того... — со смешком заметил Рахманкулов.

— Прошу прощения, товарищ начальник... По генеральному плану не кто иной, как мы с вами... наше четвертое СУ зачинает город! Архитекторы наготове, ждут не дождутся, когда мы их позовем.

— А мы и не знали... — выговорила Оксана-батыр нежным голоском, слышным на всем холме.

— Я и хочу спросить, — сказал Эльчибек, — что мы знаем? О чем будем мечтать? Вот Лукмонча любит говорить: башни, башни... А кто из вас скажет, что это за башни? Громадные, величественные, — по ним наш город будут узнавать, как по высотным зданиям Москву!

Молчание — и после долгой паузы нетерпеливый, взволнованный возглас молодого инженера, который предрекался с Джуманом:

— Фло-та-ци-онные корпуса!

Эльчибек поклонился ему:

— Да... Теперь пойдем от противного. Кто мне скажет, сейчас, в присутствии начальника управления: а что у нас на стройке самое безобразное? Самое плоское... жалкое, слабое — во всем, что мы видим, что по сей день терпим... и вместе с тем такое важное, нужное, от чего зависит судьба флотационных корпусов, клуба, жилья, наши планы, графики — словом, все!

— Разве столо-овая... — вопросительно протянул паренек-ферганец в настороженной тишине, но никто не засмеялся, а молодой инженер-плановик, лихорадочно размышляя, опустил глаза.

Басова с интересом, с мягкой улыбкой смотрела на Эльчибека. А Рахманкулов уже качал головой, широко, из стороны в сторону, так, чтобы это заметили. Лицо его наливалось темной краской. Он понял Эльчибека, разумеется.

— Это безобразие,— сказал начальник участка,— дорога на Чалдары. В моем представлении она выглядит старомодным кружевным королевским шлейфом на рабочем комбинезоне строительства, дамским хвостом длинной в шестьдесят три километра! Роскошь, знаете ли, не по моде и не по трудовому карману. Ребята-шоферы пошучивают: «Трансчалдаринская самосвальная магистраль...» А она, эта магистраль, тонка и рвется, как волос. Пишем в докладных: дорога инертных материалов. А ведь не сегодня-завтра она станет для нас дорогой жизни, как была для Ленинграда в блокаду ледяная дорога через Ладогу. Дорогой жизни, товарищи! По ней идет наш строительный хлеб — гравий, песок!

— Хлеб-еб...— вдруг удивленно и смешливо проговорил кто-то в задних рядах.— А хлебница-то вот, под боком...— Голос глухой, хриловатый от простуды, но Эльчибек услышал его в общем молчании.

Услышал и насупил брови сердито. Всему, однако, свое время и место... Увидев, как он насупился, осерчали и ребята, зашикали по всему холму. Это Кимсан отличился, козлиная у него дурашливость.

— Так вот, други,— сказал Эльчибек, стараясь улыбнуться,— Хумахон обволакивала его томным взглядом,— дело такое: видеть впереди башни и не видеть у себя под носом. Есть над чем голову поломать!

— А чего ломать? Говорю, под боком...— опять захрипел Кимсан и закашлялся.

И вновь на него зашикали, стали оглядываться. Пьян он, что ли? Халдар напоил...

— Вывести его с собрания! — возмутился горячий инженер.

Эльчибек протянул ладонь, успокаивая, как бы уговаривая не делать из мухи слона...

И только Джуман смотрел на Кимсана с тревогой, словно забыв о своих председательских обязанностях. Где он, чудак? Его не разглядишь за локтем Халдара. Они в самом последнем ряду, на горбе холма.

— Кимсан! — окликнул председатель. — Ты что там? Что ты хочешь сказать?

Кимсан встал, махнул рукой в сторону Сазлыксай, отчетливо икнул и согнулся пополам в затаянном приступе сухого кашля. Поднялся Халдар и потащил Кимсана за холм.

— Вот оно, самое безобразное... — воскликнул инженер, надувая шею.

Эльчибек вскоре закончил, и молодые проводили его горячо, шумно, за то, что он говорил с ними, не «нудя свет», не жуя язык, не разжевывая слов. Говорил о жизненно важном и самом интересном для каждого. «И ведь это здорово; всем отвечать на все, какого ты ни будь возраста, профессии и ранга. Рахманкулов думал иначе: «Я отвечаю!» А мы для Рахманкулова с одного бока сопляки, с другого — рабсила. Мы помним, помним, брат Субханкул, кто у нас отбирал паспорта...»

Басова внимательно оглядывала первые ряды собрания: искала лица прорабов, техников, бригадиров и напоминала взглядом: «Обещал — так не отмалчивайся. Коммунист? Выступай!» И они брали слово один за другим, вперемежку с комсомольцами.

Говорили все о самом для себя существенном, говорили резко — и молодежь и партийцы. Досталось на орехи обоим начальникам. И теперь Эльчибек думал о Басовой: что за умница! Ее замысел удался: скромное молодежное внутрисоюзное собрание превращалось в открытое партийно-комсомольское. Это собрание не забудется.

Ждали, что выступит Рахманкулов. И не дождались. Джуман незаметно, деликатно спросил его: не уважит ли? Эльчибек и Ульяна слышали, как он ответил:

— Ведите собрание, товарищ Сариев. Занимайтесь своим делом.

Грубовато, конечно... Расстроен начальник. Нечего ему сказать о Чалдарах!

Уже смеркалось, когда счетная комиссия во главе с Оксаной-батыр подсчитала голоса. В новое бюро были избраны Джуман, Лукмонча, Тиркаш, из старого состава — одна Нафиса. Собрание решило исключить Самади из комсомола и пересмотреть вопрос о приеме Адолят. Собрание решило строить клуб, строить пока сверхуроч-

но, вечерами, и для того учредить особое добровольное комсомольское прорабство — *Вечстрой*.

И еще решило собрание и так записало в резолюции: «Не выпускать из поля зрения дорогу в Чалдаринский гравийный карьер».

Под конец вместе со старшими спели «Гимн демократической молодежи».

В красном уголке собралось новое бюро. Его первое заседание вела Басова. Эльчибек не удержался и тоже пришел в красный уголок и, вопреки всем нормам, попросил слова. Ему дали слово, и он не то попросил, не то посоветовал бюро при выборах секретаря учесть, как занята на своей основной, очень ответственной административной работе Джуман Сариев. Бюро выслушало его и открытым голосованием единогласно избрало Джумана секретарем.

2

Домой, в общежитие, Эльчибек шел с Басовой. Всю дорогу молчали. В коридоре, у дверей его комнаты, Ульяна спросила:

— Что же все-таки с вами?

Он с досадой махнул рукой:

— Шайтан попутал... верите?

— Бывает, бывает.

Эльчибек заперся в своей комнате, снял сапоги и, растирая ногу, стал сам себя допрашивать с пристрастием: что за чехарда сегодня в его душе?

«Бывает, бывает,— мысленно, с издевкой твердил он себе.— В каждом из нас сидит маленький Рахманкулов... Вот что Ульяна хотела сказать!»

И только тут он вспомнил о Кимсане. И ясно почувствовал наконец: с этим чудаковатым парнем что-то упущено.

Эльчибек поспешно обулся и вышел. В коридоре он едва не сшиб с ног Хумахон, которая несла чай на китайском подносике. Второпях он извинился и вполголоса добавил:

— Идите к себе... ради бога, ради бога...

Затем он пошел в пятый. Там не спали.

Джуман уже искал Кимсана. Опрашивал всех — после собрания никто Кимсана не видел. Не нашли и его

вещей под нарами. Пропал со своими мешками также Халдар.

Оказывается, в обед прибежала в управление учетчица Садбар. Она обнаружила приписки у шофера Туры. Он делал два рейса в Чалдары, а получал за три.

У камнедробилки, на ссыпке, слышали, как Тура предлагал Халдару: «Приплюсни, поделим...» — и пилил воздух ребром ладони. Он предлагал это и другим, другие отказывались. Видимо, Халдар не отказался. А сегодня струсил, сбежал. И увел с собой Кимсана.

— Подпоил, кабан,— сказал Лукмонча.— А то бы не увел...

— Может, и подпоил. Не в этом дело,— сказал Джуман.— Кимсан что-то знает.

— Думаешь, насчет хлебницы не болтовня? — спросил Эльчибек.

— Вряд ли.

— А что он показывал рукой... как будто бы на реке?

— Там, за Сазлыксаем, его кишлак. Он там родился... Там у него невеста, дочка председателя колхоза.

Тогда Эльчибек понял, как промахнулся на собрании: злость помешала ему подхватить эту, может быть ценную, нить. Он сам обратил в муху слона. Теперь нитка оборвалась...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Садбар часто снились сны.

— Какой я сон видела, девочки! Чудесный... — этими словами обычно начиналось ее утро.

Сидя в одной рубашке, заплетая косы, она рассказывала:

— Будто бы пустошь за пятым баракком расцвела. Горы синие. А небо — как зеркало... Что на земле, то и в небе, как в озерной воде. И будто бы народу видимо-невидимо — то ли праздник, то ли базарный день. Все веселые, поют песни. И ходит среди них *он*, и каждому дает полевые цветы, и зовет: «Все берите, все, бесплатно...»

— Как же! Дождешься от него!

— Ты молчи, батыр. Тебе бы он нич-чего не дал... Я иду, а цветы стелются, стелются под ногами...

— А ты их топчешь?

— Молчи! Увидел он меня, кинулся ко мне и встал на одно колено.

Койка под Оксаной скрипнула.

— «Ангел мой... козочка безрогая...» — передразнила она голос Халдара и, не открывая глаз, положила в рот комочек жевательной серы.

— Ну и что ж? Ну и что ж? А мне нравится...

— Встал на колено — и провалился!

— Да... ты представь... Я — за ним. Лечу, падаю... хватаюсь за цветы... не то подо мной земля, не то небо! И тут просыпаюсь. Се-ердце бьется... жутко...

— Самое похожее, что он провалился.

Садбар свесила с койки маленькие крепкие ноги.

— Почему это? Я и так за ним бросилась бы, не моргнула бы.

— А он?

— Тысячу раз!

Оксана открыла наконец глаза:

— А один раз?

Садбар оглядела подруг. Все были заняты своим — стелили постели, утюжили блузки, штопали капрон. Кроме Оксаны-батыр, никто с ней не говорил о Халдаре.

Она соскочила с койки, побежала босиком по кирпичному полу, встала посреди барака, выпячивая острые груди под полотняной рубашкой, закричала со слезами:

— Вот возьму и уйду в мужское общежитие, как Нафиса! Стоит мне ему слово сказать...

— Эй, не хлопай дверью, в которую тебе придется войти, девочка! — сказала ей Оксана-батыр.

Вошла Нафиса, и Садбар стала тихо одеваться.

Нафиса подошла, села с ней рядом на койку, обняла.

— Слушай, неприятность у нас... с тобой... Но я надеюсь, хоть сейчас ты придешь в себя, возьмешься за ум... В общем очень неприятно получилось, понимаешь... Не знаю, как тебе, бешеной, сказать...

Садбар сразу поняла, что случилось. Втайне она боялась за Халдара, когда нашла приписки у Туры. Искала ему оправдание: он думал о женитьбе, стараясь подработать. Готовилась его защитить от нападков... Но у Садбар и в мыслях не было ни наяву, ни во сне, что может слу-





читься так просто. Накануне он скажет ей, что хочет до копеечки вернуть все бухгалтерии и возьмет у нее деньги, чтобы ребенка, который у них родится, принять в чистые руки. А утром придет Нафиса и будет говорить, что неприятность...

— Уйди от меня,— сказала Садбар.— Отойди.

Нафиса встала и отошла.

Садбар повалилась ничком на койку, вцепилась руками в ее железные ребра и осталась так лежать, босая, с красными пятками.

Ей говорили о том, как это случилось и как это подло. Говорили, что иного не ждали и так, может быть, лучше. Определенно лучше! Чем сидеть, смотреть, как он сделает ее несчастной, пусть катится со своими деньгами и клятвами...

Садбар не отвечала. Она не шевелилась.

Ее уговаривали встать, умыться, поесть. Пора было на работу. Она словно замерла.

Попробовали поднять ее, заглянуть ей в глаза. Но даже Оксана не сумела отнять ее руки от прутьев койки, а голову от подушки. Ни слова, ни стопа, ни слезинки...

Ушли на работу. Барак опустел. Наказали уборщице, старой Гажак, стеречь ее. Но в обед она лежала пластом, как утром.

Под вечер прибежала Гажак в котлован, крича басом. Садбар вырвалась, ушла.

Ее увидели на горе Ак-Таш, на обрывистой скале, над входом в штольню Капитальную, из которой хлестала вода, черная в тени дамбы. Она сидела на краю скалы, свесив под обрыв босые ноги. И ноги ее, и руки, и лицо, поднятое к холодному, сумеречному небу, и платье были багрово-красные в свете зари.

Девушки завизжали в котловане, увидев Садбар наверху.

Лукмонче дали ее ватник и сапоги, и он полез с ними к ней, на Ак-Таш. Она обернулась к нему вполоборота и сказала:

— Уйди, а то спрыгну.

Он положил сапоги и ватник на скалу и ушел.

Садбар думала о смерти. Думала просто, так же просто, как сказала, что спрыгнет, и так же просто, как кинул ее Халдар.

Некогда она испытывала сорок страхов перед кланом мужчин. Теперь она не боялась их и не боялась спрыгнуть вниз, в черную воду у дамбы.

Она презирала всех парней на свете — и Сангина, и Джумана, и особенно Лукмончу. Почему он не подошел и не спихнул ее со скалы? Однажды утром и Сангин бросит свою Нафису. Все люди на земле друг друга бросают...

И нет на этой неприветливой земле полевых диких цветов, на которые Садбар похожа. Нет вольных, душистых лугов, в которых можно утонуть, помирая от счастья. Нет друзей, нет любви. Всё — сон, все людям снится, и они падают, проваливаются и просыпаются.

Поздно ночью она вернулась в общежитие, легла в темноте. Лунный свет выбелил ее щеки сквозь оконное стекло. Оксана-батыр смотрела на нее из-под одеяла глазами, полными нежных, сладких слез. Полжизни можно отдать за то, чтобы на тебя так смотрели, как смотрели на Садбар, когда она влезла на Ак-Таш...

На другой день Садбар пошла в контору и потребовала у Давранова расчета.

— Товарищ Суюнова, — сказал Эльчибек намеренно суховато, — у меня не две головы на плечах. Таких людей, как вы, я с работы не увольняю.

— Вот заявление, — вяло сказала Садбар. — Напишите: «по собственному желанию...»

— У вас нет такого желания. Вы обнаружили приписки. Это очень важно. Я хотел объявить вам благодарность. Но это ваша прямая служебная обязанность. Мне разъяснили, что я вас обижу...

— Можно мне сесть?

— Товарищ Суюнова, к сожалению, мне до крайности некогда. Время рабочее, сидеть будем после гудка.

— Вы не имеете права! Вы — как Потчаев! — вдруг вскрикнула она.

Он был рад, что она кричит. Ему рассказывали о том, как она молчала сутки.

— Садбар, — сказал он, поглядывая на ручные часы, — помните, вы не послушались меня на переправе, после обвала? Теперь я вас не послушаюсь. Мы — квиты.

— Я пойду к Рахманкулову!

Он подошел к ней, слегка прихрамывая.

— И вы не хотите остаться там, где искали счастья?

— Очень хочу! — вскрикнула она страстно. — Назло! Чтобы вы... чтобы вы... все...

Эльчибек показал на окно:

— Тогда посмотрите, что с нами всеми делается...

В окно конторы заглядывали Оксана-батыр и Нафиса, а поверх их плеч еще три девчонки.

Садбар сжала кулачки и выбежала вон.

2

Эльчибек сел и, угрюмо хмурясь, полистал новый настольный календарь. На каком листке написать: «График»? Через неделю? Через месяц?

Басова уехала в горы, и Хумахон, кажется, дала ей понять: он и Хума не чужие.

Рахманкулов с утра устроил получасовую сцену: шутка ли... теперь, как видим, побежали рабочие не с далекого Чалдаринского карьера, а из-под носа Давранова, из хваленного пятого, прямо с «вашего этого митинга», и один из двоих дезертиров — комсомолец! Кто же был дальновиднее в деле с паспортами? Сейчас бы тот парень сидел перед лицом начальства и докладывал, где он видел гравийную хлебницу. Чушь, конечно, фантазия мальчишки, не ему же поправлять проектировщиков... Однако!

Рахманкулов говорил, что он не напуган. Он не даст себя обескуражить ни Басовой, ни Ахмеду Хусейну, которого он уж и не знает, считать ли другом. «К вашему сведению, я сам был парторгом на кирпичном... Парторгом! А не секретарем... Улавливаете?» А нынче он уполномочен правительством и отвечает перед ним. И он не потерпит ни самотека, ни партизанщины.

— График, график, график! — долбил Рахманкулов.

А Эльчибек думал: «Судят убийц и воров. Почему не судят тех, кто убивает почин, крадет радость работать?»

— Что вы, собственно, строите — промышленность или оперу? — спросил Рахманкулов язвительно. — И что это за зверь такой, скажите на милость, Вечстрой?

— Это вчерашний день. К нашему стыду, брат Субханкул. Ныне комбинаты начинаются с городских кварталов, и прежде, чем ставить дома, асфальтируют к ним проспекты! И вы будете так строить. Придется, брат Субханкул. Сейчас не первая пятилетка.

— Вы... вы смеете, — про первую пятилетку?

— Смею... и радуюсь тому, что смею. Землекопом Лукмонча был один день в своей жизни!

— Кто? Кто?

— Мой друг Лукмонча.

Рахманкулов погладил затылок, устало отдуваясь:

— А что же, этого Кимсана... нельзя сыскать? Это ж черт его знает... разбой!

Эльчибек с недоверчивой улыбкой посмотрел на начальника управления. Казалось, тот оговорился... Теперь его раздражение было лестно Эльчибеку, и он хотел предложить вместе подъехать в кишлак Кимсана, потолковать со стариками — они, белобородые, много знают. А Эльчибек и Рахманкулов еще ни одного шага не сделали вместе...

Но тут начальник заметил на столе заявление Садбар. Рассеянно просмотрел его и расхохотался. Сел, обмакнул в чернильницу перо и размашисто написал на углу заявления: «Давранову. Доложить свои соображения. Рах».

Эльчибек взял заявление и медленно, как бы в раздумье, порвал его.

Они обменялись спокойными, пристальными взглядами. Оба были взбешены.

Начальник управления сел на свой вездеход и, газанув с места, разбрызгивая колесами гравий дорожки, уехал на железнодорожную станцию. Эльчибек пошел в ремонтные мастерские.

Пошел в том настроении, в котором лучше не браться за дело, если делом дорожишь.

«И что за лукавая, коварная тактика,— думал он,— ничего не запрещать и ничего не одобрять! Все висит на нерве, держится на ниточке... Каждую минуту Рахманкулов может вдруг сказать «нет» и одним ударом развалить то, что ты строишь. И будет на высоте: он знал все наперед! Он ни во что не верил...»

В ремонтных мастерских и на первый взгляд видны перемены. Механический цех сух, в нем копится тепло. Из каменного сарая под толем доносится гремучий станочной говор. Над станками, верстаками и днем зажжены яркие лампы. Все станки на рабочем ходу. Под навесами, где стоят, опустив ковши, экскаваторы, губастые бульдозеры, нет грязи. На грунтовом полу полукруглые следы от жесткой метлы. С наветренной стороны повешены брезенты от крыши до земли.

Адолят на складе. Она здесь и тогда, когда Джуман и Тиркаш спят. Ей велено не показываться больше в черном платье, и она не носит его. Лицо ее открыто. Во всю щеку пламень смуглого, очень густого румянца. Глаза печальны, но печаль в них не прежняя, иная. Который уже день Адолят не может без легкого стога разогнуть спину,— никого не спросясь, не зовя пособить, она передвигала, переставляла свое железное хозяйство на полках и стеллажах и еще будет переставлять, факт! Никто не смеет ничего пальцем тронуть без ее разрешения. Зато на складе, как в ташкентском музее, где к каждой картине можно подойти. Со вчерашнего дня на ребрах стеллажей стали появляться фанерные планочки с номерками и надписями. Дверь на склад побелена, полуотворенная ручка пришта не гвоздями, шурупчиками.

Рабочие, уходя со смены, непременно заглядывают на склад — посмотреть, что там новенького, кивнуть на прощание Адолят.

Она отвечает им, по-девичьи опуская глаза:

— Доброго пути, брат. Не уставайте, брат.

У нее здесь много братьев.

Тиркаш попробовал как-то, зайдя за резцом, задержаться у ее дощатого столика близ побеленной двери. Адолят сказала ему сразу же, напрямик:

— Ваш друг Джуман будет сердиться.

Тиркаш запомнил эти слова.

Эльчибек тоже сперва заглянул на склад. Но он словно не замечал перемен в ремонтных. Он был мрачен.

Его занимала главная площадка под дамбой. Котлован углублялся. Предстояла двухъярусная выемка грунта — сперва на промежуточную ступень, потом наверх. Потребовалось немедля поставить на эту ступень два экскаватора, хотя бы два. Иначе придется расширять ее, превращать в террасу, заводить на нее самосвалы и грузить их вручную. А это значит — все прахом! Это значит — вернуть к лопате тех сорок семь человек, которые переведены «на технику», учиться. Это значит — пойти и поклониться дальновидности Рахманкулова.

Эльчибек нашел Джумана у станка Тиркаша и наскоро пожал Джуману руку, забывая о стоящем рядом Тиркаше.

— Не вернулся? — спросил Эльчибек отрывисто.

Джуман развел руками, а Тиркаш сказал:

— Гуляет, шельмец.— И бросил одесское портовое словечко: — Салака!

Но у инженера словно притупился слух. Он и не взглянул на Тиркаша.

— А что же у вас с Садбар, товарищ секретарь? Это ведь любовь Лукмончи, если не ошибаюсь? Это и его горе. Где же вы были? Что смотрели? Вам, секретарю, о таких вещах надо думать не меньше, чем о комнате для Нафисы!

И хотя Джуман был секретарем один день, он виновато опустил голову. Тиркаш, глухо крикнув, заложил руки за спину.

— Так вот, Сариев, я понимаю, вам — хоть разорвись... Ну и мне — тоже! Даю вам сутки сроку. И подайте мне в котлован два экскаватора в полном ажуре. Хватит митинговать в самом деле...

— Эльчибек Давранович,— сказал Джуман, не удивляясь его тону,— толь Самандаров подвез, а запасных частей по сей день ждем. Делаем их сами — без чертежей, по собственным эскизам. Вот полюбуйтесь...— Он взял со станка Тиркаша эскиз, сделанный химическим карандашом на писчей бумаге.— Дайте нам хотя бы суток...

— Пять! — подсказал Тиркаш.

— Суток трое,— закончил Джуман, помедлив, оглядываясь на Тиркаша.

И кустарный эскизик, и этот вопросительный, умный взгляд стоили похвалы. Тем более они раздражали сейчас Эльчибека.

— Торговаться я не мастер, Сариев,— сказал Эльчибек.— У меня всё.— И пошел из цеха.

Еще не успев остыть, идя мимо беленой двери склада, он хотел вернуться, поправиться. Не смог.

До вечера его мучил стыд. Что бы сказала Басова, увидев, как он при всех рабочих... «Торговаться!» Слышали? И что за дикость эта рахманкуловщина! Зараза...

По крайней мере двое суток можно бы Джуману дать. А чертежника достать в управлении, живого или мертвого...

Инженер вновь пришел в мастерские часов в одиннадцать ночи. Он не сомневался, что застанет там людей. Еще в окно он увидел Джумана и Тиркаша. Они стояли у железной печки и со смехом трясли друг друга за плечи,

грозя повалить печку. Чему же они радуются, крепыши, юные души?

На свежевывытом полу конторы играли блики огня из приоткрытой дверцы печки. Эльчибек остановился на пороге:

— Ноги у меня грязные, черт побери...

— А там скоба снаружи,— весело сказал Тиркаш,— вытирайте, а то Адолят заругает!

Эльчибек нашел у двери скобу и поскоблил об нее подошвы сапог.

Вошел, сел. Нога слабенько, но непрерывно ныла.

— Джуман Сариевич... что я тебе хотел сказать? Извини, брат, не обижайся...

Однако и Джуман и Тиркаш, казалось, не поняли, о чем он говорит.

— Видите ли, ребята, нам ни в коем случае нельзя завтра или послезавтра...— начал Эльчибек и запнулся, глядя на них. А вот что нельзя завтра или послезавтра, они понимали без слов!

И, словно подчеркивая готовность драться за начатое дело, Тиркаш засучил рукава. Эльчибек увидел фиолетовых дев.

— Так вот ты кто! Вот ты где! — воскликнул Эльчибек, вставая.— Клянусь, я хотел видеть. Очень рад тебе.— И протянул ему руку.— Моряк?

— Было дело,— ответил Тиркаш, несколько задетый.

— Рахманкулов говорит— у тебя и сзади нарисовано...— Эльчибек похлопал себя пониже пояса.

— Есть такое. Полный набор.

Все трое рассмеялись.

На печке стоял большой, очищенный от копоти чайник. Он закипал.

— Дайте чайку,— попросил Эльчибек.— Зеленого не припасли?

— Другого не держим.

Джуман заварил свежего, налил в три пиалы. Чай был отличный, хинно-горький. И когда инженер отхлебнул первый глоток, Тиркаш сказал с дружелюбной прямоотой:

— Мы так и думали, что вы будете метать икру... А как же? Пра-авильно. Мы еще вчера вас ждали! Но если бы вы нам не продраили мозги, мы бы, может, и сейчас торговались за лишние сутки.

Эльчибек насупился:

— Ну, уж вы лишнее говорите!

— Нет, точно! Вы послушайте... Если с меня требуют, как с человека, с сердцем и душой, для дела, я всегда готов, как пионер. Рабочий класс этого не боится!

— Значит, дадите экскаваторы? Завтра?

— Не дадим. Их дадим через трое суток, как Джуман сказал.

— Но вы же знаете...

— Знаем! А что, если в котловане на тех, которые там — на дне... удлинить тросы до двадцати метров... и поставить ковши поменьше — на ноль девять десятых куба?.. Глубина забора увеличится... ровно вдвое! И не надо будет второго яруса. Производительность, конечно, уменьшится, не знаем, намного ли. Но ведь два экскаватора экономии! И ярус не копать. Что выгодней?

— Пойдите, пойдите! — перебил Эльчибек, сразу оценивший их идею. — Меньше слов. Не надо меня уговаривать. — Он задумался на минуту, соображая, почему же эта идея не пришла в голову ему или Қазимову. — Вы кто тут, проектировщики, конструкторы?

— Мы рабочие, — воскликнул Тиркаш, толкая в бок Джумана. Идея, стало быть, годна!

Джуман охнул.

Эльчибек встал, торопливо допивая чай.

— Пошли ко мне, мастера. Линейка нужна — логарифмы... справочник... А впрочем, это — без вас. Вам спать. Марш спать! Бриза у нас нет, но премию вам обещаю. Спать, спать...

По пути они зашли на склад и прогнали домой Адолят.

3

У пятого Джумана ждал Джаббар, брат Адолят. Джуман разглядел его морщинистое лицо в свете папиросы.

— Пришел?

— Пришел.

— Что ж не заходишь?

— Курю. Дышу.

— Вещи с тобой?

— Тут. Адол ушла вчера к девушкам, после собрания. Велела и мне...

- Хорошо. Как с работой?
- Плохо. Не берут.
- Почему? С кем ты говорил?
- С заместителем — Самандаровым.
- Ну? И что же?

— Пугает... не рекомендует... «Лучше бы, говорит, вам начать не с такого строительства, как наше. Больно уж мы на виду. Зачем вам? Проситесь, говорит, к примеру, в колхоз. Вот за Сазлыксаем богатый колхоз...»

— Чепуха! Пугает Самандаров.

— Слушай, брат, мне кажется, он не Самандаров. Другая у него фамилия... Ручаться не могу, но, кажется мне, видел я его раньше... не знаю, может, и там...

— На Кольме?

— Нет. Там, у немца... Чую, понимаешь, всем нутром — совсем плохой человек. Мы этаких... скользких... на расстоянии нюхом чуяли...

— Так нельзя, друг. Человек, может, и неважный, но все-таки...

— Не знаю, ручаться не могу. А ты мне не говори... ты молодой, ты этого не испытал... Точно я не помню, а нутром чую. Ты не говори...

— Нервы у тебя разгулялись.

— Нервы у меня из проволоки, брат. Скажи, а зачем он тогда ходит к юридической Гажак? Я сам его видел ночью... И Адолят видела не раз.

— Самандарова? У старухи?

— Что он там потерял? Почему прячется?

— Странно.

— Не веришь? Спроси у Адол.

— А может, он покупает сушеную дыню или... пшлак? Его в магазине не достанешь... Травку берет — для желудка...

Джаббар коротко засмеялся, гася папиросу о каблук сапога.

Они вошли в барак, и Джуман уложил Джаббара на пустующее место Кимсана.

— Как же комендант? — шепнул беспокойно Джаббар.

— Спи.

— Это и есть тот самый пятый?

— Да. Спи спокойно.

Кимсан плелся по безлюдной холмистой степи. Лицо его в синяках, на распоротой поле чапана грязными клоками повисла вата. Узкий лобик вспахан мучительными морщинами. Из-под рыжих от пыли бровей глядит страх.

Вторые сутки он плутал по унылым барханам, обдирая ноги о верблюжью колючку. Губы потрескались до крови, горло саднило от жажды. Он шел и шел с холма на холм, из оврага в овраг, мечтая встретиться с людьми и боясь встречи с ними.

На юге во все небо высились горы. Сколько ни иди — от них не уйдешь. И кажется — вот они, рукой подать. Впереди встал скалистый гордый Ак-Таш. Если взглядеться получше, рассмотришь на его выпуклой груди узенькую черточку Комсомольской дамбы, похожую на орденскую планку...

На севере далеко-далеко, за низким, словно тонущим и тающим в песках, горизонтом, — столица, огромный, загадочный город Ташкент. Кимсану не доводилось видеть его, но со школьных лет он мечтал в нем побывать. Мечтал вместе с Султанпашой, дочкой председателя. Если идти пешком напрямик, за сколько дней дойдешь до Ташкента? Дней за пять, пожалуй.

Кимсан лег грудью на землю, поплакал, роняя слезы на редкие блеклые травинки, захлебываясь, громко скуля по-щенячьи. Потом встал, подтянул штаны и побрел назад, к горам.

К ночи он оказался на виду у Сазлыксяя и едва не попался на глаза знакомым людям, своим односельчанам. Они ехали ему навстречу на трех арбах. Подобно ящерице, он неслышно отполз за скат холма и стал смотреть из-за шершавого, продырявленного ветрами валуна, как грузят на арбы камень. В сумерках, на фоне зеленоватолимонной зимней зари, арбы, лошади, люди казались черными призраками, высокими, как тополя.

Значит, здесь Туячукди — старая каменоломня. Отсюда издавна возили гравий. Эти места Кимсан любил в детстве. Встанешь над каменной расселиной или в тень пещеры и чувствуешь себя джином. Таинственно, страшно. Так страшно, что душа поет от радости...

Сейчас Кимсану опять страшно в Туячукди, но в душе пусто, и чувствует он себя бездомной собакой.

Арбы с камнем укатили. Кимсан прокрался к Сазлыксайю, припал губами к тепловатой, пахнувшей камышом воде.

Из-за драной, клочковатой тучи выглянула ущербная луна и рассекла тонким светящимся мечом реку. Река здесь походила на озеро с черно-зелеными камышовыми берегами. А настоящего берега у Сазлыксайя не найдешь. Грязные, чавкающие под ногой топи; неверные, мягкие, как подушки, кочки; редкие темные окна воды, затянутые болотной ряской, мертвыми цветами, обрамленные изумрудным кружевом пены. И камыш, камыш, камыш, непроходимый, годами гниющий, острый, как бритва. Камышовые дебри полны птицы и мелкого зверья. При случае укрывается здесь и волк.

В редкие полноводные осени поднимает над камышом водяную спину Сазлыксай. Обычно он заболочен, вязок и ленив. Но никто не знает его глубину там, где он кажется озером. Говорят, там ходят полутораметровые щуки и сомы — водяные волки. Говорят, в него лучше не соваться, если за тобой не гонятся.

Кимсан присел на корточки перед низкой волнистой завесой камыша. В лунном свете можно было различить паутину, но Кимсан ничего не видел. А кругом шуршало, плескалось, посвистывало, попискивало, потрескивало. Кимсан озирался, дрожа, с отвисшей челюстью, с вытаращенными глазами. Река словно держала его за полы чапана, он не мог отойти.

Все же он убрался от нее подальше, то идя боком, то пятясь задом, пригнувшись. Тогда со стороны каменоломни внезапно что-то ухнуло и замяукало. Кимсан пустился бежать без оглядки, спотыкаясь и падая, кувыряясь, точно перекасти-поле. За ним летел незримый дьявол с белыми глазами. Скользнул над головой, мягко обмахнув крылом, и канул в темноте.

Кимсан лежал ничком, обхватив голову руками, уткнув нос в песок. Пожалуй, и на кладбище не бывает так жутко.

Он мог бы переночевать под крышей. До кишлака недалеко. Но Кимсан обходил его, отворачивался от жилья, как пес от лука. Заметят кишлачные дворняги и волкодавы, поднимут лай, проснутся, выскочат люди... Что он

скажет Султанпаше и ее отцу? И что они скажут, увидев его? Лучше подохнуть в степи.

Однако холодновато. Кимсан поднялся, запахнул чапан поплотнее. Прошлую ночь он провел у костра. Прошлой ночью он был ханом! Пил и гулял. Пел и плясал у костра... В прошлую ночь он потерял все, что имел. Кимсан сделал шаг вперед и протяжно высморкался. Только стамбульский нищий сейчас беднее и несчастнее его.

Кимсан поднял голову и стал опять смотреть на горы. Вот Ак-Таш. Голова у него не седа, но видна и в ночи. А вот где-то здесь, на холме, было собрание, с которого Кимсан ушел. Как ушел — он не помнил. А что это? Что за огни? Они вдруг выглянули из тумана, как звезды из-под облака. Кимсан взгляделся, соображая, и громко вскрикнул. Э! Там еще не спят... Но это же пятый, конечно, пятый... милый, родной, теплый, веселый, дружный, самый замечательный на стройке... Светятся его окна.

До них, надо думать, километра три напрямик. Всего только три!

2

Снег в горах, случается, выпадает и летом. Подчас он сеется из одинокой тучки при ярком свете солнца, как грибной дождь на севере, и веселит глаз. Тогда он держится часы. После него на скалах остаются влажные, освежающие пятна.

Под Ак-Ташем и зимой снег не залеживается — широты здесь теплые. Но в зимнюю пору это гость недобрый.

На рассвете ударила метель и выла час. Один час. Затем ветер стих, словно его отрезало, небо мгновенно расчистилось. Нежная, ласкающая свежесть разлилась вокруг. Скалы, леса, травы заискрились под солнцем...

И замерла жизнь. Остановилась стройка и полдня стояла, словно замороженная.

Над Сазлыксаем с утра безоблачное небо, кричали, радуясь синеве, птицы, а в ущелье, по которому шла дорога на Чалдары, мертвая тишина, оцепенелость склепа. Невнятно, испуганно шуршала на дне речка, уползая под камни, покрытые снежными малахаями. А дороги как

не бывало! Пропала дорога, и целые сутки ее не могли сыскать, хотя искали сотни людей и была она длиной в шестьдесят три километра...

В эти сутки Эльчибеку показалось, что Рахманкулов смягчился. В эти сутки начальник управления нуждался в инженере Давранове. День и ночь подряд они работали рука об руку, спасая «дорогу жизни». И превосходно понимали друг друга. На следующий день теплый дождь помог отыскать пропажу — он источил, растрепал снежный саван, сорвал и смыл его с дороги. Стер он с нее и гололедь и растопил на ней грязь. Так пришла и прошла односуточная зима, не сказав ни «да», ни «нет», подобно Рахманкулову. И он словно опамятавался и пришел в себя...

Вызвал Давранова и опять повез с собой в сторону Чалдар. Но теперь уже не работать, а извлекать уроки.

Вездеход начальника, скользя, подпрыгивая, раскачиваясь, точно лодка на порогах, проскакивал мимо воющих в глубоких колеях самосвалов. Шея у начальника, разрезанная морщинками, буро краснела под обрезом фуражки, будто он сам на себе вез камень и испытывал напряжение машин. Вместе с ним невольно краснел Эльчибек. Но думали они уже разное, и тянули врозь, и опять не понимали друг друга.

— Суждено нам столкнуться на этой дороге, — пошучивал Рахманкулов. — Миром не разойдемся.

«Путаемся у людей под ногами, — думал Эльчибек. — Ехать надо в кишлак за Сазлыксай, все отложив, отставив...»

— Видите что! Через неделю-другую самосвалы хоть в утиль сдавай. И ведь не исключена возможность несчастных случаев... упаси аллах!

«Я эту твою молитву слышал, когда еще не видел тебя...»

— Однако волков бояться — в лес не ходить! Не истратив копейки, не заработаешь рубля! — уговаривал сам себя Рахманкулов.

А Эльчибек думал:

«Нелепый расчет. Пуд пшеницы обойдется тут дешевле кубометра песка или гравия...»

— Я полагаю, пора, пора усиливать службу охраны дороги. Дороги и транспорта! Ставить посты, посты. На-

рашивать внимание, средства, если уж это дорога жизни! Люди должны нас понять... Кстати, и в резолюции собрания записано: «Не выпускать из поля зрения Чалдары!»

«Вот оно! — заметил себе Эльчибек. — Он думает, что угодил мне: дорога жизни... собрание... А между тем повторяет зады и тянет назад без смысла и без оглядки».

— Но у вас, по-видимому, условный рефлекс возражать мне! — сказал Рахманкулов, хотя Эльчибек не выговорил пока ни слова.

Эта дорога сожрет уйму денег. И не впрок. Она не вернет долга. Но есть нечто подороже денег. Эта дорога съест все замыслы, все начинания. Долгую зиму, до поздней весны, она не даст поднять головы, не даст оглядеться. Вот как она страшна, эта дорога. И Рахманкулов — ее преданный слуга, верный раб!

— Сколько же народу сюда надо? — размышляя вслух Эльчибек. — Где его взять?

— Поставим, сколько требуется. У вас возьму!

— И что я вам дался? — со скрытой яростью проговорил Эльчибек. — Мало ли у вас участков!

— У вас молодежь... — ответил Рахманкулов, поворачивая к нему обветренную скулу и напряженно скошенный глаз.

Вот и толкуй с ним!

Эльчибек представил себе несчастного Лукмончу, снятого с бетона, выселенного из пятого, разлученного и с Садбар и с коллективом, с которым сжился сердцем. Сангин оторван от жены, которая ждет ребенка, Адолят — от брата, которого не видела десять лет, и от дела, в которое влюбилась. Все рассыпаны по дороге, живут хуже, чем «штрафники» в Чалдарах, засыпают камнем грязные лужи, вытаскивают из них самосвалы, сигналият об осыпях, одинокие, заброшенные, как стрелочники.

Какая нерентабельная и безрадостная растрата мечты, энтузиазма, растрата любви! А по какому, собственно, праву, брат Субханкул?

— С моей точки зрения, — сказал Эльчибек, — я хотел сказать — с точки зрения коммуниста... это преступление.

Теперь замолчал и отвернулся Рахманкулов. Он оказал честь инженеру — повез, показал, объяснил. Остальное — в приказе по четвертому стройуправлению.

Они вернулись к Ак-Ташу и разошлись, не глядя друг на друга.

Эльчибек смотрел на Сазлыксай. Просить у начальника вездеход язык не поворачивался. Да и пускаться в объезд некогда. Ехать в кишлак на том берегу часа три, а то и больше. Надо найти лодку.

Эльчибек подтянул голенища сапог и, прихрамывая, пошел в пятый.

3

Самади возил воду на ишаке. Ишачок был маленький, куцый, с большой бархатно-палевой мордой и железными ножками. Встречаясь с Лукмончой, Самади говорил:

— Старик, суть этого зверя не в ушах, в ногах. Как думаешь, знает это Хемингуэй?

Сперва считали, что Самади опасается уходить со стройки. Если будет суд, его съшут, приведут. Потом поняли, что он не хочет уходить.

Он по-прежнему видел себя первым среди многих и не таил весело-злого тщеславия.

— Братья болельщики, зарубите на носу: будет час, когда в музее выставят мой портрет и мою бочку с надписью: «Первый водопровод баракстроя!» В век атома это фундаментально.

— Братья болельщики, не спускайте с меня глаз: я первый исключенный из комсомола на строительстве! Ваш долг — перевоспитывать меня...

С Лукмончой, однако, он избегал встречаться, подолгу говорить. Лукмонча жалел его, обнадеживал. Самади терпеть не мог жалости и стоял выше надежд. Самади гордился своим ишаком.

Зато он не отставал от Потчаева. С ним он со вкусом ввязывался в пространные собеседования.

— Друг мой, не теряй природного вдохновения и философского жара. Смотри в корень вещей и в хвост моего ишака. Чем больше мозолей на твоих ладонях, тем меньше на мозгах. Это лечебный процесс. Я конник, ты пеший, но мы с тобой братья по духу. Не вешай носа, держи его по ветру. Рахманкулов себя пере-недо-оценил, я тебя не покину на распутье! Я весь твой, старина, мы все твои...

Потчаев бегал от него, как петух от бодливого козла.

И никого это не веселило. Ребята заступались за Потчаева, а Сангин однажды показал Самади кулак:

— Учти!

— Учту,— ответил Самади,— но когда, скажи, язык пасовал перед рукоприкладством? Сангин, ты тянешь меня во тьму средних веков. Сангин, я взываю к твоей передовой сознательности.

Сангин плюнул и отошел.

Потчаев работал на складе бетонного завода.

Это громадная площадка; днем и ночью, в любую погоду, здесь гром и пыль. Не умолкает подземный гул насосной установки, тарыхтят самосвалы и вагонетки, грохочет камень, протяжно шипит сыпаемый песок, а в пыли в ночную смену тонет слепящий свет прожекторов.

Потчаев принимал самосвалы с песком близ узкоколейки, которая где струной, где змейкой тянулась в цехи. Сваливать песок надо было вплотную к вагонеткам, загружать их быстрее и не оставлять его в кузовах. За шестьдесят три километра пути песок попадал и под дождь и под снег, густел, тяжелел, прилипал к стенкам и на одну треть застревал в кузове — полезай, выгребай.

Ладони у Потчаева вначале нестерпимо ободрались, затем приятно задубели. Поясница на первых порах одревенела и не гнулась, затем окрепла и словно поплотнела. И весь он стал как бы дюжее, приобрел особый рабочий вес.

Бледные пятна лишаев исчезли с его щек. Он посвежел, стал ходить широким шагом. Не боялся споткнуться, перепрыгнуть лужу, ссадить руку. И уже не раз испытал радость больших нагрузок, удовольствие осилить, вытянуть и сладостную усталость после работы. Спал он без снов, на одном боку, вставал бодрый, ел быстро, не оставляя недоеденного на тарелке, и не катал пальцами шарики из хлебного мякиша. Говоря откровенно, он хорошо себя чувствовал и переставал стесняться себя. Ему нравилось быть выносливым, ясным, здоровым. Ему нравилось уставать. И перешел он жить в пятый, хотя никто его не гнал из отдельной комнаты и хотя в пятом жил Самади...

Теперь его не тянуло выступать непременно на каждом собрании, по любому поводу. И ему не хотелось бы, чтобы ребята смотрели на него так, как прежде смо-

трели; ему пришлось по душе, как с ним держались теперь. Больше ему не говорили, как в первую, тяжелую неделю, что он мало каши ел и слабоват для рабочего класса. И кличку ему придумали новую, неожиданную и неподходящую, но очень лестную — Самосвал!

Со временем он начал примечать, как на него смотрит, как с ним разговаривает трогательным детским голоском одна необыкновенная девушка. Прежде он вряд ли это заметил бы, а заметив, посмеялся бы опасливо... Теперь он заинтересовался. Он не чувствовал себя ни неловким, ни слабосильным. И ему начинало нравиться стоять с ней рядом, ходить с ней рядом, хотя он был ей по плечо, и ловить на себе любопытные взгляды и улыбки. Это ему начинало нравиться. Самади, открыв их взаимную привязанность, стал несколько сдержаннее. Оплеуха Оксаны-батыр могла убить в нем самоуважение.

О том, каким он был, Потчаев вспоминал, тягостно краснея. Он ли это был? Гнал бездомного Бека, отчитывал влюбленную Нафису, заводил дело на Джумана и жаловался Рахманкулову, что его не любят! Вспоминать все это было мукой.

На втором курсе истфака его впервые избрали в комсомольское бюро, а перейдя на четвертый курс, еще не кончив учиться, он стал внештатным инструктором обкома. И быстро привык сидеть в президиумах, входить во все комиссии, выступать на бесчисленных заседаниях. Учился он неважно — некогда было, но и получать посредственные отметки считал неловким для себя и для факультета. Случалось, что он опротестовывал отметки, грозил, что не будет участвовать в заседаниях кафедры... Студенты-однокурсники стали именовать его «Наш Потчаев!» — так быстро и легко он пошел вверх по лестнице заседаний. Выступал он пламенно, резко и со всей прямо-той. В голосе его звучали металл и певучая бархатистость, а в речах появлялись масштабы — общеинститутские, общегородские, общеотраслевые, в манерах — соответственные достоинство и солидность. На большие конференции он входил с мандатом, в театры и зрелищные учреждения — без билета, просиживал один-два акта в директорской ложе и удалялся. Приезжали гости с периферии, он брал их с собой и небрежно кивал контролеру: «Товарищи со мной...» Ездил в командировки, чаще всего инспектировать, ревизовать. И про товарищей из района,

избранных на многолюдных полномочных собраниях, часто известных своим трудом всей республике, говорил любовно: «Мои райкомщики».

Еще он поговаривал так: «Организируйте мне пиалу чая». Или: «Эту группу вопросов я решу в рабочем порядке».

Недоученный, мало знающий, он учил других и знал все за многих. И не шутя сердился и даже покрикивал на тех, кто у него не хотел учиться. А таких становилось все больше. Сперва с ним спорили, потом стали над ним посмеиваться. «Тем хуже для смеющихся», — внушал он себе, но не внушил этого более никому.

Мало зная, он совсем ничего не умел. Не умел уважать людей и отвечать перед ними. Не умел веселиться, мечтать, дружить, наслаждаться красотой. Не умел он и работать — и не хотел этого понять. Не умел стыдиться своего неумения.

В двадцать три года он приблизился к той степени совершенства, какой иные чинуши достигают на склоне лет, как раз перед запоем. Правда, отчаялся он раньше и стал принимать на ночь снотворное, чтобы не снилось, как его снимают с работы, записывают выговор с предупреждением. Часто, засыпая, он казался самому себе старым, большим, разбитым...

Но впервые всерьез он устыдился самого себя, когда перестал быть «товарищем Пожалуйста». И потому-то он бежал от Самади и потому-то не мог ему ответить, хотя накануне, года четыре кряду, был красноречив.

Он присматривался к Джуману, к Лукмонче — их любили.

Он присматривался к Давранову — этого человека боялся Рахманкулов.

Он стал уединяться, уходить в горы, чтобы подумать. Прежде у него недоставало на это времени.

В тот вечер, после суточного аврала на дороге в Чалдары, ребята не вышли на Вечстрой. И устали, признаться. И Вечстрой был под снегом. А как ни говорите, работа на Вечстрое требовала особого настроения. Туда шли с гармонистом, вместо перекура затевали танцы и состязания в национальной борьбе — кураш.

Потчаев переобулся и незаметно, чтобы не увязался следом Самади, выскользнул из пятого. Под Ак-Ташем синеватыми пятнами, языками лежал снег — он растает

завтра утром. А над Сазлыксаем мягко, тепло светило небо. Потчаев пошел к реке.

Шел не торопясь, в грустном и ясном раздумье. Сел на сухой холмик перед пологим спуском в камышовые дебри, сложив под собой крестом ноги. И почти тотчас услышал за своей спиной голос Самади, возбужденный и несколько запыхавшийся:

— Старик... это неблагородно... Ха-ха... вот ты где пропадаешь! Это остроумно...— Он сел рядом.— Слушай, скажи честно: примут меня обратно в комсомол? Ты пойми — в моем исключении есть что-то жутко несправедливое. Если я спекулянт, то кто же ты?

— Э!—сказал Потчаев, глядя на реку.— Кто это там?

Самади посмотрел в ту же сторону и умолк. Потом оба разом вскочили на ноги. Сомнений не было — на том берегу маячил Кимсан в изорванном чапане. Это был он.

Потчаев и Самади кинулись к реке. Но камыш заслонил от них Кимсана. Они вернулись на холмик и заматались по нему, размахивая руками, ватниками и неистово крича:

— Ким-са-ан!

4

Эльчибек пришел в пятый, и на сердце у него полегчало. Здесь он был свой. Здесь его понимали.

Лодки ребята не нашли, но приготовили плотик. Подкинули к реке три бревна, сшили их железными скрепами. Ждали только возвращения Давранова из нижнего ущелья.

На момент заколебались: ехать ли в колхоз на ночь глядя? Удобно ли? Удобно! Ехать. Проверили, при себе ли документы, взяли фонарь и отправились. Проводить инженера и Джумана вышли с песней.

На берегу обнаружилась странная вещь: пропал плотик. В облюбованном укрытом затончике с тенистым, вязким дном не нашли ни плота, ни самодельных весел, ни шестов.

Вернулись расстроенные, обозленные.

А к утру в барак ввалились три батыра — Потчаев, Самади и Кимсан, мокрые, измазанные тиной, кричащие во все горло,

Они привезли с того берега, из Туячукди, три куля с гравием и песком. Кули сделали из собственных рубах. Плотик пригнали в тот же тихий затончик, из которого его увели.

На радостях Лукмонча облобызал Кимсана, но сказал ему:

— Стучись, брат, в дверь, даже если она отворена.

Как все и ожидали, Халдар обобрал Кимсана. Кимсан дрался за свои кровные трудовые капиталы, как лев, мигом протрезвев, но был бит. На его глазах Халдар выпорол их из полы чапана. Прежде они хранились под подкладкой телогрейки — к ней Халдар и не прикоснулся... Хорошо, что чапан отдал.

— Куда же ты с ним собирался? — спросила Нафиса.

— Куда собирается баран, которого ведут за рога! — сказал Кимсан. — Разве я помню, когда ушел, куда шел? В жизни водку в рот не брал. А тут два стакана...

— Ну-ка, сядь и скажи, — скомандовал Джуман, осматривая камень, ощупывая песок, — что это за каменоломня?

— Как что? Из нее брали гравий и песок, когда меня еще на свете не было.

— Зачем брали?

— Как зачем? Три колхоза три гидростанции построили. Стоят, как каменные...

— И много там еще осталось?

— Где? Чего? Этого добра? На твой век хватит!

Пришел Эльчибек, разбуженный Лукмончой, и с удовольствием погрузил руки в песок и в гравий, высыпанные на стол, на новую клеенку, точно лакомое угощение. Нет, друзья, не надо бранить Лукмончу — он знал, что делал. Ждать до утра не следовало, нужно было будить начальника участка. Видите, как рад начальник! «Видите, как я рад, мальчики, товарищи мои!» Вот час, о котором мечтал инженер Давранов на партийно-комсомольском собрании.

Мечтал, но, признаться, не рассчитывал, что дождется так быстро...

Утром весь груз из-за Сазлыкся отнесли в лабораторию на пробу. Лаборантка выдала бумажку, удостоверяющую полную пригодность инертных материалов из Туячукди для промышленного строительства.

Эту бумажку Хумахон положила на стол перед Рахманкуловым. Тот пробежал ее взглядом и лег на стол грудью, внимательно вчитываясь в каждую строку и цифру. Стул под ним заскрипел.

— Что это? Где это? — спросил Рахманкулов, задыхаясь точно от приступа сердцебиения.

— Туячукди, — торжественно выговорила Хумахон. — Примерно в трех километрах от Комсомольского участка.

— Быть не может! В трех? Я сейчас слягу, право... Где же Давранов? Он это видел?

— Он это сделал, — нежно вымолвила Хумахон. — Он дома.

— Что такое? Болен? Вызовите врача...

— Он здоров, товарищ начальник. Просто у творческих людей бывают моменты, когда им нужно остаться наедине со своими мыслями! А лучшего врача, чем влюбленная женщина, бог еще не создал...

— Что-что-что? Вы, кажется, опять забываетесь, дорогая моя. Может, и вас он загипнотизировал?

— Субханкул Рахманкулович, я не смею поднять на него глаз...

Начальник управления ошеломленно хмыкнул и отвалился на стуле.

...Близ Вечстроя шофер Тура остановил Джумана и вручил ему записку:

«Брат, Тура мне все сказал. Скажи Адолят: пусть пришлет Джаббара ко мне. Я его тут устрою, будет доволен.

Бек».

Джуман тихо, радостно засмеялся и положил записку в свой комсомольский билет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Приехала Ульяна Басова. Эльчибек ей шумно обрадовался, как обычно. А она словно бы удивилась его приветливости. Она и прежде была сдержанна, теперь же смотрела на него холодно.

— У вас что-нибудь не ладится? — спросил он, удерживая ее за локоть в коридоре общежития.

Она высвободила локоть:

— Простите, не поняла?

Он спросил одним словом:

— Вода?

— Да... мы как-то говорили про подводные течения. Вода проникает, оказывается, не только в рудные тела и в речи ораторов, но и в сердца людей и разжижает в них кровь.

— У вас неудача?

— Нечто вроде. Ошибиться в человеке, пожалуй, еще обидней, чем ошибиться в деле.

— Пожалуй... Кто он? Если не секрет...

— У вас нет права задавать мне такие вопросы.

— И по дружбе нельзя?

— По дружбе? Я не помню, чтобы мы дружили.

Эльчибек отступил на полшага, вглядываясь в ее строгие искристо-серые глаза, напоминавшие цветом свежий разлом кварца. Казалось, они посветлели от гнева или, может быть, от грусти.

— Черт возьми,— пробормотал он,— какая вы сегодня... Не вовремя я к вам... Действительно, иной раз мы и сами не замечаем, как небрежны и нечутки друг к другу...

— Да? — спросила она с тонкой улыбкой, которой он не придал значения.— А у вас как будто бы час душевного подъема? Вы на коне?

Эльчибек со смехом воздел руки:

— Вот вам мое чистосердечное признание: сильный получился секретарь из Джумана! Спасибо!

Но ее, видимо, не порадовало и это.

— Говорят, вы открыли Гуячукди?

— Приходите завтра на планерку — узнаете, что я открыл...

— Поднимаете руку на генеральный проект?

Ему казалось неловким сейчас, когда у нее неприятности, говорить о своих успехах. А кроме того, на ходу, в коридоре...

— Приходите — узнаете,— повторил он.

— А сейчас нельзя? И по дружбе нельзя?

— Вы не в настроении.

— У вас нет ни малейших колебаний?

— Нет... если учесть, что вы меня поддержите!

— А вы не забыли, что, помимо инертных материалов, есть инертные люди, вооруженные инертными бумагами?

— Ульяна Георгиевна, — сказал он, вновь беря ее под локоть, — зайдем ко мне на минуту. Чай будет...

Она высвободила локоть:

— Простите, что?

— Чай...

— О, чай у вас отменный! Как-нибудь при случае... Благодарю вас! — Она поклонилась и пошла в свою комнату.

Он не настаивал. Он был занят собой. Нога у него не болела, и он долго не ложился спать, долго ходил по комнате, размышляя, вспоминая, как наводил и строил в войну мосты, как по ним шли танки, пушки, машины со снарядами и солдатские кухни и как однажды большой генерал спросил, чей это мост, а Давранова поблизости не было, и тот большой генерал приказал саперному подполковнику: «Представить!» Через месяц Эльчибеку вручили орден Красного Знамени.

— Представить... — шептал себе Эльчибек, подходил к столу и отхлебывал из стакана чай, принесенный Хумахон. Вкусный чай, крепкий, душистый, как херес.

2

Давно не было таклюдно на субботнем рапорте-планерке. В конференц-зале, просторной комнате рядом с кабинетом начальника управления, сидели на скамьях и подоконниках, стояли вдоль стен. Окна открыли, курить бросили. Начальники участков, прорабы, инженеры, техники негромко переговаривались, поглядывая на Давранова. Собрались все старшие, все головы стройки. Из Чалдар прискочил на попутке пожилой усталый человек с короткой седоватой бородой, в брезентовом, стоящем колом плаще и сел у двери. Пришел Джуман. Пришла Басова.

Когда пришла Басова и ей передали через головы сидевших стул, Рахманкулов сказал: «Так...» — и безо всяких вступлений кивнул Эльчибеку:

— Давайте ваши соображения.

Эльчибек поднялся, бледнея. Он волновался, как на экзамене в институте.

— Прежде всего позвольте порадовать сердце руководства,— сказал он.— Комсомольский участок пока не в графике, но на ближайших подступах. По основным показателям выходим на второе место по управлению. Впереди — ремонтные и узкоколейка.

— Это нам известно,— нетерпеливо проговорил Рахманкулов.

— Затем к сведению всех присутствующих: вчера я лично видел на строительстве *архитектора*, настоящего, живого, в золотых окулярах, с тростью и со свитой... К сожалению, он прибыл без галош и, говорят, испортил свои туфли с узкими носами!

Прорабы заулыбались, задвигались на скамьях. Рахманкулов постучал карандашом по столу.

— Настроение у рабочих улучшилось. Могу сказать без натяжки: молодежь довольна.

— Ближе к делу, товарищ Давранов, ближе к делу!

— Мне кажется, ничего не может быть ближе...

— Товарищ Давранов, вы на отчете, а не на теоретической конференции. Прошу к порядку.

Эльчибек улыбнулся, совершенно успокоившись.

— Субханкул Рахманкулович, если у вас нет охоты меня выслушать, я могу сесть. Соберется партийный комитет — он меня выслушает.

— Здесь два члена партийного комитета,— сказал Рахманкулов, бросая карандаш на стол.— Докладывайте!

— Что ж докладывать? Я по лицам вижу — товарищи понимают, с чем я пришел. Время отсечь барский шестидесятикилометровый шлейф в Чалдары и протянуть крепкую рабочую руку в Гуячукди.

Рахманкулов хлопнул ладонью по столу:

— Да туда же три часа езды на легковой! Вам известно, что каменоломня по ту сторону Сазлыксайа? Что вы такое городите?

— Собираюсь городить... мост.

Рахманкулов посмотрел на него как на помешанного. В конференц-зале никто не пошевелился. Все инженеры ждали, что услышат это слово, и все были поражены. Мост... Просто, сильно — и невозможно! Сколько он мо-

жет стоять? Сотни тысяч? Их нет в смете. Его нет в плане. А план — закон. План — государственное решение.

И все-таки каждый инженер чувствовал: не сегодня, так завтра мост, и не наплавной, не шаткая плоская времянка, а настоящий, горбатый, железобетонный, непременно прыгнет через Сазлыксай именно в этом месте, в том, где показал Давранов! Это неизбежно. Не Рахманкулов, так иной хозяйственник будет его строить. Его построят время и инженерная логика, его построят юный город, который станет над ним белостенной горой с густо-зелеными пятнами тополевых парков.

Большое счастье для инженера — найти такую неизбежность в строении, в деле. Большая удача для хозяйственника — иметь такого инженера правой рукой. Но еще большая забота... С ним беспокойно.хлопот не оберешься. С ним ежеминутно держись начеку!

— Послушайте, Эльчибек Давранович,— проговорил Рахманкулов, шумно отдуваясь,— да вы смеетесь над нами, честное мое слово! Ваше донкихотство выходит положительно из всех берегов. Вчера вы желали строить проспекты и дворцы, нынче — мосты... а там, глядишь, предложите гениальный проект стадиона! За кого вы нас принимаете, дорогой мой? За слушателей курсов повышения квалификации?

Эльчибек исподволь взглянул на Басову. И так, разнос уже начался. Только бы не ввязаться в перебранку! Неужто для этого Рахманкулов вытаскивал его на субботний рапорт? Может, он попросту боится оставаться с Эльчибеком и его идеей с глазу на глаз? В ком же он ищет единомышленников — в таких, как сам Давранов? На что рассчитывает — на косность, лень или на ревность, зависть?

Басова перелистывала большой блокнот. Казалось, она не слухала ни Эльчибека, ни Рахманкулова.

— Я исхожу из того,— сказал Эльчибек тоном дружеской беседы,— что зимой больших бетонных работ не будет. Они свернуты.

— А я,— перебил Рахманкулов, все более нагнетая голос,— из цифры двести тридцать! Двести тридцать тысяч кубов бетона я должен уложить с весны до осени. Вот разворот! Представляете, какой мне к этому времени нужен запас инертных материалов здесь, на месте, на складе бетонного завода?

— Не нужно запаса! — сказал Эльчибек. — В марте — апреле у вас будет мост.

— Так. А в феврале? Погонят меня в шею с работы и из партии! Это тоже предусматривает ваш проект? Или это ваши исходные данные? Простите наивный вопрос...

— Позвольте и мне наивный вопрос, — проговорил Эльчибек, непрерывно следя за собой, за положением рук, за выражением лица: — а за что же тогда вы критикуете инженера Казимова?

Он видел, как больно ударил Рахманкулова этот вопрос. Начальник управления замялся на минуту, переключивая карандаш на столе, скрипя стулом. Вдруг нутжно закашлялся.

— Казимов... горло перервет за государственную копейку! А вы, как Насреддин Афанди, заказываете золотой сундук, чтобы сберечь от воров старый халат...

Инженеры, прорабы в конференц-зале переглядывались: обычно Рахманкулов говаривал, что Казимов за копейкой рубля не видит.

— Но помилуйте, — воскликнул Эльчибек, — ваш проект зимней эксплуатации Чалдаринской дороги... это тысячи и тысячи, большие тысячи на воздух!

— А это не про-ект, — с яростной внятностью выговорил Рахманкулов, — это мой при-каз! К вашему неукоснительному исполнению, поскольку вы тут не министр... Садитесь.

— А что приказ? Хоть десять раз приказ! — неожиданно с сердцем сказал человек, приехавший из Чалдар, и встал, шурша брезентовым плащом. — Дорога-то фактически бездействует все равно. И никакой министр ее не расчислит до весны!

— А вы помалкивайте! — оборвал его Рахманкулов. — С вами мы еще поговорим... Сядьте!

— Да что ж, товарищ начальник? Я насиделся в Чалдарах досыта. Разве это дорога? Божье наказание! Погреб для сохранения снега! К нам и кухня не каждый день просакивает...

— Сядьте, я вам говорю! — закричал Рахманкулов.

Человек из Чалдар сел. Эльчибек стоял, с трудом сдерживаясь.

— Ну, что вам еще угодно? — спросил Рахманкулов, поворачиваясь к нему багровой досиня щекой. — Кажется, я ясно сказал...

— Я буду протестовать против такого тона и стиля, товарищ Рахманкулов.

— Э-э! Не в первый и не в последний раз. Мы, знаете, ни в лицах, ни в медресе штанов не просиживали.— Рахманкулов оглядел невидящим взглядом конференц-зал. Он был вне себя.— Я солдат партии! Сплю три часа в сутки, ем всухомятку, живу как рядовой. И, по крайней мере, мне никто не ткнет в глаза и не бросит упрека, что я вью себе здесь тепленькое гнездышко с участием прекрасного пола!

Хумахон, сидевшая сбоку стола, склонив голову над бумагами, нежно покраснела и прижала маленький цветной платочек к губам.

Конференц-зал был полон мужчин. Все смотрели на нее.

— Что, что вы сказали? — проговорил невнятно Эльчибек, шагнув к столу.

Кто-то схватил его за рукав, дернул за полу пиджака. Он не мог сдвинуться с места — его держали.

— Сядь, сядь... — шептали ему в спину.

Он неловко сел, морщась от боли в ноге. В лице ни кровинки, в ушах звон. Хотел посмотреть на Басову, но не повернулась голова. Басова молчала.

— Да... ну... так... — сказал Рахманкулов, тряся головой, точно ему щекотали шею.— Сожалею, сожалею... — И неясно было, о чем он сожалеет.

Никто не ожидал такого скандального оборота. Его подоплека была очевидна. Однако далековато у них зашло. Когда начальник управления не в ладах с начальником ведущего участка, всем худо. Только подхалим или карьерист тешит шакалью душонку. Планерка катилась словно под уклон.

Рахманкулов стал поднимать начальников участков, одного за другим, и те говорили кратко, больше о своем. Чалдар касались вскользь, слова «мост» не упоминали. Конечно, здраво и без пыла рассуждая, заманчиво перепрыгнуть Сазлыксай. Кто же откажется от клада? Но близок локоть, да не укусишь. И в этой уклончивости сквозило общее раздражение: стадо бедствует без кормов, а двух козлов — только растаскивать! От их бодливости делу урон.

Выступил молодой инженер-плановик и запальчиво, наставительно заявил, что такие узловые вопросы не

здесь решать. На то трест и министерство. И он бы лично не стал ломать копыя и трепать людям нервы. Молодой инженер говорил, глядя на Рахманкулова и тыча пальцем в Давранова.

— Позвольте мне пару слов,— негромко попросила Басова.

Рахманкулов слегка привстал на стуле со зловещей вежливостью:

— Милости просим...

— Я начну с извинения,— сказала Басова, встав и закрыв блокнот. Взгляд ее был холоден, равнодушен.— Мне не нравится, как вы закончили разговор о мосте, товарищи начальники,— она коротко кивнула в сторону Рахманкулова и Давранова.

— Ульяна Георгиевна,— мягко напомнил Рахманкулов,— ваши полномочия члена парткома касаются комсомольского участка, насколько я мог понять.

— Мои полномочия члена партии шире, Субханкул Рахманкулович,— ответила Ульяна.— Мне не нравится,— повторила она отчетливо,— ни тон этакого хозяина заведения, ни тон более изящный, из которого, однако, следует, что до меня трава не росла, вода не текла.

Ни словом, ни жестом ни один человек в конференц-зале не выказал своего отношения к сказанному, но Рахманкулов увидел, что ему лучше не перебивать Басову. Эльчибек удивленно повернулся к ней вместе со стулом.

— Я не согласна также, что мост через Сазлыксай — дело треста или министерства. Такие идеи сплошь да рядом рождаются внизу, вынашиваются нами, простыми смертными, и проводятся в жизнь, вопреки мнению подчас бо-ольших авторитетов. Это норма нашей работы. Теперь по существу...

Эльчибек вздрогнул, поджимая ноющую ногу под стул. Он почувствовал, что Басова его не поддержит.

— Так, так,— сказал Рахманкулов, чувствуя то же самое.

Басова подняла руку с блокнотом:

— Я мало смыслю в мостах, но в воде понимаю...

— Еще бы! — заметил инженер-плановик.

— К вашему сведению, Эльчибек Давранович: Сазлыксай начинается высоко, с тающих снегов, и там он овечка. Здесь иное. Суньтесь — увязнете. Болота Сазлык-

сая — это многослойные эвтрофные болота. Они питаются не только проточными, но и мощными подпочвенными водами, — их подают в реку под огромным давлением наши возлюбленные друзья Ак-Таш и другие гиганты. Ни на берегах, ни в донном грунте вы не найдете близко точки опоры. Ее будете искать в глубине, большой глубине, под водами Ак-Таша. Вибропогружателей нового типа для забивки свай пока что мало, нам их не получить. Они все идут на большие и великие плотины — на Волгу, в Братск.

— И это правильно! — воскликнул Рахманкулов.

— Так что же? Может, вы имеете в виду кессонный метод, Эльчибек Давранович? Как иначе вы углубитесь на двадцать метров под воду? В кессоне будет давление по меньшей мере в три атмосферы. Нужны кессонщики-мостовики, специалисты. Вам приходилось строить такие мосты?

— Нет, — ответил Эльчибек.

— И не надо! — насмешливо утешил Рахманкулов. — А на что разнорабочие? Давранов поставит в кессон Лукмончу или этого... Кимсана!

— И что же? И станем, не испугаемся! — вскрикнул, не выдержав, Джуман. — Сперва нас спросите.

Рахманкулов постучал по столу костяшками пальцев.

— В данном случае ваш энтузиазм меня пугает, товарищ Сариев, — сказала Басова.

— Странно! — резко отозвался Джуман. — Вы вроде не из пугливых. А мы тоже не дети, соображаем, что такое кессон и три атмосферы.

Рахманкулов высокомерно усмехнулся и вытянул в сторону Джумана руки ладонями вверх, словно говоря Басовой: «Пожалуйста, полюбуйтесь!..»

Она смотрела на Джумана как бы с сожалением.

— Повторяю — я не мостовик. Но зашла вчера в плановый отдел, к нашим экономистам, что не мешало бы сделать и вам, Эльчибек Давранович. (Молодой плановик значительно посмотрел на Эльчибека.) Вчера, так сказать, в кулуарах назывались разные цифры. Но при ближайшем рассмотрении по самому скромному расчету вышла цифра — в три миллиона рублей! Вот сколько будет стоить мост!

Конференц-зал разом зашумел, точно улей. Рахманкулов откинулся на стуле, воздевая руки к небу:

— Три миллиона! А? Это тебе не «большие тысячи»? Три... и одна скамья подсудимых... С ума можно сойти!

Эльчибек встал, белый, как молодой снег за окном. Его идея была провалена мастерски.

— Спасибо, Ульяна Георгиевна,— сказал он.— Спасибо, брат Субханкул.

И, проталкиваясь между столпившимися позади скамей служащими управления, пошел к двери.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Ульяна шла на рапорт полная ясной решимости. Ушла растерянная и расслабленная.

Рахманкулов, прижимая руку к сердцу, с церемонным почтением проводил ее до выхода из управления и постоял на заснеженной дорожке, пока гостя не пройдет благополучно несколько шагов. Это свехвосточное обхождение напоказ, после того, что случилось, казалось оскорбительным. Но всего тягостнее было вспоминать горячее замечание Джумана. Как она не нашлась тогда же ему сказать: «А вот эту поправку принимаю!»

Кривить душой Ульяна не хотела. Но что же она наделала? В гору семеро ташат, а с горы и один спихнет...

И потом та фраза, всех возмутившая: «тепленькое гнездышко с участием прекрасного пола, и якобы стыдливый румянец любительницы готовить чай, и гнев любителя его пить. Значит, Хума не лгала, они не чужие?»

Не заходя в общежитие, Ульяна пошла в горы, туда, где слышались глухие частые удары бурильного долота.

Вечерело. Ульяна быстро шла вверх по извилистой каменистой тропе, минуя снежные заступы, залинные ветром. Ушла далеко. Впереди, под скалой, показалась площадка и узкая лента дороги. На дороге стоял гусеничный трактор с прицепом, на прицепе возвышался передвижной буровой агрегат.

Ульяна подошла ближе. На площадке валялись искрошенные долота, из труб сочилась промывочная жидкость, янтарно светились лужи бурой грязи. Под трактором,

между гусеницами, лежал на спине человек в комбинезоне, согнув одну ногу в колене и дергая другой. Оттуда доносились удары гаечным ключом по железу.

— Что у вас? Заело? — спросила Ульяна знакомого механика, стоявшего у радиатора.

Тот, не отвечая, показал предупреждающим, строгим взглядом под трактор.

Человек под трактором перестал стучать и сказал голосом Ахмеда Хусейна:

— А, привет, привет! Сейчас заканчиваю.

Минут через пять он вылез оттуда, отдал ключ механику и стал вытирать ветошью лицо и руки. Затем снял с себя комбинезон, бросил его в кабину трактора.

— Трогай! Все в порядке.

Рабочие уселись на прицеп. Трактор медленно поволок его по разбитой дороге.

Ахмед Хусейн отступил с Ульяной на площадку и, словно бы застенчиво улыбаясь, смотрел вслед громоздкому поезду. Над левой бровью у Хусейна выпуклая бородавка, из нее росли мягкие волоски. Из-под простого ватника торчал смятый лацкан пиджака с погнутой длинной орденской планкой.

Ульяна поправила на нем лацкан и планку, застегнула ватник на единственную уцелевшую пуговицу, выговаривая не то с упреком, не то с одобрением:

— А вам так и не терпится, товарищ партторг? Руки чешутся... И находится у вас время лезть не в свое дело?

— Соскучился... верите? Как рыболов по реке, — сказал он. — Не могу спокойно смотреть на застопоренный двигатель.

— Вы мне нужны, Ахмед.

— И вы мне нужны, Ульяна.

— Что-нибудь?..

— Нет, ничего. Вы мне всегда нужны.

— У меня плохо, Ахмед. Вернее — со мной что-то не так...

— Очень хорошо, — сказал он, и она поняла, что он хотел сказать: «Хорошо, что я здесь».

Они пошли по дороге, по следам тракторных гусениц.

Еще до того, как портреты Ульяны появились в газетах, Хусейн рекомендовал ее в партию, и она почитала его, как старшего, как почитают крестного отца. Но с тех пор, как он внезапно сделал ей предложение, а она ска-

зала, что подумает, между ними установились особые отношения равенства и родства. Она думала над ответом второй год, он ждал, не торопя и не напоминая. Время не приближало ответ, скорее отдаляло, а они становились дороже друг другу.

Они скучали, если разлучались надолго, называли друг друга по имени, иногда на «ты», сами того не замечая. Она подчас говорила, что любит его, правда, всегда при товарищах; он принимал это спокойно, как должное. Им случалось заночевать в пути в кузове грузовика под одним брезентом или в общежитии на койках рядом. Но и наедине она не опасалась его, а он не тяготился ею.

Бывает, что друзья ласкают друг друга — и словом и объятием. Этого не было меж Ульяной и Ахмедом, но их дружба была нежнее обычной. Он оставался холостяком, она — не замужем, у него росла маленькая дочь Саадат, и девочка именовала Ульяну тетей Лулей.

— Ахмед, отзови меня с комсомольского участка, прошу тебя... — она с силой сжала руки.

— Что, грубит Субханкул? — спросил он.

— Нет... не спрашивай.

— Но ты хочешь, чтобы я спросил! — возразил он как бы смущенно и в раздумье ссутулился. — Субханкул стареет, Уля. И все быстрее. С каждым месяцем стареет на год. С пятьдесят третьего года он постарел на целую жизнь. К тому же несчастлив человек на редкость. Второй раз женат, и, пожалуй, хуже, чем в первый.

— Нет, — повторила Ульяна, — не в нем дело. Давранову я совершенно не нужна. Вообще давно прошло время комиссаров. Каждый хозяйственник и инженер, если он коммунист, сам себе комиссар и партработник. Сейчас много беспартийного не отличишь от члена партии — и по труду и по общественной активности. И там превосходный секретарь бюро, талант!

— Постой, постой, что это значит?

— Отзови меня с участка.

— Но у меня как раз сейчас такое чувство, что ты там очень нужна.

Она низко опустила голову:

— Вот послушай, как я там нужна...

И в двух словах рассказала Хусейну, что произошло на рапорте-планерке в управлении.

— Теперь ты понимаешь, что в той обстановке, которую создал Рахманкулов, мое слово было ударом в спину?

— Ого! — воскликнул Хусейн, искоса глядя на завитки золотистых волос на ее виске. — Резкая позиция — удар в спину?

— Нет, понимаешь, объективно... то есть субъективно.

— Товарищ член парткома, я вас не узнаю. Правда милости не ищет, правда жалости не просит!

— Ахмед, — сказала она тихо, — помоги мне. Я боюсь, будет хуже. Тебе же не все равно...

В ту минуту она туманно соображала, что и как говорит. А он не столько понял, сколько почувствовал по ее голосу, по склоненной голове и по тому, что не видел ее глаз, которых она прежде от него не прятала, с болью почувствовал, что он должен понять.

Почувствовал и рассердился на эту давно ожидаемую и нестерпимую боль и на то, что он должен ее таить, ибо таков долг дружбы, и на то, что теряет, теряет все права дружбы с этой милой, родной женщиной, и Саадат теряет тетю Лулю.

— Ахмед, ты не должен... ты не имеешь права... Я, ей-богу, не буду тебя уважать...

— Не надо божиться, — сказал он, грустно и словно стесненно улыбаясь. — И не надо бежать от этого. От собственного сердца не сбежишь.

Они помолчали. Солнце зашло. Быстро темнело. Дорога таяла в густых сумерках. На обочине над обрывом выпятилась снежная кромка. А за кромкой — чернота, стена ночи.

Ахмед взял Ульяну под руку — впервые за многие годы. Они молча шли, пока не засветились вдали окна управления и яркая лампа у входа.

— Ну вот, — сказал Хусейн, — послушай теперь, что я «должен» и на что «имею право». Вопрос о мосте остается открытым. Рахманкулов его не закроет. Нужно найти три миллиона, найти у себя в кармане, у республики не просить. Эта идея из тех идей, которые сами себя окупают. И за счет многих менее рентабельных затрат — на те же Чалдары — и в счет будущего экономического эффекта.

— Но три миллиона... гора денег!

Хусейн молчал. Он не любил повторяться.

— Так ты говоришь, у комсомольцев толковый секретарь? — спросил он затем.

— И это уже слишком! — сказала она, думая о своем. — Нужен какой-то укорот твоему дружку...

— Укоротим, — сказал Хусейн.

Джуман Сариев в это время снаряжал Кимсана в дорогу. Весь пятый и девушки-соседки хлопотали вокруг Кимсана, поворачивая его и так и этак, точно большую куклу. Заштуковали прорехи на чапане невидимыми швами, пришили недостающие на штанах в самом ответственном месте пуговицы, сменили портянки, обрядили в чистую, выутюженную рубаху, наваксили сапоги. Взяли у Самади галстук поскромнее, научили, как с этой премудростью обращаться. Отрепетировали с ним все слова, все жесты, все его поведение — в пути и на месте.

Под конец Кимсан вдруг схватился за живот, сел на нары. От волнения у него открылись рези в животе. Но Джуман был непреклонен.

— Поедешь сейчас, — сказал он. — Завтра воскресенье. На, выпей водички.

— А может, молочка? — нежным голоском осведомилась Оксана-батыр.

Джуман поправил на голове Кимсана новую кепку:

— Ну, все понял? Запомнишь? Не спутаешь? Сумеешь?

— Не сумеет — так пусть не возвращается, — сказала Нафиса.

— Дайте хоть стопочку одну! — взмолился Кимсан. — Сдохну со страха...

Сангин бросился в свою комнату бегом.

— Не надо! Иди, — сказал Джуман.

Кимсан поднялся и пошел.

2

Долгой, тоскливой была та ночь.

Пришла Хумахон, принесла бутылку коньяку и лимон, нарезанный ломтиками, густо посыпанный сахаром.

— Кто понимает в вине, пьет так, — сказала она. — Коньяк это виноград, а виноград просит лимона, ли-

мон — сахара. Тебе сейчас нужно, обязательно нужно... Тебе нельзя оставаться наедине со своими мыслями. Ты меня ждал?

Он стал хмелеть со второй рюмки, и ему было приятно опьянение.

— Я знаю, ты звезд с неба не хватаешь, но ты мне друг,— сказал он.

— А ты говорил: я сама звезда.

«Это другой тебе говорил...» — подумал он, разглядывая рюмку.

Она заплакала, стала искать в сумочке платок.

— Думаешь, легко женщине слышать такие намеки? Взбеленился, что не видел жену семь недель...

— Он глупый человек. Мне его жалко. Чем задумал заткнуть мне рот!

— А она, а она? Я тебе говорила, что она скорпион! Ты не хотел слушать. Теперь видишь...

— Посмотрим,— выговорил он сквозь зубы.— Я дойду до министра, напишу в Москву. Завтра же утром встану и...— И он принялся перечислять, положив ладонь на стол и загибая пальцы, как можно жаловаться, хлопотать, добиваться. Он их проучит!

Но в душе он знал, что ни до кого не будет доходить и не будет писать в Москву. Он никогда не вставал на этот путь — в одиночку, без товарищей. Он привык решать дела и добиваться толку внизу, вместе с людьми, с которыми сживался, срабатывался. В них он черпал волю и вкус к делу.

Хумахон наклонилась, вытерла глаза о его ладонь.

— Теперь ты видишь, как она зла, как она мстит тебе за то, что ты меня любишь?

— Хума,— проговорил он мягко,— не надо мерять на свой аршин.

— Милый, ты ужасно наивен... Вот это в тебе ценно. Наверное, все большие люди такие. Ты совершенно не приспособлен к жизни. Доверчив, как дитя. Я тебя буду очень любить. Ты хочешь, чтобы я тебя любила?

— Все-таки это нечестно,— сказал он, думая о Рахманкулове.— Он солдат. А я кто, простите, барин? Что я здесь нажил? Десять пальцев на руках! И она тоже, по правде сказать, хороша... «Трава не росла, вода не текла». Что, мне больше всех надо? В конце концов, легче всего жить, как Казимов.

Она прижалась щекой к его плечу:

— Глупенький ты мой... умненький ты мой... Разве можно было так, в открытую, не подготовив грунта, не заручившись, подставлять свою голову? Кто так делает, милый?

Он с удивленной улыбкой посмотрел ей в лицо. Агатые ее глаза были чисты, на лбу светлыми волосками легли две морщинки.

— Не подготовив грунта? — переспросил он, прищурясь.— Поучи меня, Хума, в самом деле, поучи, я хочу, чтобы ты меня учила...

Она притянула его голову к себе и стала шептать на ухо свои поучения. А он нащупал рукой и включил маленький настольный репродуктор.

Местное радио передавало сводку погоды с горной метеостанции. Над Кураминскими отрогами Тянь-Шаня снегопад, метели. В районе Сазлыкская возможен гололед, на Чалдаринской дороге — заносы...

Знакомый звук донесся из-за стены. Эльчибек выключил радио, прислушиваясь. Глухо шаркнула отсыревшая, набухшая рама окна. Ульяна пришла. Она в любую погоду распахивает у себя на ночь окна.

Хумахон отпустила его голову, огляделась, стараясь понять, к чему он прислушивается. А он вдруг сказал спокойно и ласково:

— Запомни, Хума: против нее я никогда не пойду, никогда.

Хмель обволакивал его виски, сухо мерцал в глазах, подобно миражу над песками. Сердце его качалось в теплой люльке. Он поднял свою рюмку, рассмотрел ее и выпил один. Снова наполнил ее до краев. Хумахон настойчиво совала ему в рот ломтик лимона с сахаром. Он отворачивался.

Потом он взял ее руки и стал говорить странные слова. Он говорил, что не сердится на нее. Он говорил, что благодарен и благословляет тот день, когда с ней встретился...

Она смотрела на него злыми глазами, бессильно отдавая руки.

— Слушай, с кем ты говоришь? Со мной? Или с той... змеей? Ты совершенно не умеешь пить. Я сейчас уйду.

— Иди, Хума, иди, дорогая. Я тебя провожу... обя-

зательно! Я так согрелся, не болит нога. Коньяк чудесный...

— Я больше не приду! Ты слышишь? Молить будешь, грозить — не дожدهшься.

— Хума, Хума,— твердил он и сухими, твердыми губами целовал ей руки,— я тебе скажу... тебе могу сказать... Я тебе покажу одну фотографию.

— Что ты делаешь? Что ты говоришь? Какую фотографию?

Он встал, выдвинул из-под кровати чемодан, приподнял крышку и на ощупь сразу же нашел и вынул из него фотокарточку величиной со спичечный коробок. На обороте ее следы клея и плотной зеленоватой бумаги. Карточка, видимо, вырвана из альбома. Она слегка пожелтела от времени, но на ней можно различить юное девичье лицо, гибкую, нежную шейку подростка...

— Позволь тебе представить: это Джинаста,— сказал Эльчибек.— Сейчас у нее уже сын и дочь. Отец выдал ее замуж за моего друга, когда я был под Берлином и нам оставалось до встречи, может быть, две-три недели. Я думал, что застрелюсь,— я еще не сдал тогда личного оружия. Я думал, что поеду и пристрелю этого подлеца, с которым учился в одной школе. Он знал, что она не любит его. Он знал, кого она любит!

— Боже мой...— беззвучно прошептала Хумахон и со стоном облегчения приникла к Эльчибеку.— Я знала, что ты мальчишка, безусый студент. Поди расскажи это Сариеву. Он тебе расскажет про свою Гюльрез.

— Кто? Джуман? — пробормотал Эльчибек, беря карточку из ее рук.

Она тянулась к его губам:

— Да, да... вы поймете друг друга... Доставь себе такое удовольствие.

Она со смехом чмокнула его в уголок рта и потащила к столу.

— Давай еще выпьем. Когда ты пьешь, ты просто прелесть... нищий студент, цыганский барон... Садись. Вот так, вот так, положи карточку перед собой и смотри на нее. Представь, что я Джуман, и рассказывай.

Эльчибек поднес рюмку к губам, отхлебнул из нее половину и подумал без боли, со сладостной знакомой пе-

чалю: «Джинаста... Ты же помнишь, что писала мне в последний раз?»

Допил из рюмки, огляделся, нашел в тумане глаза Хумахон, очень красивые, красивее, чем у Джинасты, и сказал:

— Лучше я съезжу туда, к ней... Черт с ним, с неудобством! Отца уж в живых нет давно... Сын у нее и дочь. Посмотрю. Спрошу, целы ли письма... Сколько лет прошло! Сейчас это можно...

Глаза Хумахон прикрылись длинными ресницами и исчезли.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Найти у себя в кармане три миллиона... Такая мысль могла прийти в голову только Ахмеду Хусейну.

Инженеры четвертого стройуправления гадали, как идея моста дойдет до треста и как она скажется на отношениях между Рахманкуловым и Даврановым.

Но рабочих и на дорогах, и на площадках, и в штольне Капитальной, машинистов, и бетонщиков, и горняков занимало другое. Еще в субботу на всех участках прознали, что тот новенький, который прихрамывает, тот самый, который командует комсомольцами, придумал строить мост через Сазлыксай. А в воскресенье о мосте говорили уже как о чем-то решенном, само собой разумеющемся. Какие понадобятся траты? Окупятся ли они? Это не заботило, не тревожило. Нужное всегда окупается.

Ульяна искала уединения. Сегодня ей не хотелось бы встретиться с Эльчибеком. Она видела в окно, как он пошел в сторону Сазлыксай. Притворила окна, накинула свою летчицкую куртку и пошла к Ак-Ташу. Но пока она шла мимо женского общежития, из которого доносился тоненький, слышный за километр визг Оксаны-батыр, мимо магазина, на крыльце которого сидели, курили, дожидаясь продавщицу, мимо кирпичей и бревен Вечстроя, припорошенных снегом, у которых картинно стоял на одной ноге, словно аист, гармонист и лениво растягивал меха, играя вступление к танцу собственного сочинения, пока Ульяна миновала котлован, несколько человек знакомых и незнакомых остановили ее. Басову окликали,

здоровались с ней и... спрашивали про мост. Что она знает? Что может сказать? И почему народ до сих пор не в курсе? Народ волнуется, обижается. Непорядок.

Не это ли предвидел Ахмед Хусейн, когда говорил, что вопрос остается открытым?

Неприятное чувство на момент прокралось в душу Ульяны. Мутное чувство. Сейчас другая женщина радуется за Эльчибека Давранова, и он слушает ее льстивые похвалы и поверяет ей честолюбивые замыслы. Они радуются и тревожатся вместе. Ему дороги ее тревоги. Он утешает ее, ласкает, чтобы она не слишком терзала себя. И, может быть, бранит некую прикрепленную, «приданную войскам» Басову. Бранит зло, насмешливо, несправедливо, чтобы той, близкой и желанной, было приятнее...

Ульяна вышла на Комсомольскую дамбу и здесь, глядя на иззелена-черный поток, вытекавший из горловины штольни, вспомнила, что говорила Эльчибеку о художнике Брюллове и о том скромном горнячке, который оживил ее метод единственным недостающим «мазком». На самом деле горнячок не касался ее метода, шел рядом, своим путем. И оказался скромник старым бригадиром проходчиков Бабамуратом — его знали в лицо и подземники и наземники. Поэтому Ульяна не думала о нем с тех пор, как начались заносы и авралы на дорогах и площадках. Теперь она вспомнила о Бабамурате, и ее вновь охватило знакомое ясное чувство делового нетерпения.

Она разыскала Бабамурата. Это было нетрудно — воскресенья он просиживал за шахматами.

— Отец... потревожу я вас в выходной? — спросила она.

Старый горняк, не боявшийся ни бога, ни черта, усмехнулся в усы.

— Доченька Ульяна Георгиевна, я кланяюсь Магомету. Ты мою пятницу побереги, — и с сожалением поглядел на незаконченную партию.

— Пойдемте посмотрим?

— Давно ты ее не видела? Меня уж тошнит от нее! — Он имел в виду подземную воду. — Хотя не было б ее, не было б и тебя... а?

— Сегодня я так скажу: не было б ее, не было б *моста*, — заметила Ульяна.

И тотчас Бабамурат насторожился, точно боевой конь при звуке трубы. Он умел слышать, что сказано и что могло быть сказано. В штольне его ожидала шахматная партия поинтереснее.

— Э,— сказал старый горняк,— я, Бабамурат, я, Баба-крот, согласен дорыться до того места, где шайтан распорол брюхо Ак-Ташу... если там лежат три миллиона!

«Они там, они в Копилке»,— хотела сказать Ульяна. Копилкой называли Ак-Таш. Но, подумав, сказала:

— Они в вашей голове, отец Баба-крот.

— Многого ты от меня хочешь,— проговорил горняк осторожно.

Они надели шахтерки, резиновые сапоги, каски, взяли по карбидной лампе. Новая шахтерка была жестка и пахла, как древесная кора. При дневном свете желтый язычок лампы казался жалким.

Сразу же у входа в Капитальную Ульяна погрузилась по колено в подземный поток. Вода сжала ноги ледяными тисками. Она гулко катилась по штольне и теперь казалась чугунной и цветом и гулом. В слабом луче карбидки Ульяна различила вагонетку с пустой породой. Вагонетка накренилась набок и словно лакала отвисшей железной губой жирно блестящую воду. На другом боку вагонетки было нацарапано известковым камнем: «Саадат люблю!!»

Тяжелая капля упала Ульяне за шиворот и холодной стрелой пронизала спину. Стены были скользки и липки. Сапоги терли краями голенищ ноги выше колен. Ульяна отставала от Бабамурата, а он шел не оборачиваясь.

Ухо привыкло к однотонному шороху воды, и казалось, что в штольне тишина. Звенела чистая капель, барабаны по каске. Каждый иной звук оглушал, подобно взрыву. Летучая мышь вдруг возникла перед лицом Ульяны, у самых ее глаз развернулась, мелькнув длинными крыльями, как маленьким створчатым занавесом, и, не коснувшись, беззвучно улетела вбок, словно проколов стену.

И сегодня и в будние дни здесь нелюдно. Вода остановила жизнь в Капитальной подобно тому, как снег остановил жизнь на Трансчалдаринской самосвальной магистрали.

Ульяна приподняла угловатую каску, чтобы утереть лоб. Ноги ее обнимал вековечный холод горных глубей, а голова в поту...

— Эй, эй, не снимай! Опасно! — трижды крикнула из темноты штольня.

«Как он видит?» — поразилась Ульяна.

Шли долго напрямик. Вода шумела глуше. Ульяна опустила руку и... коснулась ее концами пальцев. Уровень ее поднимался! Ульяна поежилась, отдернув руку. Она представила себе, как внезапно с грохотом хлынет вода и, кипя, заполнит штольню до потолочного свода.

— Скоро ли, отец? — спросила Ульяна. Ноги ее застыли и плохо гнулись.

— Шагай, шагай! — ответил он сбоку. — Мы дошли, и ты дойдешь...

Она повернула голову на голос и увидела лампу Бабамурата далеко в боковом проходе. Ульяна нащупывала ногой, нет ли ступени на повороте. Бабамурат протянул к ней из своего далека руку длиной метров в десять, взял большой горячей ладонью ее холодную кисть и повел за собой.

Поток мелел, а проход становился теснее. Ульяна ударила плечом о выступ стены, ушиблась, но не позволила себе даже замычать от боли. Вместо нее Бабамурат шепотом выругался, и в уши Ульяны пополз шепоток из стен и потолка.

Потом он с силой сжал ее локоть:

— Стой! Свети! — и поднял лампу.

Ульяна подняла над головой свою и увидела прямо перед собой громадный провал карстового грота, грозный и черный зев с рваными краями, уходивший вверх, в сторону и вглубь, в черноту, неведомо куда. Из грота медленно, бесшумно вытекала чугунная вода.

Ульяна подняла ногу и пнула сапогом острую каменную закраину. Она мягко обломилась и с плеском свалилась в воду, точно клюнув ее. Бабамурат за рукав оттащил Ульяну шага на два назад.

— И много тут карстующейся породы? — спросила она.

— Тут — на каждом шагу, куда ни сунься. Как нарочно, к твоему приезду.

— Большие полости?

— Видела! Еще показать?

— Покажите.

Они вернулись в штольню. И Бабамурат повел Ульяну в новые боковые проходы, показывая один грот за другим. Она шла за ним, забыв про усталость. Изо всех каменных пастей изливалась вода.

Карстовые пустоты — злейший враг горняка. Они, точно подземные овраги, преграждают путь проходчику. К весне в них будет шестеро-всемеро больше воды.

— Проходку, откатку, конечно, продолжаем, — говорил Бабамурат. — Рапортуем каждый месяц, а что толку? Нам и нормы снизили, глупцам на радость.

— Снизили?

— Наполовину. А можно бы их увеличить вдвое, а то и втрое. Прикинь, насколько была бы проходка быстрее, насколько дешевле!

— Что же Рахманкулов?

— Будто воды в рот набрал.

— Где ваш проект?

— Где ему быть? У него в столе, в ящике, в синей папке. Велел написать. Я написал. А он его — в папку, в стол. С осени бережет, глаз с него не спускает. Хранит, как письмо любимой. Говорят, даже показывает почетным гостям, чтобы знали, какие у нас водятся в горах инициаторы, Баба-кроты. Почерком моим любит.

— Сюда бы его притащить, купить разок в гроте, — с холодной яростью выговорила Ульяна.

— За шиворот, что ли, тащить? Лепешкой заманивать?

— Вы член партии, отец Бабамурат, не забывайте, — сказала Ульяна.

— А ты, доченька, член парткома, — сказал Бабамурат. И добавил мягко: — Замерзла?

— Нет, ничего.

— Что значит ничего? Сердце от таких дел мерзнет! Конечно, мы понимаем — не до нас. Вон что творится на Чалдаринской дороге...

— Не нужно вам этого понимать! — резко проговорила Ульяна. — Слишком подчас мы понятливы!

И подумала: «Видим безруких хозяйственников и жалею их... как инвалидов войны! Терпим их одряхление, прощаем капризы, будто дали зарок... А они пускают на ветер пыл молодых, суют в синие папки мудрость старых».

Ульяна повесила лампу на грудь. Пошли назад.

И когда вышли из Капитальной и прикрыли ладонями глаза, ослепленные солнечным светом, Ульяна вздохнула, словно скинув с плеч груз сомнений и колебаний. Она увидела в штольне то, что ей должно было видеть — и сегодня и завтра.

Бабамурат предлагал смелое решение: проходку оставить, бросить все силы на дренаж и осушение чрева Ак-Таша по методу Басовой. Отдать под ее руку проходчиков, горняков целиком хоть на два-три месяца, не теряя головы от нервной горячки, от того, что рапорты в трест пойдут иные, необычные. Затем навалиться на проходку также всей силой — в обезвоженном Ак-Таше. И не откатывать пустую породу из штольни, не везти за километры прочь, не ссыпать в громоздкие конуса-терриконы, загромождая ими строительные площади, площади будущего города. Открыть глаза и увидеть, что перед твоими глазами в Копилке! Пустую породу, не сходя с места, ссыпать в осушенные карстовые пустоты,— благо, они вместительные. Забить зловредный карст клиньями терриконов. Подземные терриконы... В них была изюмина проекта старого горняка.

Баба-крот — самоучка. А мыслил он как даровитый инженер.

Выгода к весне могла быть такая, как если бы убить одним выстрелом двух зайцев. Начальник четвертого стройуправления прославился бы на этом деле...

Штольня Капитальная, нынешняя притча во языцех, вдруг, словно по мановению жезла, встала бы в строй. И Копилка начала бы выдавать на-гора не воду — руду.

— Ну, и как? — сказал Бабамурат, закуривая. — Что там, в твоей-то голове? Насмотрела?

— Все в порядке, — сказала Ульяна.

Руки мастера задрожали. Он не верил.

— Здрóрово, отец, здóрово! — добавила Ульяна. — Второй раз за сутки завидую человеку.

— Ну, если так ты говоришь... — тихо промолвил Бабамурат и в радостной растерянности протянул ей папиросы. — Теперь скажи, если это не секрет... а на мост хватит?

Ульяна от души рассмеялась. Взяла папиросу, задорно сжала ее зубами.

— Ах вы, Баба-крот! Милый вы человек! Поймите: на этой горе будет надпись золотыми буквами: «Строил Бабамурат». Понимаете?

Бабамурат огорченно покрутил седеющей головой, скомкал папиросу.

— Стало быть, нельзя сказать... да-а... Понимаю.

— Простите меня, отец,— сказала Ульяна, растроганная.— Я просто очень-очень рада. На мост, может, и не хватит. Он должен быть готов тоже к весне, как и ваша Капитальная.

— А много не хватит?

— Много.

2

Кимсан поступил по-своему, не так, как ему наказывали.

Первым делом, где на попутке, где пешком, он добрался до районного центра и отыскал сельмаг.

Вышел он из магазина в новеньком костюме, со свертком. Чапан оставил на сохранение продавцу. Деньги на костюм достал из-под земли...

Он представлял себе приятную картину: дом полон гостей, одни приходят, другие уходят — и все затем, чтобы увидеть его, увидеть и другим рассказать! Соседские девушки, похорошевшие за время его отсутствия, будут молчком, исподтишка любоваться им, а пожилые дивиться вслух: «Неужто это наш Кимсан? Да ну? Тот самый, который... был таким замухрышкой? Ка-ак возмужал! А костюмчик, костюмчик на нем — первый сорт! Оно конечно, оно понятно... Краны на стройке высотой в два тополя, а он ими управляет. Куда он повернет, туда и они. И хоть бы на полшага вбок без его воли — этого нет! У него строго».

Кимсан хотел было дать телеграмму на имя секретаря комсомольской организации: встречайте, мол, еду; со строительным приветом... Секретарь в кишлаке — Султанпаша. Ей было бы неудобно и лестно. Кимсан-то ведь «ее». Однако деньги вышли. И лучше он скажет, что послал телеграмму еще с Ак-Таша, и будет сердиться на телеграф, что ее не доставили. И другие будут сердиться: такая важная телеграмма... что смотрит министерство связи!

Ничего, пусть встреча с Султанпашой будет неожиданной. Пусть девушка вскрикнет, кинется к нему и застесняется. Пусть все заметят, что она оробела.

Вообще-то Султанпаша не робкая, как Нафиса, и властная, как ее отец, суровый, несговорчивый председатель. В прежние времена обычно робел и стеснялся Кимсан. А Султанпаша не спускала ему ни одного необдуманного слова или поступка, выговаривала и наедине и при ребятах, в точности как ее отец-председатель. Но ныне — иное дело. Ныне он строитель, человек самостоятельный.

Кроме того, между нами говоря, один необдуманный поступок Султанпаша все же простила. Он поцеловал ее на прощание, а она сказала, что будет его ждать. Теперь он поцелует ее при встрече, а она скажет, что скучала по нему. Сердце Кимсана раздувалось от гордости — он заставил скучать более чем полгода такую девушку! Не только ее отец, родная тетка Кимсана считала, что они не пара, Кимсан и Султанпаша. Посмотрим теперь, кто кому пара...

Султанпаша, тоненькая, гибкая и крепкая, как камыш, закаленная вольными ветрами гор, разрумяненная щедрыми лучами солнца, — его законная невеста. Правда, Халдар разорил злополучного жениха. Зато теперь у него друзья получше и понадежнее. Завидные друзья. И наперед он не будет так дрожать над своей копеечкой, будет думать о большом государственном рубле, как отец Султанпаши, и она будет его уважать и крепко любить.

Кимсан увезет ее на строительство. Им дадут комнату в высоком трехэтажном доме — из окна будет виден Сазлыксай. Сперва поселят Нафису и Сангина, потом Кимсана и Султанпашу, потому что у них тоже будет сын, прежде, чем у других... И к ним придет в гости инженер Давранов. Джуман, Лукмонча, Нафиса будут подходить и говорить: «Поздравляем вас, Султанпаша».

Кимсану повезло — ни снега, ни дождя. Дороги подсохли. Он сидел в кузове грузовика, груженного досками, прижимая к груди сверток и зубря наизусть заветные слова, которые скажет Султанпаше при встрече. В свертке два шелковых головных платка: один — ей, другой — тетке. Платок он отдаст, войдя к Султанпаше в дом, а вечером, наедине, тихонько положит ей в карман маленький флакон духов.

— И что ты там шепчешь? Нервный, что ли? — спросил бойкий, вертлявый парнишка, сидевший рядом на досках.

Кимсан повернулся к нему. Парень увидел, что написано у Кимсана на лбу, и с почтительным любопытством пододвинулся поближе.

— У нас в колхозе тоже есть один... Камильджан! Когда он в отпуск приехал с великой стройки коммунизма, с Волги, у нас в клубе было общее собрание. Музыка была...

— Я не с Волги, — скромно заметил Кимсан, но вообразил себе богатый колхозный клуб в родном кишлаке, музыку и гул людских голосов, мысленно посадил себя в президиум, по правую руку от грозного председателя и похолодел от страха.

На повороте дороги Кимсан сошел с машины и пошел полями. Вот и знакомая тополевая роща, по-зимнему обнаженная, без листочка, но черная от вороньих гнезд, полная картавого гама. За ней показалась старая мельница на берегу арыка. Дальше у дороги встретишь одинокий искривленный ствол древней джиды — от нее виден дом правления колхоза.

Отряхивая полы пиджака, на которых не было ни пылинки, поправляя на шее галстук Самади, душивший, как аркан, Кимсан вступил на кишлачную улицу. Сейчас выскочат ребятишки, окружают его, поведут с радостным влзгом...

Улица была пустынна. Кимсан миновал правление, пересек гузар — площадь, на которой обычно собирался небольшой базарчик, но хоть бы одна живая душа встретила его! Никто его не увидел в новом костюме, никто ему не поклонился. Надо думать, люди в поле...

Из ворот молочной фермы торопливо вышли две девушки, одна невысокого росточка, в белом халате. Он сразу узнал ту, что была в белом халате. Но что с ней? Как она осунулась, побледнела! Под глазами тени, будто после болезни или долгих слез. Жалко, что она увидит его при другой, при посторонней. Он бы тут же обнял и расцеловал ее глаза, чтобы мигом иссякла в них печаль...

Султанпаша легко подняла на плечо большой белый бидон и остановилась на полушаге. «Увидела!» — сказал себе Кимсан и спрятал за спину руку со свертком. Сейчас вскрикнет, кинется навстречу...

Девушка с бидоном внимательно посмотрела в его сторону и пошла в ворота, что-то повелительно сказав своей спутнице. Та тоже взяла бидон и ушла за Султанпашой.

«Не узнала...» — подумал Кимсан с тайным облегчением, ибо решительная встреча отдалилась, и даже с некоторым самодовольством: видать, и он здорово изменился и собой и костюмом!

Но тут из ворот фермы стали выходить женщины в халатах и без халатов. Утирая руки, негромко переговариваясь, женщины с интересом смотрели на Кимсана и уходили назад.

Кимсан окаменел. Потом бросился прочь по боковой улочке.

Тетка встретила его на пороге дома, обняла, расплакалась, повела его на терраску, выходящую в сад, усадила под гирляндами красного стручкового перца и принялась подробно, обстоятельно расспрашивать о здоровье. Говорила она без умолку и смотрела на племянника, словно не веря своим глазам, и в глазах ее были тревога, сомнение и скрытая боль.

— Ах, боже мой... да ты ли это, Кимсан? Ты ли, сыночек? Откуда же ты, милый, взялся? Каким тебя ветром принесло? И что же теперь будет, что с тобой будет?.. Ах, боже мой!

Сверток вывалился из рук Кимсана, так он его и не развернул.

— Не пойму, тетушка, что тут с вами со всеми случилось?

— Ах, родненький ты мой, что может с нами случиться? Ты скажи, что с тобой? Думаешь, мы не знаем, не ведаем? Нет, сынок, бог на небе не видит, а люди на земле все видят, все знают. Ты уж от меня-то не прячься, мы не чужие. Облегчи душу, сынок, откройся хоть мне во всем... Я ведь знаю, ты на денежки жадноват с малолетства, пропади они пропадом, не видеть бы их ни мне, ни тебе с сего часа до гробовой доски!

— Тетушка! — взмолился ошарашенный Кимсан.— Что вы такое говорите, да будьте вы живы до ста пятидесяти лет!

— Как же мне не говорить? Люди говорят! Они не молчат... Разве мне легко этакое про тебя слушать? А ей, думаешь, легко, приятно? Вон что с ней стало, с бедняж-

кой! Не видел еще? Тает девушка, как свечка. Просила отставить ее от секретарства комсомолом, раз она за тебя ручалась. Серьезно просила! Отец ей покоя не дает, смеется над ней... Все по твоей милости. Матери у нее нет — кто ее, сироту, защитит? А председатель, сам знаешь, крут, ни себе самому, ни родному, ни чужому не спустит...

Кимсан вдруг ударил себя кулаком в грудь, вскочил и яростно пнул ногой сверток с подарками.

— Ах старый, костлявый, крикливый, усатый жираф! — проговорил парень так, что тетка испуганно села, маша на него руками. — Вот я ему покажу сироту! Он у меня посмеется! Семьдесят семь раз прощения будет просить!.. Говорите сейчас же: в чем дело?

Тетка до того испугалась, что сказала Кимсану — получено письмо, от которого все пошло.

Кимсан решительно обдернул полы нового пиджака и пошел на молочную ферму. В воротах он столкнулся со знакомой пожилой дояркой, извинился, что толкнул ее, поздоровался с ней чин чинном и весьма строго спросил:

— Где она?

— В ламбулатории, проверяет на жирность...— ответила женщина, пораженная не менее тетки, и объяснила, что вход туда со стороны силосной башни.

Кимсан вошел в лабораторию и при другой девушке твердым и даже слегка небрежным голосом потребовал:

— Покажите немедленно письмо.

Оно было, конечно, при ней. Султанпаша, не говоря ни слова, протянула ему письмо. Он прочитал:

«Султанпаша ваш дружок комсомолец Кимсан подлец убежал со стройки в дороге меня обокрал дочиста. Когда его увидите передайте привет от доверчивого человека Халдара.

К сему Халдар.

А еще салям вашему многоуважаемому отцу председателю колхоза пусть смотрит получше ва дочкой».

— У-ух...— проговорил Кимсан, закрыв на миг глаза и отчетливо представив себе, как ловит Халдара и убивает его на месте.

Уже по тому, как Кимсан переступил порог лаборато-

рии, Султанпаша поняла, что пришел не тот Кимсан, который обокрал Халдара, а тот, которого она ждала. Но она не могла ожидать того, что последовало далее.

— Я знала, я чувствовала, что это неправда... Кимсан! — сказала девушка, вырвав у него из рук письмо, скомкав его и бросив под ноги, торопясь сделать то, что должна была сделать раньше.

— Нет, это правда! — перебил ее Кимсан с горячей обидой за себя, за стройку и за дело, с которым он сюда приехал.— И настолько я на этом, понимаете ли, разбогател, что могу... могу заплатить вашему отцу за вас... такой калым, такой калым, какого еще ни один хан не платил за девушку! Понимаете? Не понимаете? Пойдемте к вашему отцу... ведите меня!

Она растерянно оглянулась на подругу.

— Ты с ума сошел, Кимсан! К отцу? Сейчас? Ты с ума сошел! Какой калым?

Он взял ее за руку и потащил к двери.

— Нет, это вы тут все закисло, как вчерашнее молоко! Пойдем, пойдем, сейчас пойдем... с великим калымом!

3

В понедельник в полдень в контору начальника комсомольского участка вошел высокий, очень худошавый человек с длинной шеей, отдаленно напоминавшей шею жирафа. У него были необыкновенно пышные усы, достойные польского вельможного пана. Одет в привычный халат из полосатого бекасама поверх черного кителя и черных галифе, заправленных в добротные яловые сапоги. На голове круглая шапка, отороченная густым мехом, который пышностью соперничал с усами.

Войдя, он повесил шапку на гвоздь у двери и надел на стриженую голову новенькую, словно бы только что из-под пресса, чистенькую, несмятую тюбетейку.

— Я, полагаю, нахожусь у товарища Давранова? — проговорил он неуместно громко, возбужденно, почти крикливо.— Очень хорошо! Скажите, вы знаете этого человека, этого вот джигита? — и он показал на Кимсана, остановившегося в дверях.

— Да, это наш рабочий, с нашего участка...— ответил Эльчибек, несколько оглушенный.

— Ага! Ваш... с вашего участка? Этого, стало быть, вы не отрицаете? Очень приятно! Я Уктамтаев, председатель колхоза-миллионера «Иттифак». Слыхали, надеюсь? По ту сторону Сазлыксай...

Эльчибек быстро припомнил, что невеста Кимсана дочь председателя колхоза, и смекнул, зачем пожаловал почтенный гость и почему он так криклив. Быть Эльчибеку сегодня сватом, или он плохой инженер! Эльчибек чинно усадил председателя, не забыл и про парня.

— Проходите, Кимсан. Садитесь, дорогой. Прошу.— И крепко, ободряюще пожал ему руку.

Кимсан из уважения к старшим остался стоять.

— Это толковый джигит,— сказал Эльчибек.— Честно работает. Кстати, помог нам недавно в исключительно серьезном вопросе. Был, правда, один момент, когда...

Председатель перебил его:

— Так, так! Толковый, говорите? Помог!.. Посмотрим, разберемся. Позвольте по порядку. Не возражаете?

— Слушаю вас.

— Товарищ инженер Давранов! — проговорил Уктамтаев словно бы угрожающе.— Вам известно, что гравий и особенно песок в Туячукди самого высшего сорта? Запасы огромные... в трех километрах от вас!

— Да, конечно...

— Ага! Этого вы, значит, не отрицаете? Но тогда какие же еще у вас могут быть сомнения? Вот чего, убейте меня, я никак не пойму!

Эльчибек потер пальцем переносицу, недоумевая, что за чудака Кимсан привел и что, собственно, этому усатому крикуну от них нужно.

— Простите, уважаемый, и я не понимаю...

— Как вы можете не понимать, товарищ инженер Давранов! Странно слышать! Позвольте тогда официально спросить: как на сегодняшний день стоит вопрос о мосте через Сазлыксай?

Краем глаза Эльчибек посмотрел на Кимсана. Парень улыбался до ушей. Эльчибек почувствовал, что сватовство предстоит особенное.

— Видите ли, товарищ председатель,— начал Эльчибек осторожно,— этот вопрос у нас, так сказать, в стадии рассмотрения. Не скрою — есть известные затруднения, колебания...

— Понятно, понятно! — вновь перебил Уктамтаев.— Такие дела не решаются на голодный желудок. Затруднения... еще бы! Мост! А вот уж, знаете ли, колебания... этого я от вас не слышал! Хочу внести ясность с самого начала: правление колхоза «Иттифак» будет возражать, будет настаивать категорически, в любой инстанции, вплоть до правительства республики, вплоть до ЦК нашей партии! Наш колхоз — миллионер, и с нами тоже следует считаться и не скидывать со счетов. Мы тут не посторонние. Будущему городу мы, как говорится, главная продуктовая база. Мы вас кормим и кормить будем — и овощами, и хлебом, и мясом. Уверен, что наше хозяйство будет крепко расширяться день ото дня, час от часу. И я еще увижу будущих горожан, ваших рабочих, у себя на полях, на уборке, при богатом урожае... а?

— Возможно,— сказал Эльчибек, соображая, какое влияние могут оказать на Рахманкулова виды на урожай в колхозе «Иттифак».

— Что значит возможно?! — придирчиво воскликнул Уктамтаев.— Факт! Скажу больше: мост мне вот как нужен,— он резнул себя ладонью по длинной шее.— Хозяйство у нас многоотраслевое. Есть и хлопок, отличный хлопок. А хлопкоочистительный завод от меня в ста шестидесяти километрах! Комбинат химических удобрений еще дальше. Езжу, вожу по горным дорогам, по грунту. Представляете, во сколько мне обходится ремонт дорог, ремонт машин?

Эльчибек молча кивнул, сдерживая внезапную дрожь волнения: речь зашла о деньгах...

Уктамтаев широким, хозяйским жестом распахнул на себе халат.

— Спрашивается: что мне даст мост через Сазлыксай? Отвечу. Короткие дороги. Удобные дороги. Ваши дороги! Понимаете? Гудронированные — это раз, втрое короче — это два, не требующие ни копейки затрат — это три! Сотни тысяч экономии для колхоза. Сотни тысяч, товарищ инженер Давранов! Прошу понять.

— И что из этого следует? — со сдержанной улыбкой спросил инженер Давранов, втайне смущенный и разочарованный таким откровенным расчетом.

Уктамтаев лукаво прищурил глаз, заметив его улыбку:

— А то, что каждый мост, как известно, имеет два конца! Так или не так?

— По-видимому, так.

— А если так, прошу ознакомиться вот с этой бумагой.

Бумага была протоколом заседания правления колхоза «Иттифак». «Слушали: о мосте через Сазлыксай. Постановили: выделить из неделимого фонда колхоза на строительство вышеуказанного моста полтора миллиона рублей» (в скобках цифрами: 1500 тысяч). Постановление единогласное.

Эльчибек медленно поднялся, держа в обеих руках бумагу. Казалось, он ее не понимал.

— Товарищ председатель... товарищ Уктамтаев... простите, ваше имя?

— Исхакджан.

— Брат Исхакджан! Вы... вы... полтора миллиона?

— Брат Эльчибек, давай ближе к делу. По рукам?

Эльчибек повернулся к Кимсану. Тот в нетерпении приплясывал на месте. Теперь парень улыбался не только лицом, но и разведенными в стороны руками, распахнутым на груди пиджаком, из-под которого торчал, улыбаясь модными горизонтальными полосками, галстук Самади.

— Эльчибек Давранович! — проговорил он, захлебываясь. — Позвольте, я сбегаю за Джуманом... Не могу! Душа разрывается на части...

— Пустите, пустите джигита, куда он просит. Это орел! Ба-ашковитый парень! Я ему не то что дочь, колхоз доверю!

Тогда Эльчибек все понял.

4

Ахмед Хусейн сидел с глазу на глаз с Рахманкуловым в его пустой, заброшенной, одинокой квартире. В этих неудобных стенах начальник управления ночевал раз в неделю, а то и реже — обычно оставался на койке в кабинете.

Пили чай классический, цейлонский, зеленый. Его привез Хусейн и сам заварил.

— Выписывай жену, Субханкул, — говорил Хусейн. — Неладно живешь. Боюсь я за тебя.

— Не едет она. Не поедет.

— Детей привези. Возьми их к себе.

— До них ли мне, подумай! Куда я их здесь дену?

И им не до меня.

— Моя маленькая Саадат...— сказал Хусейн.— Не знаю, как бы я жил без нее.

— То твоя Саадат! Я с тобой не равняюсь, она же у тебя без матери...

— А твои... без отца?

— Не знаю, не знаю. Решу тут как-нибудь...

— И что я еще хотел тебе сказать?.. Перестал ты учиться, Субханкул. Рано бросил.

— Учиться? У комиссарши, что ли? — сквозь зубы проговорил Рахманкулов.— Женщины не могут не соваться не в свое дело, как и мальчишки вроде этого Сариева! Закон пола и возраста!

— И еще ты недоволен? Ты зол? Тебе, неблагодарному, подарили...

Рахманкулов махнул рукой:

— Случай! Просто повезло счастливицу: шел и нашел полтора миллиона.

— Вот у этого везения, у этого счастливица и надо учиться.

— Хотел бы я знать — чему?

— Завидным вещам... Страсти искать, идти и находить! Знанию людей и поразительному чутью жизни, новой жизни, Субханкул, которую ты строил. Это и есть партийность.

— Да он еще не в партии! Кандидат! Вообще работает без году неделя...

— Завтра мы примем Сариева в члены партии,— сказал Хусейн.— Ты будешь голосовать против?

— Ахмед, иногда я перестаю тебя понимать.

— И не только меня, Субханкул. Завтра тебе придется, друг мой, понять то, что ты не понимаешь. И недвусмысленно, предупреждаю тебя, недвусмысленно дать людям понять, что ты не живой труп и готов упорно учиться.

— Ну, дорогой, не грози! Ты секретарь парткома, но еще не партком.

— Я был бы плохим секретарем, если бы не предвидел решение партийного комитета.

Рахманкулов резко отодвинул от себя пиалу, расплескивая чай и обжигая пальцы. Стал дуть на них со смешным озлоблением.

— Одумайся, Ахмед. Что ты затеваешь? Один хочет остановить транспортировку инертных, другая — законсервировать Капитальную! Третий приводит анекдотического усача, который транжирит неделимый колхозный капитал... Что за напасть такая? Ты потакаешь им всем. Это ли не безумие? Приди в себя наконец. И потолкуем спокойно, зрело, без демагогии и прожектерства...

— Мозги у тебя набекрень, товарищ,— сказал Ахмед Хусейн.— Пролил чай? Налить свежего?

— Налей.—

— Так я тебя предупредил, дружище. Извини, что повторяюсь.

Рахманкулов отхлебнул из пиалы, причмокнул, одобрительно поднял косматые брови. Спросил непринужденно:

— Саадат здорова?

— Саадат смеется,— ответил Хусейн.— Хочу повезти ее летом на Иссык-Куль.

Часть третья

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Партийный комитет собрался в полном составе с большим активом. Заслушали инженера Давранова и бригадира Бабамурата, затем начальника стройуправления. Обсуждение было коротким. Спора не возникло. Все члены партийного комитета предлагали голосовать.

— Голосую,— сказал Ахмед Хусейн.— Кто за? — Рахманкулов не поднял руки.— Кто против? — Рахманкулов не поднял руки.— Так что же, ты за или против?

— Я воздержусь,— ответил Рахманкулов, утирая пот со лба.

— Товарищ Рахманкулов,— сказал секретарь парткома,— ты понимаешь, что такое голосование недостойно старого члена партии?

— Это мое уставное право.

— По букве устава. А по духу?

— Мне кажется, моего персонального дела пока нет в повестке дня?

— Нет.

— Тогда я хочу извиниться — мне нужно немедленно выехать в трест.

— Выехать? Ты хочешь, чтобы мы продолжали... в твое отсутствие?

Рахманкулов остался.

Разговор с ним длился четыре с половиной часа.

Начальник управления не внял совету друга и держался строптиво, вызывающе. Хусейн не предусматривал оргвыводов. Но с ним не согласились. И было решено поставить на вид коммунисту Рахманкулову его поведение на парткоме.

— Это неслыханно! — вскричал Рахманкулов.

— Неправда,— возразил Хусейн.— Мы знаем случаи, когда больших начальников не избирали в партийные комитеты или выводили из их состава.

— Много на себя берете!

— Не больше, чем у нас заведено и узаконено в партии.

В тот же день Рахманкулов уехал в Ташкент, оставив за себя старшим Самандарова.

Прежде чем он вернулся, из треста пришло указание: строить мост, осушать Капитальную, заключать договор с колхозом «Игтифак». Был созван митинг всех строителей, и на нем Самандаров прочитал: «Во исправление недосмотров и просчетов проектных наметок, грозивших срывом государственного плана работ, по своевременному сигналу партийной организации строительства и в соответствии с принципиальным решением ее партийного комитета...» Это был праздничный день для коммунистов на Ак-Таше.

Рахманкулов остался в Ташкенте. Думали, что он обивает пороги в министерстве, но вскоре стало известно, что он в больнице. Худо с сердцем.

Недели две после митинга его не видели на стройке. И вдруг он приехал. Полуторастокилометровый прогон из Ташкента дался ему тяжело. Шофер под руку медленно, шаг за шагом, ввел его в дом и уложил в постель. Прибежал местный врач. В комнате запахло валидолом и камфарой. Больной задыхался. На груди его лежала красная подушка с кислородом, жгучим как огонь.

Пришел Давранов. Врач не пустил его к больному. Явился с кожаной папкой Самандаров, и Рахманкулов потребовал, чтобы этого человека провели к нему. Врач, рассерженный, поглядывая поверх очков на Самандарова, вышел в соседнюю комнату. Рахманкулов остался наедине со своим заместителем.

Самандаров сидел на половинке стула, выпятив острые, как ножи, губы. Постное его лицо выражало отрешенность от земных сует.

Приглушая голос, он доложил, что на строительстве работает смешанная партийно-хозяйственная комиссия обкома партии и треста. Инспектирует, ревизует. Люди в комиссии маленькие, это видно по их аккуратности и до-

тошности. Суются во все бумаги, пересчитывают все цифры. Вызывают простых рабочих и беседуют с ними без свидетелей, подолгу, словно корреспонденты газет. Придираются к мелочам, которые выеденного яйца не стоят, на которые крупный работник бровью бы не повел. К каким мелочам? Ну, например, к тому, какого вида одеяла в общежитиях, к тому, что полы кирпичные...

— Вовремя вы заболели,— сказал Самандаров, склоняясь к больному так, будто намеревался клюнуть его розовым носом.— Блестяще заболели. И исключительно тонко то, что вы приехали сюда сейчас. Это позволит и вам лично и Холмату Юнусовичу в тресте... с открытым забралом, со своей партийностью...— Самандаров обеими кистями, перевязанными синими узлами вен, прижал к коленям кожаную папку.— Здесь у меня систематизированы все необходимые, характерные материалы: исключение из комсомола за подвиг на аварии, разнузданное измывательство над мобилизованным номенклатурным работником областного комитета комсомола, засорение кадров уголовными элементами, прямое потакательство репрессированным предателям родины, разбазаривание госфондов на увеселительное сооружение Вечстрой, подстрекательство молодежи к распушенности и бесспорно установленные моменты личного бытового разложения, связанного с использованием служебного положения...

Рахманкулов выслушал его, откинув седую голову на подушку, вытягиваясь всем телом от страшной боли в сердце. И слабым, пискливым голосом закричал:

— Во-он! Шакал... гюрза...

Самандаров прижал папку к груди, внятно шепча:

— Здесь есть документы с вашей визой... собственно-ручной... Не забываетесь...

Вошел врач и взял из кипевшей в железной коробке воды шприц. Самандаров с поклоном, на носках удалился.

«До чего я докатился! — думал Рахманкулов, не ощущая укола шприца.— Какие люди настигают меня, может быть, на пороге могилы!»

Перед ним словно в тумане возникло костистое, лошадиное лицо Холмата Юнусовича. Этот человек был давним приятелем жены, кажется, дальним ее родственником по материнской линии и считался «рукой» Рахманку-

лова в тресте. Жена вела с Холматом Юнусовичем бесконечные переговоры, и тот не мог устоять перед обворожительной Махфузой-ханум, обещал и отпуск ее мужу и перевод в трест, на свое место, когда сам уйдет в министерство.

— Что за пакость? Зачем это мне? — думал вслух Рахманкулов, не слыша собственного голоса. Он не хотел в трест, он не выносил кабинетной жизни.

— Вам нельзя напрягаться, молчите, — сказал врач из-за качающейся пелены тумана.

— Кто тут? — спросил Рахманкулов. — Возьмите карандаш там... Пишите, пока я жив. — И он продиктовал приказ по управлению, которым назначал Давранова вридом начальника.

2

Он приехал из Ташкента, как и прежде, без семьи. Но ему не пришлось пробыть в одиночку ни часа. Стали приходиться девушки с Комсомольского участка дежурить. Они приходили попарно — Нафиса с Адолят, Садбар с Оксаной-батыр. Проветривали комнату, топили печь, подавали лекарство и еду, не пускали посторонних. Врач научил их перестилать постель, не поднимая с нее больного.

Он сердился вначале, стеснялся их, требовал медсестру или по крайней мере Хумахон. Приходила Хумахон, приносила варенье, а сестру девушки отсылали. Шла зима, туристы привозили из дальних стран мудреные вирусные гриппы, медики нужны были в амбулатории.

— Что это такое, в самом деле? — бессильно крикивал он. — Вам завтра на работу... Непослушные девочки! Вы меня волнуете, это мне противопоказано... Киньте провод, поставьте аппарат, я сам... когда нужно будет...

Постепенно он смирился, привык. Его трогали их упорство, их терпение и то, что они приходили по двое. Затем его стали волновать более значительные вещи: счастье Нафисы, несчастье Садбар, необычная влюбленность Оксаны-батыр. Он спрашивал Адолят о ее брате и о том мальчишке, похитителе простынь, которого так и не привелось увидеть в глаза. И однажды он почувство-

вал, что с медсестрой ему было бы, пожалуй, скучно, было бы одиноко.

Каждый день к вечеру непременно приходил Давранов — с докладом. Рахманкулов быстро его раскусил: инженер обстоятельно докладывал только о своих затруднениях, день ото дня все более сгущая краски. Вот чем он полагал утешить больного... И что греха таить — на первых порах и в этой игре Рахманкулов находил своеобразную приятность. Но в конце концов она приелась.

— Так,— сказал он, поглаживая давно не бритый затылок.— Ну, а хорошее что-нибудь делается на стройке, братец вы мой Эльчибек?

— По-моему, самое хорошее... то, что вы ею заинтересовались.

— Опять вы за свое!

— Комиссия довольна,— сказал Эльчибек.

Он скрыл, что комиссия, докладывая свои выводы парткому, предлагала заменить начальника управления, партком этому воспротивился.

— Что же в действительности самое трудное у вас сегодня? — спросил Рахманкулов.

— Кессонные работы,— ответил Эльчибек.

Больной скинул с груди одеяло, коротко, утомленно дыша.

— Так. Разумеется. Пеняйте на себя.

— Этим я и занят. Однако кессон не божественный произвол. Дело рук человеческих. И наш молодой рабочий не прежний сезонник. Были, впрочем, и такие: они утекают, как вода, в лотке остается золотой песок!

— Что-что-что? Вы послали своих школяров в кессон? Тех, которые... с лопатой?

— Тех самых. Одну бригаду сформировали из комсомольцев.

— Или я брежу, или они там... дышат, как я...

— Вы поправляетесь, Субханкул Рахманкулович,— мы опять спорим! Я говорю: одну бригаду! Пять человек. Остальные — кадровые мостовики.

— Говорите честно, Давранов: несчастных случаев еще не было?

Эльчибек молча отвернул ворот своей рубашки и трижды плюнул себе за пазуху, согласно древнему суеверному обычаю. Рахманкулов с неодобрением пожевал пересохшими, бледными губами.

— Вот что,— распорядился он,— пришлите мне завтра же кого-нибудь из них... но не Сариева! А вот того, парикмахера...

Пришел Лукмонча и стал говорить о том, какой великий и несравненный труженик сердце. В жилах человека примерно пять литров крови; каждую минуту вся кровь проходит через сердце. За час сердце прогоняет по сосудам четыреста литров, за сутки — десять тысяч литров, а за год — три тысячи пятьсот тонн крови, иными словами — семь эшелонов емких большегрузных цистерн!

Рахманкулов слушал знатока с хмурой улыбкой. Затем сел повыше на подушках и устроил ему не то допрос, не то экзамен:

— Медосмотр проходил?

— Да.

— Настоящий, официальный?

— Конечно.

— И прошел?

— Я здоров.

— Сразу взяли?

— После третьего заявления.

— Безобразия! — сказал Рахманкулов.— Возьмите бумагу, начертите мне схему кессона.

Лукмонча начертил.

— Объясните, что вы там намалевали.

— Но вы же видите... Умеете читать чертежи?

— Глупостей не болтайте. Я вам не Садбар.

Лукмонча отшатнулся, бледнея. Рахманкулов протянул к нему немощную руку:

— Ну, ну... ладно... Я вам в деда гожусь. И я не Давранов, сознаю. Что у вас с ней, в конечном итоге?

— Давранов меня об этом не спрашивал. Никто не спрашивал.

— А сам себя спросил?

— Если пойдет за меня, женюсь...

— С чужим ребенком? Ты кто, Достоевский? Гордость мужская у тебя есть?

— А вам не доводилось усыновлять детей?

— С этого не начинают, дурачок! Кто тебя научил? Отца своего спросился?

Лукмонча поднял голову и сказал:

— Да.

— Та-ак,— проговорил Рахманкулов, с подозрением

глядя на парня.— Странный у вас отец... Ну, давайте схеме.

Нетвердым голосом, думая о другом, Лукмонча начал:

— Кессон — это коробка... железобетонная, овальная, формой точно такая, как будущая опора моста, по-русски — бык. Крыша у кессона есть, дна нет. Кессон опускается в реку и врезается стенками в ее дно до той глубины, какая требуется. Если дно болотистое, то до твердого скального грунта. Лишнюю породу, конечно, выбирают наверх. В крыше кессона дыра, в дыре труба длиной до поверхности воды. По мере углубления кессона в дно труба наращивается. Она разделена пополам стенкой снизу доверху. В одной половине шлюзуются люди, то есть привыкают или отвыкают от давления воздуха в особой непроницаемой камере, когда опускаются или поднимаются. По другому отсеку идут бадьи с грунтом. Таких труб бывает несколько... Это понятно?

— Как будто бы.

— Ну, габариты у кессона, я сказал, такие же, как у будущей опоры моста. Кессон становится пяткой опоры. Чем глубже ушла пятка, тем тверже стала опора. А тело опоры укладывается прямо на крышу кессона, вдоль шлюзовых труб тоже сперва в виде кольца, овальной трубы, потом кольцо заполняют бетоном. У нашего Сазлыкская дно — дрянь. Придется врыть кессон метров на двадцать, если не глубже. Вот и все.

— Допустим. Но если у вашей овальной коробки нет дна, а опускается она в реку, почему в эту коробку не врываются вода и та самая дрянь?

— Ну, Субханкул Рахманкулович!

— Товарищ Лукманов!

— А потому, что в кессон нагнетается мощными компрессорами воздух. Давление держится постоянное, в несколько атмосфер. Воздух выдавливает воду — ясно же... На десять метров врылся — прибавь атмосферу, глубже пошел — дай еще одну!

— А люди? В кессоне! С людьми что?

— Ничего особенного. Кессонщик шлюзуется медленно, строго постепенно, пока не освоится с давлением полностью, пока не войдет в обычную атмосферу. И ничего... Рабочие смены короткие. Дольше опускаться и подниматься. Идешь вверх и вниз со скоростью улитки.

— А хочется быстрее? Вам хочется?

— Товарищ начальник, а не полоумный и не самоубийца. Я еще буду гулять по мосту через Сазлыксай, ведя за руку сына, и буду рассказывать ему то, что вам рассказываю.

Рахманкулов судорожно, протяжно зевнул из-за сердечной недостаточности.

— Теперь скажите, вам известны профессиональные заболевания кессонщиков?

— Слушайте... зачем это?

— Отвечайте!

— Самое поганое — кессонная болезнь. Так она и называется... — с насмешливой выдержкой проговорил Лукмонча. — Может возникнуть от резкого падения давления, от резкого выхода из кессона. В венах у человека появляются пузыри, кровь закипает. Может разбить паралич... потеря памяти... мучительное удушье. Может быть летальный исход. Это вы хотели знать?

Рахманкулов пощупал у себя на запястье пульс и сказал, осторожно покашливая, словно боясь вобрать воздух полной грудью:

— Подойди ко мне, сынок. Сядь спокойно. Так... И тебе не страшно, скажи мне? Ты хочешь жениться... пятое, десятое... А над головой двадцать метров каменно-бетонной опоры... сотни тонн. Под ногами трясина. Шипит воздух, как сорок змей... В ушах звон. А? Смотри мне прямо в глаза!

Лукмонча посмотрел на него строго, чтобы не выдать своей жалости к этому одинокому человеку, которого Нафиса и Оксана-батыр не позволяли бранить с того дня, как он перестал их гнать от себя.

— Откровенно сказать, было... — сказал Лукмонча, поправив на носу очки. — Ну, было! Дальше что?

— Не пойму, — проговорил Рахманкулов, несильно помяв парню плечо. — Такой ты шупленький... Против Чалдар все горой! Меня с навозом смешали. А ведь тамощние заносы — ну, право, игрушки против кессона.

Лукмонча порывисто придвинулся к кровати, и за его очками блеснул прозрачный пламень гнева и страсти.

— Субханкул Рахманкулович... а цель? Там и здесь... За что драться? — И с беспощадной прямоотой добавил: — Вы знаете, отец мне говорил, когда еще не было войны и он не был на фронте... и когда он был жив: «Сол-





дату страшен не огонь и не пот, а глупость командира». Тогда я не понял ничего, только запомнил. Теперь понимаю. Человек с сильной рукой поднимает одного, с сильным сердцем — тысячу!

Рахманкулов долго молчал. Долго сунул брови, беззвучно жуя губами. Лукмонча забеспокоился:

— Вам нехорошо? Я позову их... Тут батыр и Садбар...

Рахманкулов чуть заметно покачал головой.

— Торопишься? Надоел старик?.. Ну-ну, ладно... Что мне тебе сказать, братец ты мой? Говорят, больные чутки. Не очень она к тебе.. это... равнодушна... не очень.

— Я знаю,— неожиданно для самого себя сказал Лукмонча.

— Так,— одобрил Рахманкулов. И отпустил его.

У двери Лукмонча обернулся, словно обещая взглядом прийти в другой раз.

— Будь здоров,— сказал ему больной.

3

Навещали его и другие. Пришел Потчаев, рассказал притчу. Притча была индийской.

Человек упал с дерева на спину тигра. И не решился спрыгнуть с нее, боясь, что тигр его съест. Так он и ездил всю жизнь на спине тигра, не чувствуя тепла земли, не ведая истинной жизни, ни живой, ни мертвой. А люди говорили, видя его: «Вот великий храбрец!»

— И никто не догадался снять его с тигра,— добавил от себя Потчаев.— Это мне рассказывал один человек...

— Девица?

— Хотя бы.

— А вы не боитесь, дорогой мой, что она вас помнет в первую брачную ночь? (Потчаев скромно потупился.) И она не разлюбила вас, когда вас сняли с тигра? Вряд ли у вас будет другой случай стать великим храбрецом.

— Ошибаетесь, Субханкул Рахманкулович. Что, если ошибаетесь?

— Возможно,— больной закрыл глаза.— Я знаю, что меня непременно разлюбят, если я свалюсь со спины тигра. И детей научат разлюбить...

— Что вы, что вы, Субханкул Рахманкулович! — проговорил Потчаев, вспоминая, как тот учил его презирать нежности. — Вы человек особенный, закаленный. Для вас это мистика чистой воды... Вы сами гравий, песок, цемент, итога — бетон!

— Вы смеетесь надо мной? — поразился Рахманкулов.

— Я? Боже упаси...

— Жаль. Значит, вы еще не разучились говорить то, что не думаете.

— И вправду, — удрученно заметил Потчаев. — Черт его знает, как из меня выскакивает...

— Вы еще не жили, — сказал Рахманкулов. — Переболеваете. Сердце у вас не разбито. А я свое сердце расколол собственными руками. Взял и расколол. Оно и болит.

— Я... не совсем понимаю...

Рахманкулов застонал, вытягиваясь на постели:

— О... это нужно понять до конца. Хорошенько понять, Потчаев. Не знаю, хватит ли у меня времени...

Потчаев выбежал в другую комнату, зовя девушек.

Приходил к больному и Самади. Его привело жгучее любопытство — увидеть, каково льву, которому ущемили хвост.

— Вам нужно на эстраду, в конференсье, — сказал ему Рахманкулов. — Вас бы там озолотили.

— Я предпочитаю эстраду жизни. Тут все гораздо смешнее и... золотистее. Люблю все натуральное, если не считать капроновых носков.

— Где вы этого нахватались? И в кого вы уродились, милый друг? В прадеда — в придворного шута?

— Мой прадед был декханином. А отец у меня доцент литературы в университете. Он считает, что я гибрид. Помесь Печорина с Растиньяком. Хочу доказать моему драгоценному предку, что я не совсем то, что он сочинил. И отмечаю все остальное, за исключением моего друга души Потчаева.

— Однако вы плюете против ветра, молодой человек.

— Представьте, замечаю. Иногда... А потому собираюсь в кессон. Там безветренно. Джуман говорит, что я уже достаточно перевоспитан, пора меня выдвигать.

— А можно вас пускать в такое место, где нужна прежде всего спайка, чувство локтя?

— А я встану на горло собственной песне, товарищ начальник.

Рахманкулов прогнал его. На другой день сам позвал и опять прогнал.

Прошел слух, что Рахманкулову стало хуже и он при смерти. Тяжелый приступ грудной жабы уложил его в постель.

И тогда к нему пришел Джуман Сариев и привел с собой Бека. Врач пустил их на несколько минут.

Больной задыхался, почти не говорил и вначале рассеянно слушал ответы на свои короткие вопросы. Он спросил Бека, как ему работалось в Чалдарах. Бек сказал, что хорошо, ему там нравилось, он жил в палатке, ночевал в мешке, как на выдуманной Земле Санникова, о которой любит рассказывать Лукмонча.

Джуман заметил по лицу Рахманкулова, как тот поражен. Парню нравилось в Чалдарах! Вот первый человек на стройке, который смотрел на Чалдары по-рахманкуловски... Больной, чуть улыбаясь, приглядывался к Беку.

— А не врешь? Мастер врать-то?

— Когда нужно,— ответил Бек, кусая губы.— Сейчас не нужно. И охоты нет.

В слегка скошенных глазах Рахманкулова светилось одобрение.

— Так. Отца-матери нет?

Бек быстро глянул на Джумана, потом на дверь, точно собиравшись убежать.

— Ни отца, ни матери? — спросил Рахманкулов.— В войну, что ли?

— Померли они,— сказал Бек со злостью, не разжимая зубов.— Оба!

Рахманкулов почувствовал, что слышит неправду. И умолк, прикрывая глаза, шумно, отрывисто дыша.

Врач проводил Джумана и Бека до двери. Бек шел боком, не сводя глаз с больного.

Это было в середине дня. К вечеру грудная жаба разжала свои тиски. Больной с аппетитом поел, сидя в постели и свободно держа голову. Он был весел, хотя и слаб, и просил привести к нему Бека. Садбар побежала за ним. И вернулась одна.

— Его послали в Туячукди...

Рахманкулов посмотрел на нее ошеломленно, словно бы с испугом, чувствуя, как снова слабеет сердце.

— Почему он не пошел, доченька?

— Не знаю. Дичится.

— Я что-нибудь не то ему сказал? Уже не помню... Он не говорил тебе? Ничего не говорил?

— Ничего.

— Ты боишься меня огорчить?

— Клянусь!

В ту ночь Рахманкулов не спал. Он думал о своей жизни. Думал тягостно-мучительно. Он вспоминал случай, когда воздержался при голосовании. В тот раз исключили из партии его первую жену, Фатиму.

Сейчас она была бы здесь, у его изголовья. И их сын, уже взрослый человек, был бы здесь неотступно. И Фатима и сын не испугались бы и не устыдились бы его, если бы он свалился с тигра! Они бы его не предали. А он... он воздержался. Слова не проронил. Онемел и оглох от страха.

Сын — с Фатимой. Естественно, что мальчик предпочел ее. Будет ли когда-нибудь случай увидеть его или хотя бы узнать, кем он стал, каков он стал и как думает, что знает об отце?

Мимо открытой двери тихо прошла Нафиса. Больной не шевелился. И думал он о том, что может умереть. Да, умереть, не увидев стен нового города и флотационных башен, не увидев моста через Сазлыксай и потока руды из Капитальной и так и не узнав того, что теперь стало ему интересно: какова будет судьба очкастого юноши с примечательным прозвищем, и его несчастной голубки Садбар, и того смелого воришки, и его брата Джумана, и сестры Адолят, кто родится у Нафисы — сын или дочь?..

Прошла ночь. Слепящий луч солнца ударил в окно. Вошла Нафиса и распахнула его.

Больной пошел на поправку. Вскоре он стал понемногу вставать с постели. И когда Ахмеда Хусейна спрашивали, что с Рахманкуловым, он отвечал:

— Учится... учится ходить...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

А между тем близилась весна, пора тюльпанов. Укоротились ночи, раздвинулись небеса. Леса и скалы расцвели радужный блеск таяния. Под ногой звонко хрустели стеклянные льдинки на крохотных лужицах. Над ними струился голубой пар...

Давно нарушено привычное безмолвие Сазлыксай. Пришел конец, может быть, многовековому болотному застою. Птица и зверь ушли из дебревых камышей, в тинистые воды вступил человек железной ногой, обутой в бетон.

Еще до того, как из треста были «спущены» сметы и другие нужные бумаги, над тихими заводами Сазлыксай встала огненно-бурая стена грандиозного пожара. Днем клубящиеся столбы дыма вздымались до облаков; дым прорезали высоченные клинья белого, желтого, красного пламени, точно молнии над жерлом вулкана. А ночью до звезд разливалось раскаленное, малиновое зарево, похожее на закатный свет под ветреный день, и казалось, что второе солнце окунулось в Сазлыксай и застряло в нем до утра. Пушечный гул, непрерывный оглушающий треск стелился над рекой и был слышен за километры. Трое суток не прекращался пожар, то ненадолго местами стихая, то вновь разгораясь с устрашающей силой, со свирепым воем. Кипела, взрывалась вода, будто на раскаленной сковороде. А люди, закопченные как черти, скатывали под дымное брюхо огня продырявленные бочки с мазутом, керосином, солярой.

На обоих берегах жгли вонючий, гниющий камыш, и Сазлыксай на время потек вверх, взвиваясь свистящим грязным паром в небо сквозь огненную трубу пожара. Так началась бескровная битва за мост. Так началась подготовка строительной площадки.

Угас огонь, рассеялись дымы, с облаков стерлась копоть, и открылись просторные воды Сазлыксай, распахнутые от берега до берега. Несколько дней река была словно в трауре, кисейно-черна от гари. Затем ветры и течение расчистили ее синеватое зеркало, Сазлыксай отразил в себе небо и стал бездонным, как оно, и принял

в свои вязкие глубины ходули эстакады, и первый кессон, и первый бетон.

И вот теперь, когда ветры потеплели, смягчились и стали душистыми, люди с нетерпением ждали, что на месте луж и льдинок внезапно вспыхнут иные огоньки и пойдут поджигать все кругом, пока не займется и не охватит с жадностью луга, холмы, дороги сплошной тюльпановый пожар, алая радость, и будет гореть две незабываемые апрельские недели.

Люди работали на обоих берегах: на одном — рабочие-строители, на другом — колхозники-строители. И там и тут виднелись буддийские шапки навесов, складские дощатые и брезентовые стены, высокие штабеля неошкуренного круглого и пиленого леса, видные с другого берега, и незаметные, стелющиеся по земле, длинные линейки рельсов, балок, уголков прокатного фасонного металла.

Реку пересекал шаткий узкий наплавной мостик, он выдерживал тачку с инструментами, двух пешеходов с бревном на плечах и Самандарова в тулупе, а по выходным — одиноких рыболовов с удочками и парочки влюбленных. Там и сям на реке маячили по скулы и по макровку в воде железные круглые понтоны, на них — лебедки и маховые колеса воздуходувных машин, головастые грудастые скафандров водлазов.

Неподалеку от акташского берега в мелководье выгорожен островок. Его образует кольцо бревенчатых свай — шпунтов, тесно посаженных бок к боку, связанных над водой крест-накрест железными скрепами. На островок ведет ажурная эстакада, надежная, как стрела крана или пролет моста. На островке кессон; его темя, прикрытое стальной крышкой, ниже уровня воды. Под эту крышку уходят в первую воздухонепроницаемую камеру кессонщики.

В красном вагоне на берегу стучит, как часы, передвижная компрессорная станция. К ней тянутся трубы и шланги.

Трубы и шланги, трубы и шланги... В них воздух под давлением одна, две, три атмосферы, вымеренные с аптекарской точностью, по строгим приборам, — особенный, трудный рабочий воздух кессонщика, его верный друг.

А дальше и выше в горах поблескивали на солнце клетчатые окна в кабинах башенных кранов. Такие здесь

прежде попадались редко. Теперь они бросались в глаза. А где эти краны, там стены и перекрытия, маляры и водопроводчики...

Вечстрой возвел небольшой скромный клуб. В зрительном зале на свежеекрашенном полу каждый вечер танцевали под радиолу. Кинопередвижка крутила ленты; картины шли первым экраном, те же, что и в столице республики и в Москве. Но хозяйка клуба Нафиса, а с ней и все комсомольское бюро промахнулись и на неделю легкомысленно впустили в клуб архитекторов. Те явно и обдуманно подольстились, похвалив самодеятельное строение. Вошли и... заполонили своими огромными досками с подвесными пантографами и осветительными лампами, сильными, как юпитеры, канцелярскими корзинами для карандашных очистков и цилиндрическими футлярами под ватман всю сцену клуба!

В зале же танцевали потихоньку. Сплясать уже не решались. На занавесе висел кричаще красивый транспарант, рисованный умелой рукой: «Тихо! Рождается город!»

Иногда архитекторы выходили из-за занавеса, спускались со сцены и приглашали девушек на венский вальс. Один из них в паре с Самади, изображавшим даму, показал однажды, что такое рокк-н-ролл. Смеялись до упаду. У Кимсана едва не сделались колики. А в другой раз в разгаре полечки вдруг неслышно раздвинулся занавес, и парни и девушки застыли в тех позах, в каких их застал сюрприз хитрых архитекторов.

Во весь задник сцены был развернут и подвешен общий перспективный план юного города в красках. Стрелы проспектов, звезды площадей, ромбы и трапеции нешаблонных кварталов, зеленые кудри скверов и парков.

Лукмонча первый пришел в себя и закричал:

— Здравствуй! Здравствуй!

— Ура... Качать... Бис...— понеслось со всех сторон.

Вот когда весело было в клубе! Пошумели всласть.

2

Быстро, дружно набухали почки. И казалось, что они лопаются и расклеиваются на глазах, выдавливая из себя изумрудные побеги.

Воздух в горах становился хмельным. Сангин, поднявшись из кессона, шел к опушке елового бора, подолгу бродил у мохнатых смолистых стволов.

— Пьешь, пьешь — не можешь напиться, — говорил он.

Но все понимали, что парень себе на уме. Он искал для Нафисы первый тюльпан. Потчаев уже который день тратил на поиски весь обеденный перерыв.

«Если б Лукмонча... если б Лукмонча...» — думала Садбар. Но тот не искал тюльпанов.

Удача выпала Джуману — он принес первый красный цветок и отдал его Адолят.

— Это ты. Пойдем, покажу, где ты росла.

Он привел ее к роднику под замшелой скалой, в который бросил на счастье монетки в начале зимы. Родник переполнился и затопил прозрачной пленкой зеленую лужайку. Адолят слушала нежный звон его струек и дивилась словам Джумана.

— Разве я красива, Джуман? Разве ты не можешь сказать мне правду?

— Я думаю, как обмануть тебя на всю жизнь. Хочешь, я поклянусь тебе в любви?

Она зажала ему ладонью рот:

— Зачем ты говоришь, Джуман? Зачем ты не можешь молчать?

— Я и во сне разговариваю с тобой.

Она склонилась щекой к цветку и словно подождала им щеку.

— Я знаю, ты любишь другую... Ее зовут Гюльрез.

— Как ты про нее узнала?

Адолят положила цветок на ладонь:

— Она тоже похожа на тюльпан?

— Нет, не похожа. Не надо о ней вспоминать.

— Ты сильно ее любил?

— Сильно.

— Очень сильно?

— Не знаю. Как умел...

Адолят окунула цветок в родниковую воду и провела мокрыми лепестками по своим глазам.

— А она... вас любила?

— Теперь-то мне кажется — вряд ли... Она больше думала о другом — о том, сколько я зарабатываю. Я ее

не осуждаю. Намучилась сиротой, тянулась к тому, что понадежнее. Когда я это понял, я выздоровел...

— Все равно, все равно... Нет, не говори...— вдруг горячей скороговоркой зашептала Адолят.— Как она могла не любить тебя? Я не могу поверить! Когда я тебя полюблю, я — до смерти... до смерти...

— Когда полюбишь? — повторил Джуман, мягко отводя от ее лица красные лепестки.— Скажи, пожалуйста, еще раз.

— Когда полюблю,— сказала Адолят, не пряча глаз,— до смерти!

С верхушки скалы, у которой они стояли, покатались, шурша, мелкие камешки и донесся смешливый голосок Оксаны-батыр:

— Вот говорю при свидетелях — скину вас под обрыв вверх тормашками... И как вам не надоест! Нашли бы себе девушку, ходили бы за ней. Вы теперь кессонщик, здорово зарабатываете...

Затем послышался удрученный голос Самади:

— Потчаев! Друг мой верный... Внуши ей хоть ты, что в наше время ходить за девушкой, у которой нет диплома,— признак духовной отсталости!

Джуман и Адолят рассмеялись. Последнее время стали поговаривать, что Самади задумал отбить у Потчаева его несравненную Оксану.

Самади увидел Джумана и крикнул ему со скалы:

— Эй, секретарь, Джаббар забрал свои вещи и ушел из пятого...

— Как ушел? Куда?

— Через Сазлыксай. Прогуляться по заречным полям!

Джуман, встревоженный, повернулся к Адолят:

— Что это значит? И тебе ничего не сказал?

— Сказал...— ответила Адолят.— Не сердись, Джуман, он тебе потом скажет. Он тебя стесняется. Ему стыдно...

— Опять кто-нибудь вспомнил старое? Надо его вернуть!

— Не надо, Джуман. Он совсем ушел. Сам ушел. Здесь ему не по душе. Он давно говорил: «Придет весна — не усiju, сбегу». Он и прежде тосковал на наших камнях... Он хочет в поле,— Самади угадал. Подожди, придет, извинится...

— Чудак человек! — воскликнул Джуман, в душе за-
детый за живое. — В чем тут извиняться? Его дело. Каж-
дому свое... Но зачем же так? Мы дали бы ему хорошее
письмо к председателю Уктамтаеву, проводили бы.

— И этого не надо, — сказала Адолят. — Он у нас
окреп, поднял голову. Хочет сам, без протекции...

Джуман усмехнулся:

— Наша протекция, Адолят, не галстук ко дню рож-
дения. Она не за красивые глаза. Честью, по-моему,
не швыряются! И что же стесняться того, что ты зара-
ботал?

— Не обижайся, Джуман, прости его. Он это все по-
нимает. Пусть поживет по-своему, как ему вздумается...
Он мало жил, как ему хотелось.

— Так и не вспомнил он настоящую фамилию Саман-
дарова?

— Вспомнит — скажет... Пусть вспоминает.

— Пусть, — тихо проговорил Джуман, думая о том,
какие они все же скрытные оба, и брат и сестра.

Адолят, казалось, почувствовала, о чем он думает.
Они пошли вверх по крутой тропе, в обход скалы. Адо-
лят приколола красный цветок к своим волосам. На
скале сидели Оксана-батыр, Потчаев и Самади. Оксана
кинулась рассматривать первый тюльпан. А когда по-
дошли к женскому общежитию, Адолят сунула в руку
Джуману запечатанный конверт и убежала.

В конверте было ее письмо к нему. Оно было на «вы».

«Спасибо. Спасибо. Больше я не знаю, как сказать.
Вы ответите, что это не ваша заслуга. А я и не вам го-
ворю. Не вам одному...

Часто мне чудится, будто бы я вас теряю. Такое чув-
ство, что должно что-то случиться и вас со мной нет.
Вчера мне опять снилась война долгая-долгая, как два-
дцать лет. Я уже старая, беззубая, а вы приезжаете с
фронта молодой, быстрый, как молния, и не узнаете
меня, проходите мимо. Я догоняю вас, кричу: «Это я!
Я! Твой тюльпан!» А вы оборачиваетесь и говорите: «Как
хорошо! Вот находка! Сейчас я сорву тебя для Гюль-
рез». Я так кричала во сне... Все проснулись. Расспра-
шивали. Я ничего никому не сказала.

Когда вы хотели пойти в кессон, прошли медосмотр
и вам сказали, что вы идеальный кессонщик, я совсем не
спала несколько ночей. Пошла к Давранову и послала

Тиркаша сказать, что без вас развалятся ремонтные мастерские. Они не развалятся, конечно. Но Давранов вас не пустил. Вы сердились, обижались. А он улыбался, когда встречал меня. Он никому ничего не сказал.

Вы не такой. Вы рассказали всем про Гюльрез. И про меня... Зачем вы сказали ребятам в клубе, что любите девушку, похожую на тюльпан? Зачем вы смотрели в это время на меня? Вы видели, как мне было стыдно? Видели, какая я была счастливая? Мне хотелось кричать, как в том сне, когда вы приехали с войны.

Сижу с вами рядом в конторе, пишу это. Простите, что плохой почерк».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

В первом кессоне у берега было беспокойно. Опасались пловуна. Пловун — самое страшное, самое каверзное. Невольно думалось: врежется в него тяжеленный кессон, точно в масло, своими овальными резаками и пойдет погружаться, как медленный лифт, сдавливая и без того сгущенный кессонный воздух, подобно громадному поршню. И, может быть, прежде чем подоспеет выручка, еще до того, как кессон ляжет своим потолком на пловун, воздушная подушка точно прессом раздавит людей, уже ничего не сознающих.

Давление в кессоне держали близко к пределу, у красной черты четырех атмосфер. И кессонщики то и дело пожевывали пустым ртом, с силой глотали слюну, стараясь ослабить глухоту. И внизу и наверху жили настороже.

В середине смены Лукмонча почувствовал недомогание — легкое головокружение, слабую тошноту. Бригадир Сангин приказал ему немедленно подниматься.

— Вира! Вира! — крикнул Лукмонче в ухо недавний бетонщик Климов.

Самади шлепнул Лукмончу лопатой пониже пояса.

— Полезай в кошелку, академик! Не гордись!

Четвертый в бригаде, бывший шофер Тура, молчал.

— Давно это у тебя? — спросил напоследок Сангин.

— Только что! — крикнул Лукмонча, бодрясь. Он соврал, чтобы зря не тревожить друзей. Ему было не по себе с начала смены.

— Проводить?

Лукмонча наотрез отказался. Что он, дамочка?.. Он полез в шлюзовую камеру один, а Сангин и Самади кинулись принимать подоспевшую бадью.

Пожалуй, не следовало его отпускать одного. Но ведь шел человек наверх, не вниз. И шел не кто-нибудь, не суеверный Тура и не овца Кимсан, которого и близко не подпускали к шлюзам. Шел Лукмонча, лучший в бригаде, самый грамотный, самый надежный, умница, светлая голова!

Ему предстояло шлюзоваться более часа. Примерно через восемнадцать с половиной минут, когда давление в камере было еще под три атмосферы, Лукмонча неожиданно вылез из нее наружу, вскрыв аварийный люк, не считаясь с тем, что ему угрожает.

Наверху была полундра — непорядок в грузовом отсеке. И под шумок, в минуту общей спешки и озабоченности, он незаметно вошел в грузовой отсек вместе с аварийщиками. Им он пригодился. Там он оказался на месте. Он знал на кессоне все механизмы, все швы и щели, клепанные, сварные и пневматические, проложенные резиной...

Около получаса он работал в грузовом отсеке умело и сноровисто, с легкостью свежего человека, будто он и не перепрыгнул только что пропасть трех атмосфер и будто к нему не подкрадывался страшный заломай. Тем временем аппаратчик и врач метались по насыпному островку, по эстакаде, по берегу реки, теряясь в догадках: шлюз был пуст, а Лукмонча точно сквозь землю провалился.

Старший мастер заметил наконец их суетню, когда в грузовом отсеке стало поспокойнее и пошло на лад дело, окликнул их, узнал, что случилось, и, ахнув в голос, схватился за голову. Тотчас он кинулся к грузовому отсеку и вытащил оттуда Лукмончу.

Парень не хотел уходить. Его не стали и слушать. Насильно на руках понесли к рекомпрессионной камере и засунули ногами вперед в ее трубу. Он ворочался, стучался в тесной камере, не обращая внимания на увещания испуганного врача, злясь и крича на него, пока

старший мастер не догадался сказать по проводу, что поднимает бригаду из кессона, все четверо в сознании. Только тогда Лукмонча успокоился, и врач смог задать ему первый вопрос.

Сангин, Самади, Климов и Тура и в самом деле шлюзовались в соседней трубе, целые и невредимые.

Давранова нашли в штольне Капитальной. Не снимая шахтерской робы, он вскочил в ожидавший его самосвал, поехал, стоя в кузове. Самосвал летел по дороге, с громом визжа на поворотах, подскакивая на ухабах, как мяч, а инженер долбил и долбил кулаком по крыше кабины, подгоняя.

Приехав, он встал на колени перед рекомпрессионной камерой, рядом с врачом. Лукмонча улыбался Эльчибеку сквозь выгнутое триплексное стекло головного окошка. Улыбался и подмигивал.

Врач сунул инженеру в руку телефонную трубку:

— Спросите его сами.

— Что спросить?

— Чувствует ли он ноги?

— Лукмонча,— сказал Эльчибек в трубку,— вы слышите меня?

— Конечно,— ответил Лукмонча.— Как будто из-под земли... вернее — из штольни... Снимите каску-то! И так кругом комедия...

Эльчибек скинул с головы каску.

— Отвечайте мне — чувствуете вы ноги? Ноги!

— Я же ему говорил, чудаку... Что он паникует? Дайте ему стакан воды.

— Пусть уколёт чем-нибудь ниже колена посильнее,— подсказал Эльчибеку врач.

— Я вижу, вижу по губам, что он говорит! — вскрикнул Лукмонча.— Нечем мне колоть. И штаны жалко...

— Пусть пошевелит ногами,— подсказал врач, прикрывая рот ладонью.

Лукмонча тут же забухал каблуками сапог в стенки камеры, догадавшись, чего хочет врач.

— Это возбуждение нормальное? — спросил врача Эльчибек, не замечая, что говорит в трубку.

— А что тут такого? — спросил Лукмонча.— Просто не хочу, чтобы вы все дурака валяли из-за меня!

— Нет,— ответил врач,— это все же транс...

— Почему вы кричите, Лукмонча? — спросил Эльчибек.

— Я? Говорю громко, ясно. Разве нельзя?

— Он плохо слышит, — прошептал врач.

— Спросите лучше его, — крикнул в трубку Лукмонча, — когда меня выпустят? Я хочу тарелочку шурпы и два раза плов!

— Он жлет, он не может испытывать аппетита, — сказал врач.

Эльчибек отдал врачу трубку, пошел со старшим мастером к кессону. За ними тесной толпой двинулись рабочие:

Старший мастер курил одну папиросу за другой и то и дело обтирал о ватник потеющие ладони.

— Задымили опять? — заметил Эльчибек. — Давно ли бросили?

— Полундра, товарищ начальник. Знаете сами, какая у нас обстановочка в первом кессоне. Лучшая бригада стояла. И вот психанул парень!

— Что значит — «психанул»? — холодно спросил Эльчибек. — Лукмонча вышел на полундру.

— А кто его звал? Кто просил? Видели, что он выкидывает? У него сейчас боли должны быть — глаз не открыть... А он порет что попало! И доктор говорит: транс.

— Бросьте болтать, мастер! — резко выговорил Эльчибек, вынув руки из карманов.

— А вы не кричите, товарищ начальник. Я на кессонах двадцать лет. Насмотрелся такого, чего вы в глаза не видели, о чем и мечтать не мечтали. Ни в каких справочниках, понимаешь, не написано, что я своим горбом испытал...

— Я на кессонах впервые, — сказал Эльчибек, — но знаю хорошо, что такое Лукмонча. И не вы ли сейчас в транс, по чести говоря?

— Ну и зря, товарищ инженер, — отозвался мастер, оглядываясь на рабочих, — зря на себя валите. Вы там знайте, что знаете, а я на себя не беру.

Эльчибек жестом попросил рабочих не шуметь, подо звал Сангина и Климова поближе:

— Докладывайте, что было.

— Мы внизу поняли, что тут авария, — сказал Сангин.

— Я подтверждаю, — сказал Климов.

— И я,— сказал Самади с не свойственной ему немногословностью.

— Боязно, конечно, это да, это было,— сказал Тура.

— Почему подняли бригаду до срока?— спросил Эльчибек, подождав, не добавит ли еще чего-либо Тура.

Мастер взял у Туры новую папиросу:

— Была неисправность в грузовом отсеке.

— Какая неисправность?

— Кубло заедало, тросá заедало,— словно бы с неохотой проговорил старший мастер и пояснил, будто здесь не знали, что такое кубло: — Бадья, понимаешь... била о стенки, точно кувалдой. А они что твой колокол... Ну, он и подумал небось — землетрясение... рушится кессон!

— Врете,— спокойно сказал Эльчибек.— Говорите все. Дело говорите!

— Да вы мне рта открыть не даете! Я не скрываю. Разве скроешь? Утечка еще была через грузовой шлюз. Конечно, парень боялся за свою бригаду...

— Вот оно! С этого надо было начинать, черт вас побери с вашим двадцатилетним стажем! Утечка! Она вам тоже не в новинку?

Старший мастер швырнул папиросу. Они остановились на берегу реки.

• — Ну и не в новинку! Кого чертыхаете? От этого Госстрах, понимаешь, не страшует. Кубло проклятое раздергало. Утечка! Бывает...— Мастер ткнул ребром ладони себе за спину.— Но ведь ты же сидишь, герой, за стальной стенкой! Твое какое дело? Сидишь — и сиди, как тебе велено уставом и законом. А на то имеются аппаратчики-сторожа, аварийщики-спасатели.

— Звук был? — спросил Эльчибек.

— Шипело...

— Сильно?

— Как паровоз пары спускает — слышали? Но имейте в виду, давление в кессоне падало медленнее, чем у него самого при шлюзовании. Головой отвечаю! Длилось это десять минут от силы. И поднял же я бригаду, поднял! Об чем разговор? Люди сапог не замочили.

— А через пятнадцать минут? Замочили бы?

— Могли...

— Сейчас в кессоне вода?

— Была... по щиколотку. Остановили.

— В кессоне — вода! И это... по-вашему, неисправность?

— Ну, авария! Не отрицаю.

— Серьезная? Опасная для людей?

— Может, и опасная. Я не спорю. У нас несерьезного не бывает.— Мастер рубанул ладонью воздух.— Вообще... честно скажу... кессон на плывуна. Отсюда все наши страхи. Пора замораживать грунт. И кончено! Без заморозки плывуна людей вниз больше не пушу. Хватит с меня ходить по краю...

— А не кажется ли вам,— отчетливо проговорил Эльчибек,— что нужна очень ясная голова, чтобы понять все это, сидя в шлюзе, за стальной стенкой?

Рабочие вновь зашумели.

— Так что ж тут понимать?! — воскликнул мастер с горькой досадой.— Он да не поймет!.. Мы ему сами все это объяснили по проводу — спокойненько, ласково, любя, товарищ инженер. Я ведь его тоже... не хуже вас знаю!

— А он?

— Спрашивал! Сигналил. Кричал, как помешанный, одно и то же... одно и то же! Потом вроде успокоился. А на девятнадцатой минуте сиганул. Не вытерпел, стало быть. Не доверил мне полундру...

— Слушай, друг,— сказал Эльчибек, глядя мастеру в глаза в упор,— ты же его любишь...

— Мало ли...

— Мать придет к тебе, спросит: «Зачем он так поступил?»

Мастер опустил голову, глухо мыча, точно от приступа боли.

— Это, товарищ начальник, один прокурор скажет.

Эльчибек пнул сапогом гравий под эстакадой, которая вела к кессону.

— Что ему сейчас угрожает?

Рабочие сгрудились вокруг, ожидая ответа. Мастер неслышно вздохнул.

— Хуже того быть не может, братцы... Молиться за него — авось пронесет... Видели, как он нас веселит? Утешает, понимаешь... Ах, очкарик, очкарик! Не нашей с вами силы. Это точно. Сильнее заломая человек!

Эльчибек, прихрамывая, пошел назад, к Лукмонче.

Лукмонча вышел из рекомпрессионной камеры через четыре часа, по виду вполне свежий. Он был сосредоточен и серьезен. Все молчали, ожидая, как он встанет и пойдет, что скажет.

Лукмонча сам, без помощи врача, легко поднялся на ноги и молча не спеша пошел. Шагнул раз, другой, третий, и ноги у него подкосились.

— С непривычки,— сказал он Эльчибеку и стал оглядываться: — Где Джуман?

— Я здесь, здесь.

— С непривычки,— сказал Лукмонча и ему.

Садбар была при этом. Не вскрикнув, она без чувств повисла на руках подхватившего ее Сангина.

Лукмончу на пикапе повезли в больницу. С ним поехал Эльчибек, шепнув на ходу Джуману:

— Немедленно телеграмму матери!

Садбар пошла с Джуманом на телеграф. Прижала к губам синий листок телеграммы и отдала его телеграфистке.

До позднего вечера не знали, что с Лукмончой. Но на обоих берегах Сазлыкская — и под водой, в обоих кессонах, и в штольне Капитальная, и на площадке рудодробильного узла — толковали о его самочувствии, и очень правдоподобно. Одни говорили: кружится голова, другие — мускулы дрожат, третьи — с сердцем неладно. Вернулся из больницы Давранов. Он сказал три слова:

— Жив. Паралича нет. — И ушел, отворачивая лицо.

Садбар повела Джумана в управление. За ними увязалась добрая половина жителей пятого и женского общежитий; расселись под освещенными окнами.

Джуман позвонил в больницу. Дежурная попросила его позвонить через часик. Позвонил через часик. Дежурная попросила позвонить к утру. Он справился: когда же человека можно навестить? Ответили: через несколько дней.

— Не раньше?

— Никак не раньше!

— А если друзьям?

— Никому нельзя.

— А девушке? Если девушке?.. — спросил Джуман.

— Не просите. Будет нужно — сами позовем.

Он положил трубку, взял руку Садбар.

— Через несколько дней. Слыхали? Паралича нет. Кто тебе сказал, что он помирает?

— Я пойду туда сейчас,— сказала она, отнимая руку.

— И что будешь там делать?

— Я пойду,— повторила она.

Больница была километрах в семи, близ обогатительной фабрики. И пикап и управленческий вездеход оказались в разъезде, подвести Садбар не на чем. Накрапывал дождь. Смеркалось. Ночью в больницу не пустят наверняка. Но Садбар не отговаривали. Пусть она идет. Она должна пойти. Послали Сангина ее проводить.

Ночь выдалась теплая. Подул душистый ветер, проврал пелену облаков. И показались звезды в небе и в горах. Они мерцали, подмигивали, то возникая, то исчезая, словно играли в прятки.

Сангин хотел сократить дорогу и увел Садбар далеко в сторону. До больницы добрались глубокой ночью, промокшие до нитки. Сапоги по щиколотку в грязи.

Постучались. Вышла немолодая сестра, маша руками, сердито шепча:

— Вы что же тут громыхаете, безобразники? У нас тяжело больной.

— Мы к нему, тетушка...

— Я вот вам задам тетушку! Озорники! Ступайте отсюда.

— А что он? Как он? Скажите одно слово.

— Спит.

И дверь закрылась.

— Спит, поняла? — сказал Сангин Садбар. — Что тебе мерещится? Пошли. Пока дойдем — и на работу.

— Я тут буду,— сказала Садбар.

В крыле здания Сангин нашел другую дверь. Здесь маленькую комнатку, разделенную надвое фанерной перегородкой, занимала милиция. Сангин привел сюда Садбар.

— Садитесь на скамейку. Диванов, подушек не имеем,— сказал дежурный милиционер, облокотился о стол, положил голову на руки и заснул.

Сангин ушел, сказав на прощание самое важное:

— Так ты смотри, если что...

Садбар не ответила.

Она не смежила глаз всю ночь. И всю ночь в голове ее тонко гудели телеграфные провода. Немедленно матери... телеграмма матери... Садбар так и не разобрала, что Джуман писал. А писал он долго. Ваш сын тяжело заболел, приезжайте. Сын в больнице, желателен ваш приезд. Как он написал? Дорогая мама, Лукмонча при смерти, летите на крыльях, на ТУ-104, чтобы поспеть его обнять. Ваш сын, единственный, любимый сын, наш Лукмонча, который писал вам каждую неделю, в воскресенье после чая, и относил письмо на почту к отходу почтовой машины на железнодорожную станцию, ни разу не опоздав.

Садбар не думала о том, что скажет Лукмонче и как объяснит свой приход, как совладеет со своей робостью и стыдом перед ним и со страхом перед его синими губами. Она хотела видеть Лукмончу. Она хотела остановить свое сердце, если оно остановится у него.

И она не боялась опоздать. Она знала, что увидит Лукмончу живого, прежде чем успеет приехать его мать. Она ждала, когда он проснется.

Едва стало рассветать, она вышла на улицу, тщательно вымыла в луже сапоги и встала у входа в больницу. Она стояла неподвижно, глядя в стекла двери, опустив руки. Платье, плохо подсохшее, холодило ей плечи, и она слегка дрожала.

Вышла сестра:

— Вы опять здесь? Нельзя, милая, не полагается, доктор меня уволит, если узнает.

Сестра пощупала рукав ее телогрейки.

— Господи, да что же вы делаете? Идите сюда, снимите это...— Она за руку ввела Садбар в приемную, стащила с нее проволглый ватник, сырую жакетку.— Садитесь поближе к отоплению, садитесь.

— Я постою,— сказала Садбар.

— Садитесь, вам говорят. Напишите записку. Вот бумага, перо...

Садбар села, медленно написала: «Лукмонча», и ручка вывернулась из ее окостеневших пальцев. По щеке сползала слеза.

— Не могу... Скажите ему, что я пришла.

— Что мне с вами делать? Хоть бы не было врача. Там он, всю ночь у постели больного, неотступно... Вот выпейте чаю, съешьте яблоко...

— Спасибо. Большое ему спасибо,— сказала Садбар и не прикоснулась ни к яблоку, ни к чаю.

Она просидела там, где ее посадили, до полудня. Сменились сестры, а она все сидела и смотрела на лестницу, по которой спускались и поднимались люди в белых халатах.

Подошла новая сестра и с ней сухошавый человек в роговых очках, как у Лукмончи. Садбар встала.

— Вас спрашивают со строительства. Секретарь комсомольской организации. Подойдите к телефону.

— Простите,— сказала Садбар,— а он... еще не пронулся? Он ничего не сказал?

— Проводите ее,— сказал сестре человек в очках.

Сестра дала Садбар белый халат и повела ее по лестнице на второй этаж. Отворила перед ней белую дверь в большую палату. Садбар быстро стащила с ног сапоги, сунула в голенища портянки и вошла в палату в носках, на цыпочках.

В ней был один Лукмонча. Он лежал на широкой кровати у окна, и изголовье его приподняли, чтобы удобнее было смотреть в окно. За окном вдали совсем рядом виднелся скалистый бок Ак-Таша, освеженный, омытый и расцветенный весной. Исчерна-зелеными свечами горели на нем ели.

Лукмонча лежал под несколькими одеялами, обложенными грелками, с кислородной подушкой, которую Садбар впервые в жизни увидела зимой на груди Рахманкулова. Кудрявая голова Лукмончи резко чернела на высокой подушке. Он был без очков. Против света Садбар не различала его глаз.

Она подошла поближе и застыла, прижав к груди стиснутые кулачки. Она разглядела его губы. Они были прозрачны. Такими становятся гранатовые косточки, когда из граната выжмут сок. Потом она увидела его глаза, серые, как пепел саксаула. Без очков они вдвое крупнее, и у них ищущее, наивно-доверчивое выражение. Но не было в них муки и нет тоски. В глазах Лукмончи ясный, чистый, спокойный свет, как в ранние сентябрьские сумерки над горным хребтом.

Он смотрел на Садбар, он вопросительно улыбался.

— Я знал... вы придете... я ждал... Видите, какой я. Даже неудобно... А вы как похудели! Здорово похудели. Вам — нельзя, нехорошо...

Он заговорил с ней первый, чтобы ей было легче с ним, но устал и умолк.

И тогда заговорила она, словно вдруг обретя дар речи и словно торопясь скорей высказать то, что давно копилось в душе и тяготило ее и что она могла открыть только ему одному:

— Вы самый хороший, самый сильный, Лукмонча... Я виновата, и кто мне поверит? А я всегда... вас любила. Можете смеяться, можете не слушать. Я все сгубила, сама растоптала... Но я всегда-всегда думала о вас. Это правда, Лукмонча! Вы мне скажете — это нехорошо. Но это так хорошо, так хорошо — думать про вас. И ничего, ничего мне теперь не нужно! Только чтобы вы были на ногах... и объясняли людям, какне витамины в пчелином меде. Только это!

Он смотрел на нее широко открытыми, словно настежь распахнутыми глазами. И они не скрывали от Садбар, что он думал, и ей трудно было в них глядеть. Но она глядела, с силой прижимая к груди кулачки и встряхивая головой, будто хлеща себя по плечам косичками, чтобы не показались слезы.

Перед Лукмончой опять стояла другая, новая Садбар, и между ними не было тайн и недомолвок. Он не хотел, чтобы она винилась, и не хотел, чтобы она заметила его торжество. Не очень-то это красиво — слушать о себе такие слова, столько слов, а он слушал и слушал и не берег ее скромность. Он заставил себя перебить ее.

— Садбар, Садбар... Я все понимаю. Ребята знают, кто вы для меня. Они, конечно, сказали: «Иди протяни ему руку, скажи, что ты любишь,— тогда он скорей встанет на ноги». Я понимаю. Вы добрая, вы им не отказали. Вы всегда были и будете честным товарищем. Ну что ж, давайте, давайте вашу руку...

Она подошла, с содроганием следя за его рукой, которая невысоко поднялась над одеялом, и горестно приникла губами к белой рубашке на его плече. Он слабо прижался щекой к ее затылку, и она почувствовала, как шевелятся его губы, но не осмелилась повернуться к ним лицом.

— Ты знаешь, мне мама говорила...— прошептали его губы, касаясь ее распушившихся волос,— отец мой умер весной... как раз, когда здесь цветут тюльпаны...

Она стшатнулась от него со сдавленным криком:

— Не надо! — схватила его руку и стала целовать ее часто и сильно, словно стараясь влить в него свою любовь и жажду жить.

Быстро вошел сухошавый человек в роговых очках и кинулся к Садбар, трясая руками и смешно выговаривая:

— Ни в коем случае! Чтоб этого не было! Не прикасайтесь к нему! — Он нащупал у Лукмончи пульс. — Где сестра? Где она? Я и вас и ее выгоню! Что вы тарашитесь на меня?

Садбар, не отвечая, вцепилась обеими руками в спинку кровати, и было видно, что ее не оторвешь от этой кровати никакими силами.

Лукмонча тихо смеялся.

— Ну, как мы? — спросил его врач, глядя поверх очков. — Ноги?

— Я уж и сам не понимаю, чувствую я их или нет... — ответил Лукмонча смущенно.

— Сегодня будет самолетом профессор из Ташкента. А пока будем мудры и будем говорить все, что мы чувствуем, без утайки! Условились?

— Я все говорю...

— Должен сказать: телефоны, дежурный и главного врача, скоро сутки работают исключительно на вас. Славно, славно! Много у вас друзей! Звонил Рахманкулов. Узнал, что вы в больнице, — встал с постели...

Вошла сестра, молоденькая, глядя на врача с таким же страхом, как Садбар.

— Принесите тарелку супа, — сказал врач сестре, — вот для этого упрямого существа. (Садбар виновато опустила глаза, но не отняла рук от спинки кровати.) Если не будет есть, выпроводите ее из палаты!

Садбар поела с большим усердием. Затем она рассказала, что было на Сазлыксае вчера, до того, как она ушла в больницу, изобразив в лицах Давранова и старшего мастера.

Лукмонча задумался.

— Слушай, подай мне вон ту тетрадь с тумбочки... — попросил он.

— А это что?

— Это так... мелочи жизни. — И он добавил, чтобы она не обиделась: — Могу дать почитать... тебе могу...

Тетрадь толстая, к ее клеенчатой обложке прикреплена ручка-самописки. Лукмонча развинтил ручку, от-

крыл тетрадь и стал медленно писать что-то с новой страницы.

Писал он долго, словно забыв про Садбар.

— Это стихи? — спросила она.

— Нет... что ты! Просто болтовня.

Он писал, а она с дрожью смотрела на его лицо, похожее на белую карнавальную маску, на его ресницы, прикрывшие словно погасшие глаза, длинные ресницы, совсем неживые.

Дописав, он выронил на одеяло ручку и как будто бы задремал.

К вечеру Давранов привез ташкентского профессора, важного полнотелого аксакала. Его с почтением встретил главный врач — тот, сухощавый, в очках — и другие врачи и сестры. Садбар вышла из палаты, села в коридоре на белый диванчик. Лукмонча дал ей свою тетрадь, чтобы не было скучно. Но Садбар так и не заглянула в нее. Сидела, прислушиваясь всем своим существом. Из палаты ничего не было слышно.

Вновь распахнулись двустворчатые двери палаты, и появился профессор со своей свитой. И когда он проходил мимо, Садбар слышала, как он негромко и твердо говорил Давранову:

— Прогноз? Не любитель я прогнозов, признаться. Предпочитаю диагностику. Острая декомпрессия, эмбол в сердечных сосудах. Однако... не будем терять надежды, не будем опускать рук — вот мой прогноз.

Садбар побежала было за ними, сестра удержала ее.

Приехали Джуман, Нафиса, Тиркаш — все комсомольское бюро. Их, оказывается, вызвал по телефону Давранов. С ними приехал старший мастер и еще многие ребята, тесно набившись в кузов грузовика.

К Лукмонче пустили самых близких. И Давранов строго-настрого предупредил в коридоре — о деле не заикаться. Старший мастер заартачился:

— Надо бы хоть словечко; что его никто не принуждал...

— Ни слова! — приказал Эльчибек.

— Будете потом каяться... Надо же от него самого... — буркнул мастер.

— Я не впущу вас, — сказал главный врач.

В палате пробыли пять минут, не больше. Подняли Лукмончу вместе с кроватью и показали ему в окно.

какая толпа собралась внизу. Ребята молча махали ему руками. Это походило на прощание.

Лукмонча взволновался:

— Неудобно, ребята, серьезно...

— Выздоровливай скорей. Ждем тебя. Без тебя не работается. Комсомольская работа встала... Бек подал в комсомол — до тебя разбирать не будем... Ждем, будь здоров, форсируй это дело...

Врач удалил всех из палаты. Сестра поднесла к губам Лукмончи горловинку кислородной подушки.

Эльчибек спускался по лестнице, ведя Садбар за руку. Лицо его было черно, точно покрыто копотью. Он постарел за одни сутки. И Садбар уловила чутким ухом его шепот:

— Что же ты натворил... мальчик мой!..

Когда спустились с лестницы, Нафиса громко охнула и прислонилась к стене, испуганно и стыдливо озираясь. Сангин заслонил ее от посторонних взглядов, поддерживая под руку.

Подросла сестра, подхватила Нафису. Та стонала, сдерживая крик.

— Неужто прежде времени? — спросила Оксана, отталкивая от Нафисы Сангина.

— В самую пору, в самую пору,— проговорила сестра и кивнула Сангину на закуток под лестницей. Там в углу стояли носилки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ночью, когда девушки спали, Садбар открыла тетрадь Лукмончи в клеенчатой обложке.

В тетради были стихи — сочинения Лукмончи школьных лет, два стихотворения Хамзы, «Левый марш» Маяковского, монолог Мцыри с комментариями на тему социального одиночества, отрывки изречений Демона с пометкой: «Нет, красиво, еще сильнее у Печорина!» Много было в тетради текстов песен. Целиком на отдельной странице Лукмонча поместил текст романа Шумана, видимо записанный на слух по радио и потому с неточностями:

Я не сержусь... Пусть больно ноет грудь...
Пусть изменила ты... Я больше не сержусь...

Но больше была проза: пространные выписки из технических справочников, цифры из сообщений ЦСУ за последние годы, кулинарные советы и астрономические курьезы из календарей, оценки кинофильмов и книг по пятибалльной системе, различные головоломки, задачки и вопросы такого типа: «Кто может одновременно стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать? — Часы.» или: «На какой вопрос никогда нельзя ответить честно: «Да!» — На вопрос: «Ты спишь?»»

Многие страницы в тетради занимали короткие цитаты из Кирова, Дзержинского, Калинина и Николая Островского. Выписывал Лукмонча смешные афоризмы — Насредина, Бернарда Шоу и даже Самади. Почти дословно он записал рассказ Джумана в вагоне о Гюльрез.

Были в тетради замечания о людях, знакомых и незнакомых.

«Учительница химии сделана из неорганической материи. Локти у нее заточены на конус и отшлифованы наждачной бумагой».

«Эйзенхауэр, Аденауэр — рифма политическая. Оба фашистауэры».

«Капитан танкера «Туапсе»! Я жму вашу руку. Да, им там сейчас трудней, чем челюскинцам на льдине».

«Берия носил пенсне. Не могу видеть этого приспособления на носу человека».

«Тракторист без обеих ног. Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. А я до сих пор не знаю его фамилии! Почему о нем нет повести о настоящем человеке?»

«Потчаев — подлец?» Позднее приписка словами Анны Карениной: «Машина... и злая машина!» Еще позднее: «Надо уметь разбираться в людях, товарищ Лукманов».

«Самади мне жалко. До сих пор носит «канаду». И не вдолбишь, что к его круглой голове больше идет под полечку. Жалко парня».

Много было в тетради вопросов к самому себе:

«Женская прическа: где ты была вчера в полночь? Мужская — нокаут? Окраска под седину?»

«Стиль плавания — «дельфин». Когда научусь плавать?»

«Срочно: белые карлики? Атомный вес? В каком они месте небесной карты?»

«Длина шеи у де Голля? Сколько позвонков?»

«В каком возрасте получу первый орден Красной Звезды? За что? На фронте, как отец? На Тихом океане, как Зиганшин? За спасение утопающего?»

«Кто отец Бека? Очень подозрительно».

«Что сейчас делает Мамлакат Нахтангова? Дети? Муж?»

Заметно участились записи после той страницы, на которой впервые появилась загадочная буква «С».

Садбар нашла в тетради это место и начала читать с него.

«Это про меня сказано: сколько он знает и ничего не умеет! Я уже знаю, что такое белые карлики, но совершенно не умею говорить с девушкой. Надо как-то научиться объясняться в любви. Пока что для меня это то же самое, что плавание стилем «дельфин», к примеру. Техника ясна, но...

Самади рекомендует метод, который он вычитал в одной комедии Шекспира, где участвует не то Розалинда, не то Розамунда. Метод такой: если не о чем с девушкой говорить, начинай ее целовать. Она, конечно, возмутится, что-то скажет, и будет о чем поговорить. Но этот метод не по мне. На нем лежит печать средневековья. Не хочется походить на первобытного человека, одетого в плащ и ботфорты.

Зоя писала в своем дневнике: «не давай поцелуя без любви». Изумительные слова. С!.. Я смотрю на нее как на Зою, хотя они совсем не похожи. Мне кажется, с Зоей я мог бы говорить без всякого Шекспира.

Упрек? Прости... невольный!

Но есть, есть во мне и первобытность — самая доподлинная. 1) В мыслях я тебя тысячу раз целую. 2) Я вовсе не хочу, чтобы про меня говорили: «Его любовь отвергли, он потерял мужскую гордость». Теперь ты понимаешь, насколько ты вправе смотреть на меня как на допотопного ихтиозавра».

«Говорят: палкой можно избить тело, а словом — ранить душу. И это верно. Я предпочел бы боль от палки. Но только ты плохо знаешь меня. Ветер гасит свечу, а пламя он раздувает».

Самади ходит за мной и рассказывает, как любил

Чернышевский свою жену Ольгу Сократовну, которая, мягко говоря... и так далее. Чуждой парень Самади. Он смеется надо мной? Разве можно высмеять любовь?

Он никого и ничего не любит. Поэтому он ниже своего собственного звания и назначения, как обезьяна ниже человека. Надо любить, Самади, любить, хотя бы как я... как Кимсан...»

«Действительно: для того чтобы осчастливить человека, нужна целая жизнь. А для того, чтобы сделать его несчастным, достаточно двух-трех вечеров. Такому, как Х., уворовать радость у человека так же легко, как уворовать деньги, убить птицу, растоптать цветок,— это для него забава.

Были варварские обычаи: отрубать руку уличному воришке, мазать дегтем ворота опозоренным девушкам. А что — тем, кто их позорил, тем, кто ворует честь, счастье?

Товарищи! Это серьезный вопрос».

«Что такое Халдар? Подумать спокойно. Легче всего на бумаге сажать его в лепрозорий или ставить к позорному столбу — на два часа, в полдень, ежедневно... Мстительная и мелкая мысль. Сегодня я подумал: насколько же я сильнее его! Почему это сразу не пришло мне в голову? Смотрел на его жирные кулаки и не догадывался, что мои кулаки куда тяжелее.

Ох, как я проучу эту скотину! Товарищи, это нужно».

«Не могу. Ты меня связываешь, С. Ты, маленькая, слепая, прикрываешь его собой.

Если я его ударю... ты?.. Заступишься за него? Этого позора я не смогу, не смогу... порвутся мои жилы...

Что же это? На моих глазах топят человека. Я могу его спасти. И я не спасаю».

«Сбежал. Увел Кимсана. Как просто! Немыслимо просто.

Сижу, точно буддийский идол, с множеством бессильных рук. Смеюсь и плачу.

Как я виноват перед тобой, С.».

«Мама, дорогая моя, я не пишу тебе этого и даже здесь боюсь написать: мне очень плохо.

Слухи, слухи, слухи. И все про нее. Где-то я читал, что строки Бедия (это старый поэт-философ, мама)

каждый трактует по-своему, один и тот же человек поймет по-разному. Так же я читаю сейчас эти слухи. Значит, так же можно читать и дела людские?

С тех пор, как я стал думать о Садбар, я и сам, кажется, начинаю походить на строку Бедиля...

Никакая школа, никакая книга не научит тому, чему учит жизнь. Кстати, и книги читать может научить только жизнь, и только она может научить читать людей.

Пишу это и думаю: а ведь я малограмотен! Читаю людей по складам.

Но, мама, ты не волнуйся, это чтение увлекательное.

Садбар, Садбар, прочитаю ли я тебя?»

«Рахманкулов больной, устроил мне экзамен насчет кессона. Странное впечатление. Знает про Садбар. Проявлял ко мне чуткость... И вообще жалко старика. Жил чуть ли не втрое дольше меня, должен быть «начитан». А не умел со мной говорить, вроде того, как я не умел с Садбар.

Интересно, правильно ли я прочитал этого человека? 1) Болен тяжело, но боится не своей болезнью, а здоровых людей. (Вот это да! Продумать!) 2) Работу понимает совершенно первобытно, примерно как Халдар девушку. 3) В личной жизни не имеет взаимности.

(Ну, тут я отчасти по слухам. Приношу свои извинения.) В итоге — три с минусом. Я бы ему, как говорится, своего ребенка нести на руках не доверил. Вопрос: можно ли назвать данного товарища коммунистом в полном смысле?

Отмечаю, что Садбар его не жалуется. Ухаживает, заботится, дежурит, но: «Пусть запомнит, как мы его лечили...» Ее слова.

Прочитал свой диагноз. Нотки самоуверенности. Рукой подать до самолюбования типа Самади. Плохо.

А Самади — черт. Постригся наголо... В кессоне он как рыба в воде».

«В жизни есть сладкое, есть горькое. Но сладкое приедается, соль — никогда! Кренкель, я читал, с Северного полюса, со льдины, посылал телеграммы: «Меняю килограмм шоколада на килограмм картошки». Одобрю!»

И прав дядя Володя: где какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче? Я не хочу жить без труда, без соли. Если мне случится пройти какой-то отрезок своего пути с легкостью порхающей бабочки, я вернусь и пройду этот отрезок сызнова.

Ты пойдешь со мной, Садбар?»

После этой записи шла пустая чистая страница.

Садбар вздрогнула, отдернула от тетради руки. Погасила лампу. Долго сидела не шевелясь, точно заворуженная, глядя на клеенчатую обложку, выбеленную лунным светом.

Луна, полная, оранжевая, коснулась черного гребня хребта и упала за него. Быстро занимался восток.

Садбар снова открыла тетрадь и принялась перечитывать те страницы, на которых находила свое имя. Она читала не плача, не вздыхая. Дыхание, казалось, замерло в ее груди.

И так она и не заметила последней записи Лукмончи, сделанной при ней, в больничной палате, после пропущенной страницы.

«Весна. Вижу по лицам Садбар и Э.Д. — я на волоске. Жду маму.

Признаться, удивлен тем, что услышал случайно от Садбар. Мой старший мастер считает: я психанул! Товарищи, это серьезно? Как-то не верится.

Я слышал грохот в грузовом отсеке. Некоторое время гул стоял в ушах. Это первое. Я слышал шипение — от туда же. Буду спорить: шипение сильное, если я его слышал. А шипит кессонная кобра, что еще? Утечка! Давление падает, вода идет в кессон. Это второе. Я не слышал здравого ответа на мои сигналы. Звал к проводу старшего мастера — он не подошел. Кричал? Но, товарищи, дорогие, шепчутся в иных обстоятельствах. Это третье.

Теперь — о чем я думал. О пловуне. Раз мастер не подходит к телефону, значит, не до меня. Или кессон входит в пловун, душит ребят. Дорогие секунды! Или перекос кессона на том же пловуне — двадцатидвухметровая нога ложится набок, валится. А это, мне кажется, страшнее землетрясения! Дорога каждая пара рабочих рук. Да, я за стальной стенкой, а Джуман, Климов, Самади,

Тура? Кто, скажите, запретит пловцу нырнуть за тонущим, будь на воде хоть сто спасательных лодок? По какому уставу и закону это не положено?

Не знаю, что думает в такие минуты псих. Я думал так: ну, проклятый заломай, если в тебе есть хоть капля благородства, ты от меня отступишься, по крайней мере, временно. Это четвертое.

Пятое. Кессон как таковой все-таки кустарщина, товарищи, старинка. Самая современная грузоподъемная, компрессорная, телефонная и даже медицинская техника обслуживает — что? Ручной труд! Внизу стоишь с лопатой, киркой, ломом. Куда это годится? Рабочие смены по полтора часа. В шлюзовой камере остается только установить телевизор. Производительность просто ползучая.

Когда я работал на вибраторе, я кое-что подчитал. Существует же прекрасная, новая, умная и простая вибрационная техника забивки свай! Не какая-нибудь толстая тупая «баба» заколачивает их своим дурным весом, ухая, как свинья. Небольшой аппаратик держит сваю за голову и посредством вибрации загоняет ее на любую глубину. Дешево и страшно сердито. Продумать этот вопрос.

Шестое. Мама, я усыновлю ребенка Садбар, если она не против. И пусть имя мальчика или девочки будет Ядгар... прошу вас, мама! Говорят, Рахманкулов поднялся с постели, узнав, что со мной. Но он болен, мама, я здоров. Приезжайте, я познакомлю вас со старшим мастером. Он наш земляк, родился в Бухаре. Он мой учитель».

Здесь самописка выпала из руки Лукмончи на одеяло. Здесь он задремал.

Садбар! Садбар! Приди в себя... Переверни пустующую страницу, прочти последнюю запись и напиши следом за ней от себя:

«Лукмонча, милый, я читала, что ты тут написал, я читала.

И когда я читала, я думала о рядовом Матросове, который прикрыл собой амбразуру дота, о рядовом Матросове».

Напиши так, Садбар.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

У этого города еще не было кладбища. Он был юн, и его строили молодые. За два года здесь не случилось похорон.

Нынешней весной у этого города появилась первая могила. Архитекторы показали, где ее поместить.

На дальнем предгорье, с которого были видны и Ак-Таш, и Сазлыксай, и город, нашли скалу с маленькой пещерой. Пещеру углубили, получился тесный склеп. В него поставили гроб и замуровали вход. В серую грудку скалы, облитую бетоном, врезали небольшую мраморную доску.

На молочно-белом мраморе любовно написали одно слово: «Лукмонча». Ниже каменщики выбили даты рождения и смерти.

Сотни людей вышли проводить его в последний путь. Огромный ЯАЗ, вымытый до блеска струей из шланга, обтянутый по бокам красным и черным, вез гроб. Шофер слегка приподнял кузов, чтобы провожающим была видна кудрявая голова покойного, убранный тюльпанами, и казалось, что ЯАЗ несет его на торжественно поднятой железной ладони.

Мощная машина то и дело отрывалась от колонны провожающих; уходила вперед на пять-десять шагов и притормаживала, печально урча. Гроб подрагивал на ладони кузова, и тело покойного покачивалось в гробу, точно во сне, в продолговатой люльке.

Впереди машины не несли шелковых подушек с орденами. Покойный был очень молод и не имел наград. За машиной следовал самодеятельный духовой оркестр, который умел играть танцы и еще не разучил похоронный марш. Шопеновский «Фюнебр» репетировали в последний день, пока готовили могилу. Играли нестройно. В конце колонны слышны были только удары барабана и хрипучее уханье труб.

Самади нес в руке полупроводниковый приемник. Не то из Фрунзе, не то из Алма-Аты ему удалось поймать симфонический концерт — Патетическую Чайковского. Ее слушали всю дорогу до скалы с пещерой. Долго со стороны флотационного корпуса доносился пронзитель-

ный визг дисковой пилы — ветер то усиливал его, то относил в сторону, и временами чудилось, что вдали в голос причитает плакальщица.

Впереди провожающих шла маленькая Садбар с распухшим от слез лицом, в черном платке, точно вдова. С ней рядом шли другие девушки-комсомолки, все, кроме Нафисы,— тоже в черном. точно осиротевшие сестры. Многие всхлипывали. Оксана часто сморкалась в крошечный кружевной платочек. Хумахон, низко опустив голову, несла букет полевых цветов.

Мать не приехала. От нее не пришло ни телеграммы, ни письма. Возможно, она задержалась в пути.

Не было и Ульяны Басовой, уехавшей в отпуск на Байкал.

За девушками шли мужчины, рабочие, инженеры со всех участков.

Шел Эльчибек Давранов, заметно хромая и думая о том, что на его долю пришлось быть свидетелем гибели и сына и отца Лукмановых. Старший пал на огневой позиции, младший перестал дышать в больничной палате. Они могли бы еще жить, долго жить и умереть дома в постели от старости, но жизнь бойца короче обычной на много лет.

Шел за гробом Джуман Сариев, смотрел на руки покойного, большие, рабочие руки, сложенные в последнем пожатии, на голову его с выпуклым чистым лбом и закрытыми глазами и стыдливо морщился, сдерживая слезы, а сердце его было полно горькой гордости. Он был этому юноше первым другом.

Шел Самади, слушал величавую траурную музыку и представлял себе, что это хоронят его после небывалой катастрофы на Сазлыксае, во время которой он спас сотни людей. Его везут в скальный склеп, и все радиостанции Союза передают знаменитые марши и реквиемы.

Потчаев шел справа от Самади и толкал его локтем, когда тот запускал приемник на полную силу. Кимсан шел слева, смотрел на Садбар, сравнивал ее со своей Султанпашой и думал, что платят на кессонных работах огромные деньги, но все же хорошо, что его не пустили под воду.

Шел Тиркаш Заманов, распахнув на груди починенную Адолят телогрейку и думая о том, что не видать ему Адолят, как Лукмонче не видать Садбар.





Шли Сангин, Климов и Тура, перешептываясь. Тура тыкал большим пальцем себе за спину, на бадью, которую везли позади. Он беспокоился, не застынет ли бетон, пока процессия дойдет до могилы.

И только Рахманкулов ехал в кабине ЯАЗа. Это, впрочем, понятно — человек еще не оправился от тяжелой болезни.

Гражданская панихида была недлинной. Джуман открыл ее скромными, простыми словами. Сказал, кого провожают. Сказал, почему собралось столько народу и за что любили Лукмончу и будут его вспоминать. Выступали больше комсомольцы. Впервые с зимы взял слово Потчаев, говорил сдержанно и сердечно, хотя и многословнее других. Старший мастер первого кессона сказал, что Лукмонча готовился вступить в партию и он предложил парню свою рекомендацию к концу года, когда исполнится уставный срок. К сожалению, Лукмонча ушел из кессона... но ушел коммунистом.

Вышел к открытой могиле Рахманкулов, трудно дыша от сердечной слабости. Так же трудно он подбирал слова, чего за ним прежде не замечали, и в словах его был подспудный смысл, намеки, которых лучше бы не было. Сказав, он вернулся к ЯАЗу, с усилием поднялся в кабину и сел на мягкое сиденье, отдуваясь.

Давранов не выступал.

Заложили камнем пещеру с гробом, залили бетоном, вмazали в него беломраморную доску, разгладили швы чистым мастерком. Духовой оркестр сыграл «Интернационал».

— Ну вот,— сказал старший проходчик Бабамурат, огладив свои седые усы жестом омыwania,— вот теперь и у нас есть свой семейный мазар...

Самади переключил приемник на ташкентскую волну. Было шесть тридцать по-ташкентски. Столичная рация передавала репортаж со строительства на Ак-Таше. В репортаже содержались новости примерно недельной давности. Упоминались имена строителей, горняков, мостовиков. Между прочим, радиоголос сообщил, что начальник СУ-4 продолжает руководить работами и прикованный болезнью к постели.

— Разбей эту игрушку о камень! — крикнул из кабины Рахманкулов и с треском захлопнул дверцу.

ЯАЗ тронулся и стал разворачиваться в обратный путь. В его высокий кузов на ходу, подсаживая друг друга, полезли рабочие, которые пришли со строительства жилых кварталов в глубинке, за Ак-Ташем, — им предстояло возвращаться дальше всех.

2

Сангин прибежал в больницу в поту. Словно назло, не попалось ни одной попутной машины, все шли навстречу.

Медицинская сестра приняла его как нельзя более строго. Подавая халат, она доставила себе удовольствие, сделала молодому человеку веселое внушение:

— Где же вы пропадали, уважаемый? Жена в таком положении... а его — ни слуху ни духу! Люди в таких случаях отпуска берут, днюют и ночуют под окнами. Интересно на вашего брата посмотреть, у вас в глазах — непонятно даже, какие такие мысли.

— А что? А что? — тревожно спрашивал Сангин.

— Что? Рождается ребенок, рождается отец! Поздравляю... четыре кило триста... джигит. Поскольку вы один у нас такой и роженица одна, ладно уж, идите.

Сангин подошел к стулу и сел, и сестра поняла по его дрожащим, перекошенным губам, где он замешкался в такой важный для себя день.

«Рахимджан, Рахимджан...» — думал Сангин, называя своего первенца именем Лукмончи.

Сестра легонько похлопала его по плечу. Он стер с угла глаза слезу.

— Она будет спрашивать, — предупредила сестра.

— Я знаю.

— Смотрите, ей нужно кормить...

— Я понимаю.

Сестра поправила на нем халат, дала ему свой гребень — причесать волосы. И повела к Нафисе.

И вот он увидел ее, юную мать, утомленную, но прекрасную, с просветленными мукой и радостью глазами, увидел новорожденного, мирно спящего со сморщенным, сердитым личиком, так мало похожего на Рахимджана... Этому крохотному незрячему человечку предстояло жить сто лет и сто лет сажать цветы у скалы с мраморной доской.

Кем он вырастет? Как пойдет по полю жизни? Как понесет великий груз, который нес Лукмонча?

— Видите, видите, он на меня совсем не смотрит! — проговорила Нафиса капризным, стонущим голосом, и Сангин узнал интонации девочки-школьницы Нафисы, уверенной, что в ней души не чают.

— С сыном тебя, родная Нафис,— пробормотал Сангин, наклоняясь, чтобы поцеловать ее.

Она отворачивалась, подставляя ему щеку, плечо, руку.

— Нет, ты скажи мне, где тебя носило целый день? Чем ты хоть занимался с утра до заката? Как ты мог вытерпеть, не видя меня, не зная, что я тебе подарила? Нет, погоди, ты признайся... говори!

— Нафис... сам не знаю, не помню... Голова идет кругом, поверь. Дай я тебя обниму...

Она оттолкнула его:

— Как ты можешь не знать! Как ты можешь не помнить! Что ты мне говоришь? Ты просто обманываешь меня. Значит, ты всегда меня обманывал? Теперь я вижу по твоим глазам! Боже, до чего я глупа! Ты такой же, как и все... все мужчины, деды и прадеды. Вы интересуетесь женой только до родов.

— Нафис, успокойся, не сердись,— твердил растерянный, расстроенный Сангин.— Я не мог... Если б я мог! Я тебе сейчас принесу слив, яблок...

— Принесешь? Ты... принесешь? И у тебя поворачивается язык. Будь спокоен, мне ничего от тебя не надо, у меня все есть. Вот эти тюльпаны... смотри! Чужие люди, посторонние... администрация больницы...

Нафиса заплакала. Он стоял мигая, разводя руками, подавленно оглядываясь на сестру.

Давно забытые и такие привычные ссоры Нафисы с любимым возобновились, а он никогда не отличался находчивостью.

— Мамаша, мамаша,— вступалась сестра,— могу вам сказать со своей стороны: молодые отцы в первый раз всегда такие, все такие, как один, точно по заказу! Я вам могла бы это заранее предсказать. Если бы с вашим беднягой было не так, я не поверила бы, что он счастлив. Вот тогда бы я заподозрила обман! Удивительно, но, как правило, как правило...

Лицо Нафисы чудесно посветлело. Слезы лились из ее глаз, но уже блаженные.

— Милый мой... я не знала... Что же ты меня даже не обнимешь? Посмотри, какой у нас... посмотри, только чтобы я видела твое лицо. Правда, необыкновенный?

— Рахимджан... — прошептал Сангин и сжался испуганно.

Но лицо Нафисы было спокойно и радостно. Она не помнила имени Лукмончи.

3

После полудня приехала мать Лукмончи.

Она оказалась совсем не такой, какой ее представляли. Высокая, с плавной и величавой походкой, с лицом без морщинки, с задумчивыми светло-серыми глазами. В них светилась мягкая грусть, нерастраченная молодость. Посмотришь на такую женщину и подумаешь: ей — тридцать и она никогда не постареет.

По голосу ее, полному и звучному, можно было угадать в ней воспитательницу детского сада. Звали ее Джаннат.

Эльчибек и Джуман встретили ее на железнодорожной станции. Повезли мимо эстакады на Сазлыксае, мимо дамбы под Ак-Ташем, мимо стен ТЭЦ, мимо клуба и жилых кварталов и повсюду говорили:

— Это он строил. Это он строил.

— Вы правду говорите? — спросила мать.

Эльчибек и Джуман переглянулись, словно говоря: «Можем ли мы тебе сказать неправду?»

— Мы вам покажем парня по имени Самади. Мы вам покажем девушку по имени Садбар, — ответил Джуман. — Их он тоже, можно сказать, строил. И, как говорят каменщики, вывел под крышу. Никто не сделал для Самади и Садбар того, что сделал он, ни в семье, ни в школе. Заверяю вас. Вы спросите нашего главного — Рахманкулова, уже немолодого человека... спросите: какой след в его памяти он оставил? Младших, старших спросите: кто такой Лукмонча?

— Это правда? — снова спросила Джаннат.

Ее привезли к могиле, и там, глядя на мраморную доску и плача, она сказала:

— Где похоронен отец, мы и не знаем...

— Где-то под Псковом,— сказал Эльчибек.

— Лукмонча...— шептала мать, касаясь пальцами букв на мраморной доске.— Рахимджан...

Ветер шевелил пряди волос на ее висках, слегка вьющиеся, с редкими сединками.

Здесь, у могилы, Джуман и Эльчибек рассказали ей все, что знали о любви ее сына к Садбар.

— Какая она из себя? — спросила Жаннат, утерев концом косынки щеку.

Джуман вынул из кармана папиросы, Эльчибек распахнул пошире пальто. Оба были в затруднении.

— Маленькая...

— Быстрая такая...

— Несчастливая! — проговорила мать, печально качая головой. — Как рано у нее горе! — Потом добавила: — Он писал мне о ней один раз. Я поняла, что он скрывает что-то нехорошее, но она... эта быстрая... видимо, ему на роду написана. Отец его был такой же, верный.

Они пробыли у могилы, сколько ей хотелось, и опять поехали мимо строительных площадок, угадывая ее желание. Она расспрашивала, где что сооружается и есть ли тут друзья ее сына. Джуман нахмурился:

— Друзья? А вы их не видите?

Вездеход был открыт. Водитель притормаживал или останавливался на минуту у котлованов и стен. И люди, прервав работу, со всех сторон смотрели на вездеход, на моложавую женщину, сидевшую у ветрового стекла. Все понимали, что это мать Лукмончи. И потому, как на нее смотрели, молча, строго, неприметно толкая друг друга локтями, по тому, как утихал шум, задерживались поблизости самосвалы и замирали в воздухе огромные стрелы кранов, словно салютуя, поняла и Жаннат, кого в ней узнавали.

На гигантской упорной стене рудодробильного узла стоял русский паренек с двумя пышными тюльпанами за ободком кепки. Он прикрепил цветы к блоку, на котором висел крюк крана, и показывал флажком крановщице, кому они... Крановщица медленно опустила цветы около вездехода — далее недоставало стрелы. Водитель выбежал, снял тюльпаны и отдал их матери.

На могиле она плакала меньше. Теперь слезы не переставая катились из ее глаз.

Ее повезли в столовую, настояв, чтобы она закусила после дороги. Она не могла и не хотела есть, но не отказалась, чтобы не обидеть. И пока она выпила стакан чаю, многие, проходя мимо ее столика, негромко здоровались с ней, кланялись низко, а старшие пожимали ей руку обеими руками или прикладывали руку к груди в знак высшего почтения и молчаливого сочувствия. Некоторые говорили ей два-три слова, и она слышала:

— Наш... наш... Лукмонча...

Вбежал в столовую Самади, озираясь и громко шепча:

— Где она?

Увидел ее за столиком, подошел, остановился в полутора шагах, снял модную кепку со стриженной головы и сказал:

— Я Самади. Я думал, что меня... сам дьявол не пострижет! Он постриг. Я пес и шакал перед вашим сыном, это установлено нотариально...

— Милый вы мой! — проговорила Джаннат, встала и обняла его. — Я вас сразу узнала...

Подошел юноша с черным пушком на верхней губе и ткнул себя пальцем в грудь:

— Я Бек.

— Спасибо, — сказала мать, протянув ему руку.

Тогда из-за столиков, бросая обед, стали подниматься ребята. Вскоре Джаннат окружила тесная толпа. Рослая светловолосая девушка возвышалась над всеми. Мать посмотрела на нее и спросила:

— Оксана-батыр?

— Я, — отозвалась Оксана нежным голоском. — Как же вы угада-али?

— А меня вы знаете? — спросила смуглая девушка с темным румянцем во всю щеку и гордым взглядом.

— Да, конечно, — ответила мать, — но глаза у вас стали иные, да? Вы — Адолят... Я тоже, как он, за вас рада...

Крепкий парень с шапкой кудрявых волос протиснулся поближе к матери:

— Простите, я только одно скажу... У меня сын родился — Рахимджан... вот такой маленький Рахимджан...

— Сангин! Нафиса! — воскликнула мать и впервые улыбнулась сквозь светлые слезы. — Я привезла гранаты. Отнесите ей...

Однако Сангину не дали ходу. Джуман потянул его за рукав, и тот с неохотой отступил. Самади в сторонке стал ему внушать, что гранаты от Нафисы не убегут.

Девушки завладели матерью и повели ее в свое общежитие. Ей предложили прилечь, отдохнуть.

— Тут у вас шумновато будет, пожалуй,— заметил Джуман.— Если желаете, там отведена комнатка в общежитии прорабов...

Джаннат села в раздумье. Затем вопросительно оглядела девушек и поманила к себе Оксану и Адолят:

— Приведите ее...

Она была здесь. Она сидела у углового окна, спиной ко всем, дрожа и судорожно сжимая кулачки на груди. Оксана позвала ее, и она подошла, не поднимая глаз.

Джаннат, обронив косынку, поднялась ей навстречу, протянула руки:

— Доченька...

Садбар вскинула голову, взметнула косичками, порывисто бросилась к ней.

— Мамочка! — Остановилась на полпути, прижав кулачки к губам, глядя и на мать, и на подруг, и на мужчин со страхом и горькой тоской.

— Что нам стесняться друг друга и людей? — проговорила мать, идя к ней.— Доченька моя... Здесь мы все родные... Но нам с тобой горше всех.

Они обнялись. Их оставили вдвоем.

4

Ребята из пятого и девушки посоветовались и решили пригласить мать пожить с ними, пока ей это не наскучит. На следующий день к ней пришла делегация от комсомольского бюро.

— Милые мои, не упрашивайте,— ответила Джаннат.— Мне трудно с вами расстаться. Останусь, пока не прогоните... А денег мне не нужно. Понадобятся — попрошу.

Каждое утро она посещала могилу и находила у нее живые цветы. Потом шла на строительные площадки, дивилась тому, что видела, и жаловалась:

— Пешком за один день не обойдешь. За сколько дней можно все обойти?

— За сорок дней и ночей,— отвечали строители.

И была у нее и у ребят маленькая радость. По местному радио объявили, что подсох и готов к заселению первый многоквартирный пятиэтажный дом в юном городе.

Рахманкулов вызвал к себе Сангина, взял из рук Самандарова ордер и кивнул на ведомость:

— Распишитесь в получении. Первую квартиру в первом доме даем вам, поскольку вас теперь трое! Квартирка однокомнатная, но с большой кухней, со всеми удобствами. Можно варить плов, можно принять ванну. Газ, мусоропровод и все такое, включая телефонный кабель. Просьба единственная: наследника долго в колясочке не держать — стройке нужны работники. Распишайтесь!..

Сангин расписался, схватил ордер и, наскоро поблагодарив, бросился бежать к двери.

— Эй, приятель,— окликнул его Рахманкулов,— гонятся за тобой, что ли? Я замечаю, на новоселье не зовешь?

— Ну и молодежь! — сказал Самандаров, цокая языком.— Право, руками разведешь!

— Я... прошу вас, от себя и жены..— смущенно выговорил Сангин и, запнувшись, сузив глаза, повернулся к Самандарову:— А вы... потише насчет молодежи! Вы ей не судья!

— Ну, молодой человек...— начал Самандаров важно.

— Я знаю, что я молодой,— перебил Сангин с неожиданной твердостью,— а вот я стал отцом... но что-то не слышал ваших поздравлений. Так что не вам, а мне разводить руками.

И Сангин ушел, вежливо поклонившись начальнику управления и крепко хлопнув дверью.

— Все вы мне портите,— сквозь зубы проговорил Рахманкулов.— Это вам не сезонник... знатный человек!

— Виноват, поправлю, бегу,— пробормотал Самандаров.

Он догнал Сангина и предложил ему в качестве мировой послать трехтонку — за мебелью в Ташкент.

— Получите отпуск на обзаведенье. Закупите — привезете. Дам записку директору фирменного магазина, минутное дело.

Сангин рассмеялся.

Мебель купили в районном центре по ту сторону Сазлыкская: скромную кровать, круглый стол, небольшой платяной шкаф, хорошие стулья. Там же достали и кухонную утварь, столовую посуду и колясочку для Рахимджана. Подвезли к реке и перенесли на руках по наплавному мостику на свой берег. Рук оказалось больше, чем требовалось.

В новом доме было все же сыровато, хотя батареи под окнами в квартирке Сангина пылали жаром. Расставляя мебель, ребята критиковали и то и это — и рисунок обоев, и полы, и наружную электропроводку... Когда же прибавились начисто, огляделись — притихли и примолкли. Хорошо!

Джаннат уже побывала в прежней фанерной спальне Нафисы и теперь хлопотала на новоселье. Сангин устраивал все, как она велела. В душе он предвидел, что Нафиса все изменит, переставит, переложит, перевесит по-своему, как он и вообразить себе не мог. Но это будет еще один праздник.

Нафису с ребенком привезли на готовое... Она не знала, куда ее везут, и, увидев новый дом на новой улице, новый тротуар и новую лестницу, новую свою квартиру с новой мебелью, так всему удивлялась и так радовалась, что начинало щемить в горле. Девушки то и дело подносили платочки к глазам.

— И чего вы ревете, глупые вы курочки? — недоумевала Нафиса.

Она не знала о том, что случилось с Лукмончой. Она считала, что он в Ташкенте, лечится.

Сангин взял у нее из рук ребенка и подвел ее к Джаннат.

— Как мои гранаты? Понравилась? — спросила Джаннат, поздравляя ее и целуя.

И Нафиса невольно отодвинулась от нее.

Нафиса не сразу смогла понять простое слово «умер». А когда поняла, села у нового стола, покрытого дареной скатертью, оперлась о него, обессиленная и погасшая, сказала:

— Ничего мне не нужно.

Заплакал ребенок. Нафиса повернула голову на его голос, посмотрела на ребенка и на мужа безразлично и еще раз сказала, что ей ничего не нужно.

Ее не утешали. Но ребенок кричал, пришло время его кормить. Джаннат подошла, подняла Нафису, отвела в угол комнаты, усадила на кровать. Взяла ребенка, положила на колени и стала окликать ее, нежно, горестно и требовательно:

— Мать... мать...

Мужчины отвернулись. Ребенок затих.

Еще дотемна заглянул на новоселье Рахманкулов, принес три бутылки шампанского и сказал, что некогда в этих местах в эту пору слышали только вой шакалов, а ныне мы слышим плач новорожденного и смех счастливой матери... Откупорили шампанское, чокнулись с Рахманкуловым. Стоя выпили из чайных стаканов за неимением бокалов. Он торопился и сообщил, извиняясь, что вечером придут важные люди из столицы, ему их принимать, поэтому на веселый той он прийти не сможет.

Он ушел. Едва утихли его шаги на лестнице, вбежала запыхавшаяся Садбар и еще в прихожей закричала, хрипло дыша:

— Что он здесь делал? Что здесь делал этот человек?

Затем она рассказала, что видела в управлении новый, только что отпечатанный на машинке, приказ: Эльчибек Давранов отстранен от работы. Вечером ждут прокурора и следователя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

Смутное раздражение накапливало в Рахманкулове. Он переставал понимать, что вокруг него происходит, отказывался понимать!

Он ни с кем не советовался, подписывая приказ о Давранове, ни в управлении, ни в парткоме, но никогда не чувствовал себя более правым. Нельзя же забывать, что при аварии погиб человек,— случай из ряда вон выходящий.

Помня о своих слабостях, Рахманкулов следил за собой, держался на редкость обходительно и готов был объясняться со всеми и каждым, хоть с первым встречным. Он ожидал, что сбегутся дружки Давранова, дружки

и соучастники, поднимут шум, прикрывая, оправдывая инженера, а тем самым себя... А он, Рахманкулов, будет им терпеливо, беспристрастно разъяснять, что законность есть законность и что ответственность нужно нести мужественно.

Строго говоря, он никого не винил — это дело следствия. Он работал и при общей растерянности и расстроенности нашел время и мобилизовал себя — выдал первый ордер на жилье, посетил первое молодежное новоселье. Очередность этого вселения, кажется, никто не оспаривал? Чем же еще можно его упрекнуть?

Так он думал ранним весенним утром, когда Хумахон вывесила приказ по управлению. Но ничего похожего на то, что он ожидал, не случилось. Растерянности он не видел, не усмотрел и особенного беспокойства. Казалось, что приказ никем не замечен или молча принят как должное. Ни одно решение Рахманкулова не встречало такого полного понимания, обычно они вызывали споры...

Явился Давранов, замкнутый, словно ушедший в себя, угрюмо-сосредоточенный, как все последние дни.

— Кого же — моим преемником? — спросил он. — Опять Казимова? Советую — Сариева Джумана.

Рахманкулов встал и вышел из-за стола, покачиваясь и разводя руками, точно спешил обнять Давранова:

— Вы должны понять, что вот уж это... это никак невозможно! Вы сами на моем месте...

Давранов ушел, не дослушав. Рахманкулов повернулся и треснул кулаком по столу.

С молодежного участка, из комсомольского бюро никто не показывался. И вообще с утра в приемной ни одного просителя, ни одного жалобщика. В управлении тишина, будто оно обезлюдело. По коридорам ходили, умеряя шаг, бесшумно, как в доме покойника.

Рахманкулов стал вызывать к себе инженеров управления, начальников других участков. Он выслушивал их с отменно-деловым вниманием, делал замечания без запальчивости, обдумывал возражения спокойно. И видно было, что людям нравился его уважительный и подчас ласково убеждающий тон.

Но едва Рахманкулов походя касался своего приказа, люди менялись на глазах. Они становились необыкновенно любезны и торопливы:

— Так я вам больше не нужен, Субханкул Рахманкулович? Позвольте быть свободным... Заверяю — сделаем в срок, будьте совершенно спокойны!

Молодой задиристый инженер-плановик, который любил высказываться на собраниях и совещаниях с репликами, лестными начальству, явился со сводками, но, против своего обыкновения, не внес их в кабинет, а передал через Хумахон.

Рахманкулов окликнул его из-за фанерной перегородки. Тот вошел с озабоченным видом и прежде всего осведомился о здоровье начальника. Лицо инженера было плоско-вежливо. Рахманкулов чуть не вспыхнул.

И, может быть, впервые за год работы под Ак-Ташем он спросил, каково настроение у людей. Плановик, не задумываясь, бойко ответил излюбленными словами самого Рахманкулова:

— Наше настроение в этих сводках!

В другое время Рахманкулов был бы польщен. Сводки хороши. Читай да радуйся. Но он рассматривал их с деланным интересом, натянуто улыбаясь. В бойкости плановика он улавливал насмешечку.

Казимов, временно назначенный начальником участка, пришел с жалобой. Тихий, незаметный работяга, обычно покорный своей судьбе и указаниям начальства, на этот раз возроптал:

— Я у вас вроде громоотвода, Субханкул Рахманкулович. То сами треплете на всех планерках, то подставляете под нарекания людей. А я ведь живой человек, у меня семья, куча детей... Я прорабом больше зарабатываю! Мне тоже... и перед женой неудобно...

— Ну-ну-ну, выручайте! — проговорил Рахманкулов, немало удивленный его неожиданными доводами. «Живой человек», «больше зарабатываю»... — Обновите коллектив — и все в порядке. Я вам подкину рабсилу, старых, опытных кадровиков. Расставьте их на узкие места, особенно на мосту. Подкрепите, подмените молодых. Я вам помогу.

— Нет, — вдруг заявил Казимов, — извините, ничего менять, подкреплять, обновлять... не буду. На это дело ищите другого!

Рахманкулов дружелюбно похлопал его по сутулой спине:

— Опасаетесь? Я отвечаю. Валите на мою голову!

— Нет,— повторил Казимов, уклоняясь от его похлопывания,— я не опасаясь. Наладить надо суметь, а испортить — захотеть... Я портить не желаю... не берусь. Извините, но вот так!

Казимов говорил сварливо, еще несколько раз извинился и ушел скучный. Его Рахманкулов мог по крайней мере понять. Человек нервничал, комсомольцы его запугали... Что ж, Рахманкулов и сам с утра начеку. А другие?.. Что на уме у других?

Самандаров опять приходил со знакомой кожаной папкой; он держал ее ребром на коленях, на виду, показывая, что в любую минуту готов ее открыть, стоит Рахманкулову мигнуть... И он что-то нашептывал про некоего Джаббара, бывшего в немецком плену, отпущенного из мест отдаленных по амнистии: фигура подозрительная, недаром унес ноги со стройки загодя, без шума, как только нарвался на бдительное око Самандарова. Следователь должен знать подобные факты, скрывать их тоже преступно... Шепот Самандарова, казалось, выползал из всех углов кабинета.

Тошно было слушать этого красноногого, тонкогубого дельца. Рахманкулов и не слушал его. Хлопнул ладонью по столу, крикнул на Самандарова. Но надо же кого-нибудь слушать!

Ближе к полудню Рахманкулов не выдержал и позвонил в партком. Ахмеда Хусейна не было на месте. Где он? «У вас...» Конечно, он на мосту. Он рядом, а к другу, однако, не зашел. Обходит начальника управления секретарь в такой ответственный час. Подняться самому, найти его? Ноги не слушаются. Послать за ним? Сегодня это невозможно — не следует дразнить гусей...

Хумахон принесла чай и между прочим заметила, что она возмущена. О, как возмущена!

Рахманкулов прикинулся, что занят бумагами.

— Чем это вы так возмущены?

— Вот всем этим...

Рахманкулов с фальшивым удивлением поднял голову. А Хумахон стала говорить о том, что на свете есть люди недальновидные и смешные, которые ни в чем никакой меры не знают, ни с чем и ни с кем не считаются, не дают покоя ни себе, ни другим, пока не доведут до беды и себя и своих близких. Люди эти ничем не дорожат — ни

старым другом, ни верной женщиной, ни деньгами, ни положением. Потому-то они и не берегут ни своей, ни чужой головы. Таков, например, Давранов. Это попросту сумасброд, хотя некоторые простодушные юноши принимают его за творческую личность, а иные дамы готовы боготворить. Последним можно только сочувствовать.

Еще Хумахон сказала, что она пятнадцать лет секретарь-машинистка, но впервые видит такое неприличие со стороны служащих управления, как сегодня, в ожидании прокурора...

Рахманкулов поймал себя на том, что слушает ее с большим вниманием. Ему было приятно и стыдно, ибо он слушал женщину, которая не стояла сочувствия, слушал и не мог ее прогнать.

А между тем прокурор не приезжал. Рахманкулов так и не дождался его вчера, когда не пошел на той к молодым и допоздна настраивался беседовать со строгим гостем. Тщетно ждали его в управлении и сегодня.

Унылое сомнение прокрадывалось в душу Рахманкулова. А может, все это ложная тревога и следствия не будет? Поторопился начальник с приказом? Выскочил прежде времени и без нужды...

До ночи, а затем до утра не смежив глаз, Рахманкулов мучился, терзал себя вопросами: как это он, старый дурень, вдруг метнулся и клюнул на частный, неофициальный звонок из Ташкента? Не разыграл ли его кто-либо голосом Холмата Юнусовича, доброго приятеля его жены, покровителя из треста? Кто мог подложить такую свинью? Злые, злые люди кругом и повсюду...

2

Утром он вздохнул с облегчением: прокурор прибыл! Но странное дело — прибыл он словно бы тайком. И начал не по чину. Начальнику управления не представился, вообще в управление не заглянул, устроился в клубе, в уединенной комнатке за сценой, без телефона, настольной лампы и прочих удобств. То ли очень скромный человек, простак, то ли настроенный до крайности предубежденно. Рахманкулов не знал даже, один он приехал или со следователем, как предполагалось. Возможно, он хотел

сразу запугать... Кого? Он не мог не знать, что в день аварии Рахманкулов лежал больной, в постели, а встав, немедленно принял должные меры.

Вместе с прокурором, в одной машине, приехала Ульяна Басова. Накануне она прилетела в Ташкент с Байкала. Отпуск ее не кончился, ей бы отдохнуть еще недели две. В чем дело? Рахманкулов подумал и смекнул: Басову до срока вызвал «молнией» Ахмед. Больше никому. Стало быть, у гордого секретаря тоже душа не на месте? Опасается дружок, милый братец, собирает подкрепление... Тогда становится понятным поведение прокурора: Басова успела ему напеть в уши по пути из Ташкента, не теряя дорогого времени. Рахманкулов затрясся от приступа гнева. Неужели до того дошло?

Ему удалось как бы случайно перехватить Басову в коридоре, когда она шла мимо его приемной. Хумахон вбежала в кабинет и шепнула: «Идет, идет, скорпион...» — и Рахманкулов не усидел, поспешил в коридор, как мальчишка.

— А!.. Привет, привет! С приездом! Заходите. Вам рад всегда...

— Спасибо... Но, если можно, позднее, — ответила Басова со знакомой возмутительной вежливостью. — Непременно. Вот только немного осмотрюсь...

— Обманете! — воскликнул он. Ему опостылело ждать и не дожидаться. — Ульяна Георгиевна.. помилуйте! За что же мне, бедному, больному, такая казнь? Насколько помнится, вы были непримиримы и к моим недостаткам и к слабостям Давранова... Неужели так трудно понять, что не имею я законного права оставлять у служебного руля работника, который... под следствием? Тысячу раз доверие и тому подобные красивые вещи, но человек остается человеком и может при случае, даже против своей воли, искренне заблуждаясь, использовать служебное положение для сокрытия, давления на подчиненных... Бывает! Если Давранов чист, как мы все верим, он сам бы должен, как порядочный человек, посадить себя под домашний арест на время следствия...

— Возможно, возможно, — со скупой, отчужденной улыбкой проговорила Басова. — Вам виднее. Не спорю. — И пошла по коридору, рассеянно присматриваясь к табличкам на дверях.

Рахманкулов чуть ли не бегом вернулся к себе, за свой стол.

«Не спорю!» — думал он с горечью и яростью, тупо постукивая кулаком то по столу, то себя по виску. И холодок непонятого, необъяснимого страха сжимал его сердце.

Он лихорадочно прикидывал: что бы сделать, кого вызвать? Ему хотелось бы увидеть сейчас кого-либо из молодых, близких Давранову. Лучше бы, конечно, Сариева Джумана... Рахманкулов припомнил свою последнюю встречу с ним, когда Джуман привел того мальчишку, названного брата, и разбередил старую рану Рахманкулова, полузабытое и незабываемое... Как вырос за миг единый, как поразительно раскрылся этот красивый, мужественно прямой парень кашкадарынец! Нет, с ним не стоит связываться, с ним надобны нервы покрепче, сегодня он не по зубам. Рахманкулов остудил лицо под умывальником, прибрал бумаги на столе и позвал Нафису.

Усадил ее, расспросил про сына, про мужа: как младшему в колыбели, старшему в кессоне?

— Спасибо, ничего... — отвечала Нафиса.

— В тот несчастный день мы оба были не в строю, — сказал Рахманкулов. — Я — при смерти, вы — при рождении... — И поморщился от лстивой и жалостливой красоты своих слов. — Но вы член бюро! А комсомол в данном случае не меньше администрации в ответе за случившееся... за ту обстановку и атмосферу, которая была создана на кессоне вокруг единственной молодежной бригады...

— Да, мы в ответе за Лукмончу, — сказала Нафиса печально и гордо. — А вы, вы, товарищ Рахманкулов?

— Что... я? — выговорил Рахманкулов с раздраженной усмешкой.

— Знаете, в Чарджоу на субботнике еще школьницей я видела одного тихопомешанного, — сказала Нафиса. — Он записывал на бумажку названия пароходов, которые плыли по Аму-Дарье. Составил большой список, подал его в пароходство и потребовал, чтобы ему выдали справку... что это не его пароходы... — Нафиса поднялась. — Мы вам можем дать справку, что к подвигу Лукманчи вы касательства не имеете. Хотите?

Рахманкулов навалился грудью на стол и прикрыл ладонью глаза. Такой боли, такого унижения он давно не испытывал.

— До свидания, — вежливо сказала Нафиса.

Он ее не удерживал.

Он долго сидел, не шевелясь, словно окаменев. Голова его кружилась, сердце ныло. Когда он был болен и лежал при смерти, ему было лучше. Тогда он был не один.

И этот день, как вчерашний, прошел в бессмысленном ожидании, в нелепом волнении. Рахманкулов чувствовал, что теряет вкус и интерес к делу. Опять скучный Казимов, опять Самандаров и Хумахон с чаем... В управлении по-прежнему появлялись только те, кого Рахманкулов вызывал. И подчас ему казалось, что его простой рабочий кабинет не под Ак-Ташем, в гуще кипучей стройки, а где-то на отшибе, в глухой провинциальной глубинке, а рапорты и доклады инженеров, его указания и распоряжения и все эти бумаги, сметы, сводки никому не нужны, не важны, не обязательны. Что же важно? То, что делает прокурор! А Рахманкулов не знал, что он делает, и совестился об этом расспрашивать даже Хумахон. Прежде, бывало, целые дни Рахманкулов проводил на строительных площадках. Теперь он не высовывал носа из управления. Второй день он не решался показаться на люди. Он сам чувствовал себя словно под домашним арестом. И ночевал на раскладушке в кабинете.

А на третий день Самандаров попался на пошлой воровской комбинации. Видимо, он спешил изловить рыбку в мутной воде и нашел момент подходящим. В сообщники он выбрал Бека. И не прогадал, — ловкий, смысленый малый понимал его с полуслова.

Бек научился водить машину, работал шофером. Самандаров нагрузил полуторку продуктами и носильными вещами из склада СУ-4 и посадил за баранку Бека. Под вечер, в сумерках, Бек пригнал полуторку к уединенному сараю по соседству с домом юривой Гажак, помог сгрузить ящики и кипы, упрятать их в сарае, получил крупный магарыч — пачку сторублевок, а затем на хорошей скорости, выжимая газ до предела, с шиком подвез Самандарова к пятому бараку.

Самандаров выхватил из заднего брючного кармана вороненый пистолет ТТ. Бек повис на руке с пистоле-

том, как клещ. Стрельба не состоялась. К клубу, где устроился прокурор, Самандаров добирался уже пешком. Бек нес за ним пачку сторублевок. Через полчаса к клубу подкатила «раковая шейка», как ее назвал Бек,— милицейская машина.

Узнав об этом, Рахманкулов вышел наконец из своего пустого, темноватого, жарко натопленного кабинета. Поехал к Сазлыксаю.

Там было светло и шумно, как днем. Самосвалы медленно, аккуратно въезжали на высокую эстакаду, катили по ней и сваливали камень и бетон в овальную горловину первого кессона на насыпном острове. Кессон прошел плавун и надежно стал на скальную основу, чуть ниже проектной отметки. Над ним росла все выше, отрываясь от уровня реки, от зеркала воды, масса мостовой опоры. Еще метр-полтора — и можно класть на нее арку моста, первый пролет.

Водители самосвалов приоткрывали дверцы кабин, проезжая мимо Рахманкулова, здоровались с ним. Они кричали, чтобы он их услышал. Подошли Казимов, про- раб, техник, задержались поблизости рабочие. И все, словно сговорясь, заботливо спрашивали его о здоровье.

Рахманкулов видел в людях веселое, бодрое возбуждение, которое рождает успешная, быстрая, слаженная работа, только она. На свадьбах, в театре веселье иное... И ни тени гнетущей, пугающей разломанности, постыдного недоумения, скрытого раздражения, которые испытывал в эти дни Рахманкулов. Здесь никто не думал о прокуроре, о следствии. Здесь думали о мосте, который рос на глазах, здесь строили.

Рахманкулов спросил Казимова о том о сем, стараясь встряхнуться, подладиться под общий деловой, ясный тон. И неожиданно в сильном луче прожектора, в мягких прозрачных клубах пыли увидел большой квадратный щит на двух крепких длинных столбах — прямо над своей головой.

На щите было написано: «Здесь строится мост имени рабочего Лукмончи».

Кровь бросилась в голову Рахманкулову. Вначале он не мог выговорить ни слова. Затем шагнул к щиту, схватился за столб и прошептал:

— Самоуправство... Отсебятина...

И, будто он мог свалить крепкий столб, к нему подошли незнакомые рабочие. Его легонько, вежливо отодвинули к машине и оставили. И через минуту около него никого не было — ни рабочих, ни прораба, ни техника, ни Казимова.

— Извините,— сказал Казимов, уходя,— я сейчас, тут недалеко...

Рахманкулов, обессиленный, с болезненно бьющимся сердцем, сел в машину. Он не мог отдышаться. Шофер смотрел на него углом глаза, потирая ладонью подбородок.

Из машины Рахманкулов заметил на эстакаде Ахмеда Хусейна и Давранова. Они быстро шли, громко споря, и Ахмед то и дело оттаскивал Давранова за локоть вбок, чтобы тот дал дорогу встречным самосвалам. На берегу они постояли несколько минут, наскоро договаривая. Давранов пошел вдоль берега; Ахмед подошел к машине Рахманкулова, спрашивая:

— Как здоровье, сердце?

— Это твоя затея...— проговорил Рахманкулов, кивая на щит.— Понятно, твоя!

— Это решение общего собрания рабочих, мостовиков,— сказал секретарь.— Однако ты уже начинаешь кое-что понимать. Поздравляю.— И пошел прочь, вслед за Даврановым.

Рахманкулов поехал назад в управление, вошел в контору Самандарова, вскрыл его запертый стол, вынул из него кожаную папку. Хотел раскрыть ее и не смог, бросил. Противно.

В ту ночь он опять не мог уснуть. И думал он о том, как мучительно спорить с самим собой. Спорить с Даврановым было интереснее.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

В середине дня, бросив текущие дела, он послал спросить, может ли прокурор его принять. Ему ответили: в любой момент, когда ему будет удобно.

Он побрился, обмахнул щеткой сапоги и пошел в клуб. На щеках и на лбу его выступили землистые пятна, губы

шевелились. Он беззвучно твердил самому себе резкие слова, которые собирался высказать прокурору. За три дня и бессонные ночи он приготовил пространную речь.

В тесной комнате без окон, в которую его ввели, было красно от кумача. Повсюду флаги, плакаты, транспаранты — к майскому празднику. Среди них бросалось в глаза переходящее знамя республиканского совета профсоюзов, врученное комсомольскому участку. Шелковое, с золотыми кистями, оно было развернуто на стене над высоким круглым столиком, за которым сидела седоволосая женщина с молодыми, яркими бархатно-черными глазами. На столике лежала стопка исписанной бумаги, на ней — пачка скрепок. Рядом с женщиной сидел Бек, очень бледный, закусив губы.

— Так, — сказал Рахманкулов с усмешкой, и это означало: «Опять женщина!» — Вы и есть прокурор? Приятно, приятно! Я начальник управления, но, как вижу, вы предпочитаете беседовать с кем угодно... только не со мной. Конечно, конечно! Это вот известный ловец расхитителей народного имущества, сам бывший... любитель казенных простыней...

— Маленькое уточнение, — негромко проговорила женщина, не вставая и не подавая руки, и Рахманкулов вздрогнул, услышав ее голос. — Я не прокурор. Я следователь. А это ваш сын, Рахманкулов, если вы вправе называться отцом!

— Фатима... — прошептал Рахманкулов, ища дрожащими руками, на что бы опереться.

— Поддай ему стул, — сказала Фатима.

Бек вскочил, кусая губы, взял стоявший у стены стул и поставил в полушаге от Рахманкулова. Тот грузно сел, открыв рот, машинально потирая грудь ладонью.

— Откуда ты... вы... То есть... как же это?... Собственно говоря... — бормотал Рахманкулов.

Теперь он узнал ее. Это была она. Седина казалась неожиданной, и губы, некогда выпуклые, мягкие, стали резче, сложены плотно, по-мужски. Но глаза, осанка и манера складывать руки, подхватив пальцами локти, прежние. Постарела? Нет, хоть и бела голова. На лбу, под глазами ни морщинки, ни тени. Глаза юные, и во взгляде не заметишь ни горечи, ни усталости. Во взгляде — покой.

Рахманкулов, словно оглушенный, смотрел то на нее, то на Бека. Сына он не узнавал. На нее мальчик удивительно похож — ее жгучие глаза, ее злые губы. И ничего рахманкуловского... Разве что нос? Нос вроде бы отцовский.

Стирая со лба пот ладонью, Рахманкулов несвязно, потрясенно шептал:

— Это... наш... мой... Он — Абубакир? Провалиться мне на этом месте... Но он был с тобой! Ты взяла его против моей воли... Я был в командировке. Ты прислала за ним, выманила, выкрала его! Махфуза-ханум клялась мне с горячими слезами, рвала на себе волосы...

— Иных слез ты в то время не замечал, знать не знал,— сказала Фатима. Бек стоял около нее, и она легонько притянула его к себе за пояс.— Однако спасибо тебе... от нас обоих! Именно у тебя, на твоём знаменитом Чалдаринском карьере, он стал бывшим любителем и известным ловцом... Благодарю. Пока жива, не забуду. К счастью, у него нашлись братья.

Рахманкулов стал стучать себя кулаком в грудь.

— Я задушу ту треклятую бабу своими руками! Будь проклято все, и я первый... Как же вы... как ты его нашла? Как узнала? И он... Как он тебя узнал? В голове не укладывается...

— Не веришь? Мы искали друг друга,— сказала Фатима.— А ты не искал ни меня, ни его. Себя самого потерял...

Рахманкулов не посмел спросить сына и спросил ее: — Он... знал, что я... Кто я?..

— Знал,— ответил Бек.— Приходил, когда вы умирали...

— Умирал...— ошеломленно выговорил Рахманкулов, сжав голову ладонями и покачиваясь на стуле.— Умереть бы мне сейчас—и делу конец... Но как ты сумела? Скажи...

Фатима с нежной и гордой улыбкой поглядела в лицо сыну.

— Попался мне на допрос некий деятель, с которым ташкентский уголовный розыск давно мечтал встретиться, рецидивист первой статьи по имени Анвар. Удалось вытащить все его обширные связи, всю банду. Ну, и открылось, что был у него в подручных мальчик Бек Субханов. Этого мальчика намечено было «пришить», если он не

вернется с повинной. Анвар тоже искал его! А уж по дороге сюда я разговорилась с Ульяной Георгиевной Басовой...

— А! — вскрикнул Рахманкулов, попытался встать, но не смог и протянул слабую руку Беку.— Абубакир... не называю тебя сыном... Но ты... Как же ты жил, как выжил? Бедный мой... родной ты мой... Прости меня ради всего святого, хоть ради твоей матери! И ты, ты, Фатима! На коленях буду перед вами...— и он пополз со стула на пол.

Фатима вскинула седую голову:

— Нет уж, пожалуйста, без этого! Избавьте, Рахманкулов... очень прошу.

Рахманкулов остался на стуле. А Бек порывисто отвернулся лицом к стене.

Фатима вынула из коробки скрепку и разогнула ее пальцами. Бек вновь повернулся лицом к матери, кусая и облизывая губы, чтобы не выдать их дрожь.

— Неважное действительно у вас здоровье,— тихо сказала Фатима.— Надо вам основательно подлечиться.

— Вы так спокойно говорите,— отозвался Рахманкулов и хрипло прокашлялся.— Конечно, понимаю: это спокойствие презрения.

Тогда Фатима еще тише вымолвила, глядя на разогнутую скрепку:

— Мне жалко вас... Но не будем вдаваться в такие тонкости. Вы себя плохо чувствуете, не настроены — отложим разговор. Я вас не задерживаю.

— Нет, почему же? Давайте! Зачем откладывать? — неожиданно бодро воскликнул Рахманкулов, поплотнее усаживаясь на стуле.— Я готов, не привыкать. И пора, кажется... внести ясность надлежащую в вашем деле!

Фатима подняла голову, удивленная и словно бы чем-то опечаленная. Взглянула на ручные часы:

— Ну что ж, попробуем... Сынок, тебе на работу. Иди, милый.

Бек торопливо, неловко ткнулся ей губами в висок и стремительно выбежал из комнаты. Рахманкулов изогнулся, провожая его взглядом.

Фатима пододвинула к себе стопку бумаг и стала их бегло, молча просматривать, чтобы дать Рахманкулову прийти в себя, но тот хлопнул себя ладонями по коленям и заявил:

— Та-ак... Значит, вы не прокурор? А как же тогда с этим... вопросом? Вы — следователь. Вам поручили. Так уж совпало... Но само собой напрашивается: можете ли вы в данном случае быть объективной?

— Ах, вот вы о чем... — проговорила Фатима, не отрывая взгляда от бумаг. — Я буду пристрастна, Рахманкулов. И, думаю, не погрешу против закона. С тех пор, как я помню себя в партии...

— В партии! — невольно вскрикнул Рахманкулов. — Ну да, конечно...

Фатима словно бы сызнова всмотрелась в помятое, изрезанное морщинами лицо Рахманкулова.

— Когда-то вы гордились тем, что вы давно в партии, — сказала она. — Но, кажется, по сей день не достигли, что такое партийность.

— Это выводы следствия?

— Выводы попытайтесь сделать сами. Сегодня я могу вас информировать: на редкость интересное дело. Это дело — большая радость для меня.

— Радость?

— Да!

— Странно, знаете ли, слышать... Авария с человеческими жертвами, а вы...

— Следствие полностью выявило виновных.

Рахманкулов, шумно волоча по полу стул, подсел поближе:

— Как вы говорите? Виновных... Значит, они все же есть?

Фатима взяла со стола разогнутую скрепку и вновь ее согнула. На концах ее пальцев возникли тонкие белые вмятины. Рахманкулов посмотрел на ее руки и опустил голову. Он чувствовал, что по-прежнему действует, говорит невпопад, но ничего не мог с собой поделать.

— Ладно, — сказал он, пожевывая губами, — добивайте. Мне все равно.

2

— Мне не пришлось уличать виновных, искать свидетелей, — говорила Фатима, сгибая и разгибая скрепку. — Они приходили ко мне сами и требовали, чтобы я взяла с них показания. Я допрашивала с утра до вечера, а у

моих дверей стояла очередь. Передо мной лежал список — выбирай! Люди не сговаривались, но я видела, что все они единомышленники. И подчас мне казалось, что не я веду следствие, а они его ведут и учат меня, уполномоченного прокуратуры, как понимать это дело и вообще как понимать свой профессиональный долг.

— Так. Виновные учат обвинителя... Действительно интересно! И что же, вы учились?

— Училась... с удовольствием!

— И занесли это в протокол?

— Занесла,— Фатима приложила руку к груди.— Представьте, занесла, что и вам советую.

— Слушаюсь...— невесело произнес Рахманкулов.

— Первой пришла ко мне мать Лукмончи и сказала, что она свое следствие уже закончила. Вот как она мне сказала. А если ищут виновных, пусть начинают с нее. Пусть привлекают ее к ответу! Она выкормила и воспитала сына таким, каким он был в кессоне, и не желает делить свою «вину» ни с кем. Горе с ней разделили, гордость за сына она делит, а «вину» — нет! Это ее слова, Рахманкулов. Разве тут нечему учиться?

Рахманкулов молчал.

— Вместе с матерью пришла девушка Садбар Суюнова и сказала, что виновата... тоже виновата! Она не берегла любви Лукмончи, любви своего героя. Но не допустит подозрения, что там, в кессоне, Лукмончой руководило отчаяние. Там, на аварии, он думал не о себе. Там его вела другая любовь, самая яркая на свете! Вот с чем пришла Садбар.

— Кстати...— заметил Рахманкулов, прищурясь,— отчаяние... Он сильно переживал. И на его месте всякий был бы расстроен, просто не в себе...

— Кстати,— перебила его Фатима,— еще проще. Садбар принесла мне дневник, а мать — письма Лукмончи, по прочтении которых я должна была свернуть свои грозные полномочия и тихонько, деликатно уехать. И доложить прокурору, что тут надо писать не протоколы. Мне не дали уехать.

— Кто? Виновные?

— Да, они, Рахманкулов. Виновные в том, что у нас такой народ, такая жизнь, такая стройка... и такие сердца,

как у Лукмончи! Старший мастер кессона пришел на допрос немедленно, тотчас после матери и Садбар, и сказал, что признает свою вину. Осознал ее полностью... Он лично не говорил с Лукмончой по поводу, как утверждал это после аварии, докладывая инженеру Давранову. Не говорил, понимаете? Поручил, доверил аппаратчику, и Лукмонча понял, что авария опасная, и вышел из камеры до срока — спасти людей. Вот его показания, две страницы... Посмотрите, как человек подробно обосновывает то...

— То, что он халатный работник?

— То, что у него в груди сердце,— сказала Фатима,— честное сердце, Рахманкулов. Это порядочный человек. И я верю, что Лукмонче у него было чему поучиться!

Рахманкулов с яростной досадой шлепнул себя кулаком по ладони, отворачиваясь от Фатимы:

— Опять! Опять!.. Зазубрили одно слово! Оскомина от него...

— Не понимаю,— проговорила Фатима, беря из коробки новую скрепку,— как же так? Рядом с вами Ахмед Хусейн, старый умный друг. Столько лет рука об руку работаете... Вокруг вас такой коллектив, уверенный, сплоченный, многоопытный. Такая молодежь! И вы... вам не интересно учиться?

— Чему, спрашивается, чему? — вскричал Рахманкулов.— Безответственности, круговой поруке? Отсутствию элементарной, азбучной бдительности? Чему?

— А вот послушайте. Вчера пришел ко мне человек, которого я никак не ожидала видеть. Замечательный, между прочим, человек, правда, несколько не в меру громкоголосый. Председатель колхоза «Иттифак» Уктамтаев... Он объяснил мне, какая выгода колхозу от моста через Сазлыксай. А потом заявил официально, что колхозники не примирятся с тем, что Эльчибек Давранов отстранен от работы,— Фатима сдержанно улыбнулась.— Обещал, что дойдет до ЦК... У вас председатель, видимо, не был?

— Я бы его выставил за дверь! — тряся кулаками, проговорил Рахманкулов и тут же сморщился, ссутулился и безнадежно махнул рукой, словно желая сказать: «Не то я говорю, не то думаю, сам не знаю, что...»

— Слушайте дальше,— сказала Фатима, бросая

скрепку на стол.—Посетила меня Басова. Ее вызвал Ахмед из отпуска.

— Знаю! Все понятно...

— Если бы вы понимали, Рахманкулов, как это трудно было сделать Ахмеду, вы, может быть, устыдились бы наконец. (Рахманкулов молчал.) Басова говорила о Давранове. Говорила так, будто выступала не на следствии, а на предвыборном митинге. Она готова была взять на себя все обвинения, которые могли быть предъявлены Давранову как начальнику участка.

— Ого! И это член парткома? Та самая Басова, которая на открытом собрании громила прожектерство Давранова...

— Я отметила ее горячность... и пристрастность, Рахманкулов! — проговорила Фатима спокойно.— Как бы вы сказали, призвала ее к порядку... Тогда Басова сказала мне, что Эльчибек Давранов лично ей дорог, и спросила, может ли коммунистка вступаться на следствии или на суде за дорогого ей человека.

— Ого! Что ж вы ответили? Есть же у нас все-таки процессуальный кодекс, юридические порядки...

— Я ответила, что может! А вы... можете обжаловать мое определение прокурору.

Рахманкулов усмехнулся, причмокивая и разводя руками.

— Так Басова призналась вам в чувствах... Ахмед — тоже...

— Это вас удивляет? Возмущает?

— Если они дошли до этого, представляю себе, что вам напели молодые! Ну, а Давранов, сам Давранов? Нашлось у него мужество...

— Давранов не был у меня. Вы знаете, чем он занят? Не интересовались? Он предлагает протянуть подвесную канатную дорогу от Ак-Таша через нижнее ущелье, по которому возили гравий из Чалдары. Говорят, что это остроумный, смелый проект и что он подсказан опытом строительства моста. Очень нужное дело. Обойдется намного дешевле, чем наземная железная дорога с туннелями и акведуками.

Рахманкулов, не скрывая своего удивления, слушал Фатиму, и она добавила:

— Таких людей, как Давранов, нельзя отстранить от работы. Ваш приказ о временном отстранении был

событием для вас, а он спал по ночам спокойно. Он работал.

«Спал спокойно,— думал Рахманкулов с горькой завистью.— Он не был одинок...»

— Теперь одно краткое сообщение — к вопросу о бдительности,— сказала Фатима.— У меня был Джаббар Алиев, брат Адолят Алиевой, кладовщик ремонтных мастерских. Вот его показания. Самандаров не только вор, он служил немцам, был полицаем, это провокатор и палач. Его настоящая фамилия Файзуллаев.

Рахманкулов рывком поднялся со стула, хрипло шепча:

— Провокатор?.. Я это чувствовал, чувствовал! Могу поклясться... Боже, что еще свалится на мою голову?

— Такие показания, разумеется, требуют проверки.

— Нет, нет, нет...— бормотал Рахманкулов.— Слишком похоже. На лбу написано, что подлец! И видел я, видел...— Он со стоном приложил ладонь к бритому затылку, потемневшему от прилива крови.— Хватит. Не могу. Что-то мне действительно плохо. Надо мне прилечь. Подумать...

Фатима молча склонила голову, соглашаясь. Рахманкулов ушел.

Неподалеку от клуба ему встретился Самандаров, которого вели к следователю под конвоем. Поравнявшись с начальником управления, Самандаров сказал, кривя бесцветные губы:

— Вот какие дела... Желаю удачи, хозяин. Между прочим, ваша супруга Махфуза-ханум переехала с младшей дочерью в новую квартиру, к Холмату Юнусовичу, не дожидаясь развода! Привет, хозяин!

Рахманкулов отшатнулся, побежал прочь на неверных, слабых ногах.

Незнакомый молодой человек в синей спецовке подхватил его под руку, довел до дома. Рахманкулов повалился навзничь на неразобранную с вечера кровать, с долгим мучительным вздохом закрыл глаза.

И думал он так:

«Конь лучше седока знает, где у него натерта спина. Враг лучше друга знает, что у тебя потерялась совесть...»

На закате Бек поднялся высоко в горы и вышел на бескрайние горные луга, распростершиеся по хребтам выше хвойных лесов. Над дальними скалистыми гребнями он видел солнце, когда над Сазлыксаем уже спустились сумерки. Из-под руки узясь, Бек смотрел на его огненно-багровый слепящий свет и смеялся от неумной, нескончаемой радости. Вокруг нем ликовало, все пело, все светилось. И казалось ему, что нынче и горы, и травы, и леса, и солнце радуются заодно с ним, как прежде никогда не радовались.

Он подолгу смотрел в небо, закидывая назад голову и словно вбирая в себя глазами, ртом, сердцем прозрачный воздух, ясную синеву, манящий простор. Он размахивал руками, кричал, слушая и дразня эхо, напевал одну песенку за другой, купался в густых, душистых травах, рвал их полными горстями и швырял вверх перед собой, а потом ловил падающие травинки и цветы губами...

Он не помнил, когда еще ему было так хорошо. И знал, что этой ребяческой, ни с чем не сравнимой радости он больше не испытает. Так может случиться раз в жизни. Ему хотелось, чтобы нынешний день остался в памяти ничем не замутненный и чтобы никто не мешал вот так прыгать, петь, смеяться и думать, думать о том, как ему хорошо.

Он долго шел сюда, на эти вольные луга, словно бы наперегонки с вечерней тенью, которая ползла из долин на лесистые и голокаменные хребты.

И чем выше он взбирался, чем шире и просторней ему открывалась величавая панорама буро-красных, нежно-зеленых и светло-серых гор, тем радостнее билось его сердце. Он спрашивал себя: когда же это кончится, когда он устанет? А в груди, в руках, в ногах его кипела веселая сила.

Поднявшись на крутой острый камень, источенный дождями и ветрами, Бек вскинул к небу руки, словно желая обнять весь мир, и протяжно закричал:

— Ма-ма-а!

— Ма... а...— радостно отозвалось эхо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Стояли жаркие дни.

По широкому мосту, пролезающему через Сазлыксай от зари до зари и при свете фонарей непрерывно двигался поток грузов. На строительные площадки везли большой бетон. Штольня Капитальная, надежно осушенная, начинала выдавать большую руду. Все созданное на Ак-Таше и близ него становилось большим. И теперь здесь реже можно было услышать слово «строительство», чаще — «комбинат».

Быстро росли жилые кварталы. Их белокаменная лавина подступила вплотную к приземистому глинобитному жилью тетушки Гажак и стерла его с лица земли. Старая Гажак переселилась в дом со светом, который сам собой зажигался, с водой, которая сама к тебе текла, с печкой, которая сама себя топила, и стала Гажак при том доме не последним человеком — с белым фартуком, ее больше не называли юродивой.

Трест переехал сюда из Ташкента и занял нижний этаж в известном многим доме, в котором обитали старожилы — Нафиса и Сангин с сыном, первенцем города. На месте, где стояли бараки первых строителей, возникли красивая площадь и высокое здание с колоннами — в нем поместился горком партии. Рядом возводился корпус гостиницы и политехнического института.

Четвертое стройуправление оставалось пока в старом, бревенчато-фанерном, помещении. Только дорожку к нему покрыли асфальтом.

В разгар рабочего дня к управлению подъехала, сверкая ветровым стеклом и никелированными ободками, новенькая «Волга». Из нее вышли Уктамтаев и его дочь, черноглазая девушка с грозным именем Султанпаша, в нарядном платье из маргеиланского атласа. Председатель обошел машину, потрогал пальцем ее небесно-голубой бок и сказал дочери:

— Замечаешь? За всю дорогу не запылилась. Будто сейчас из гаража.

Султанпаша заметно робела, и отец сердито приказал:

— А ты не забывай, кто ты есть! Видишь мост? Его строили мы — твой отец и твой жених.

Однако он и сам чувствовал себя непривычно сте-

сненно: не каждый день доводится ехать в машине новой марки по городским улицам, чистым, как горная лужайка. И потому председатель чаще обычного трепал свои пышные усы и повышал голос.

Отец и дочь вошли в управление, их с почтением провели к начальнику, за фанерную перегородку. Уктамтаев огляделся с неодобрением: кровать и умывальник отсюда убраны, но кабинет по-прежнему тесен, темноват и неказист. Это казалось председателю неприличным. Все же он умолчал о том, какая у него комната в правлении колхоза.

— Во-первых, поздравляем вас,— сказал он, обнимая начальника,— наконец вы на своем месте. Во-вторых, просим к нам на свадьбу. Без вас не сядем за стол. В-третьих, самое главное: уважаемый, надо честь знать. Народ требует, чтобы был саиль! Умеешь построить — сумей и отпраздновать, как полагается по народному обычаю.

— Благодарю,— ответил Эльчибек, пожимая руки председателю и Султанпаше.— Поздравляю и вас от всего сердца. Что касается саиля — не рано ли?

— Ка-ак? Рано? Вот я и думаю: а не загордились вы тут... не забыли между делом про наши кровные миллион пятьсот и про то, чьи руки растят для вас хлеб и семь видов овощей?.. Хочу вас спросить: кто у нас секретарь горкома? Может быть, приезжий, незнакомый, неинформированный?

— Нет, выбрали своего, насколько помнится,— с улыбкой отозвался Эльчибек.

— Ах, своего? Так я сейчас же от вас иду к нему!

— Пойдемте вместе,— смеясь, сказал Эльчибек.— Он нас ждет.

И они втроем пошли к Ахмеду Хусейну.

Секретарь горкома принял их в большом светлом зале, устланном ковром. Стены еще попахивали краской, но этим залом Уктамтаев остался доволен, о чем тут же и заявил. Из огромных окон до потолка были видны стены рудодробильного узла и Комсомольская дамба, у которой уже не плескались разноцветные грунтовые воды. В простенках между окон были развешаны в рамках интересные фотографии — пятого барака, Вечстроя в снегу и памятного камышового пожара на девственных берегах Сазлыкся...

Секретарь обещал поставить вопрос о саиле на бюро горкома.

— Ну, и дочку мою, надеюсь, не обидите,— заметил председатель.— Собирались мы послать ее в Ташкент учиться, но, я думаю, теперь не нужно ей ехать так далеко?

— Теперь не нужно,— ответил Хусейн.

А вечером, поздним вечером, когда погасла заря и зажглись звезды, Давранову позвонила Басова, только что приехавшая из командировки в Ленинград.

Они встретились на той самой лужайке, на которой некогда встречались Нафиса и Сангин и многие другие. Одиноким седловидный камень маячил посреди лужайки; его окружало кольцо тяжелых чугунных скамей. Недавно камень хотели взорвать, но молодые воспротивились, и остался он своеобразным памятником тому, что здесь было. Он никому не мешал.

Эльчибек посадил Ульяну на гранитное седло, еще тепловатое от дневного жара, и сел рядом. Кроме них на лужайке никого не было.

— Вы знаете, какая судьба предназначена тем, кто садится на этот камень? — спросил Эльчибек шутливо.

— Да... знаю,— ответила Ульяна.— Сегодня я хочу быть суеверной...

Он взял ее руку и горячо поцеловал.

— Скажите, правда, что вы посылали Хумахон к следователю защищать мою честь? Правда? Но слушайте, это по меньшей мере наивно. Я не смею вас даже благодарить.

— А почему наивно? Кто же лучше знает, что вы за человек, если не друг, любимая женщина...

— И она послушалась вас, пошла?

— Не знаю. Возможно, что... нет.

— Вы еще сомневаетесь?

— Не спрашивайте. Я уж не помню, что было, чего не было...

Он молча благодарно пожал ей руку. Потом тихо рассмеялся:

— Верите ли, я до сих пор опомниться не могу от... удивления... Мне в голову не могло прийти, что мы будем когда-либо... сидеть на этом камне...

— Значит, вы думали, что у меня кровь разбавлена

грунтовыми водами? Действительно, они холодны, как лед. Но мы их осушаем.

— Я думал, что вам,— сказал он,— будет по сердцу настоящий, сильный, яркий, редкостный человек, и, глядя на вас с ним, будут оборачиваться и говорить: «Вот пара!»

— О, это мечта каждой женщины! Вероятно, такого человека видела в вас и Хумахон...

— И Хумахон? — переспросил Эльчибек, словно не позволяя себе верить тому, что слышит.— Ульяна Георгиевна...— добавил он с упреком и нахмурился.— Хума, как вам известно, ошиблась.

— Я не взвешивала на аптекарских весах ни ваших пороков, ни ваших добродетелей,— сказала Ульяна.— Но... кому же хочется ошибиться в человеке, которого любишь, в которого веришь... Все мы тянемся к счастью, и каждый понимает его по-своему. Знатоки говорят, что любовь может кончиться враждой... может и начаться с вражды...

Он задумчиво покачал головой, глядя ей в глаза.

— Где-то я читал, что люди с сильной волей всегда противятся любви... прежде всего противятся...

— И любви и разрушению любви,— медленно говорила Ульяна, не опуская глаз.— Так ведь? А люди безвольные? Наоборот? Отдаются увлечению не противясь... и — не любят!

— Да,— сказал он, отводя взгляд и мысленно шепча себе с привычной глухой болью: «Джинаста, Джинаста...»

— Я убедилась этой весной, что очень трудно ненавидеть любимого человека,— сказала Ульяна после минутного молчания.— Но еще труднее отказаться от своего чувства... от своего выбора, от своей надежды...

— Да, да! — повторил Эльчибек, с удивлением и восхищением вслушиваясь в ее слова.

Она говорила то, что он думал. И дарила ему свою откровенность не колеблясь, чутко угадывая, к чему тянется его душа. Она всегда была щедра.

— Я не забуду... этой минуты... и всего, всего... — сбивчиво проговорил он.

А она, сдержанно улыбаясь, со светлой грустью и ожиданием посмотрела в ночное небо. Слабый звездный свет отразился в ее глазах.

Ныне здесь, в сердце гор, под облаками, стоит город, юный город.

Он не похож на своих старших братьев. В нем не было купеческих рядов в центре и базарных площадей, не было ремесленных слобод на окраинах, нет мечетей. Его башни намного выше прежних минаретов.

Городу десять лет от роду, а в нем сто тысяч жителей. Его название вдруг возникло на новейших картах и пока звучит загадкой. Но ему суждено стать знаменитым, подобно вековым рабочим городам Урала и Донбасса. Большая слава, скорая слава поднимает незримый стяг над его крышами, усеянными крестами телевизионных антенн.

В начале двадцатых годов в этих местах образовалась бандитская тропа шакала Кураминского края Рахмана-курбаши. Еще живы бойцы-конники, загнавшие его в шурф заброшенной древней шахты. Тогда-то и узнали они, какие клады таятся в чреве земли, которую топтали их кони. С стародавних времен сохранились мающиеся названия здешних мест: Алтынкан — Тайник золота, Кумыш-тапкал — Нашедший серебро, Кургашин — Свинцовое место, Ахангар — Кузнец. Ныне люди поднимают эти клады на-гора.

Вечно сияют над юным городом ледяные седины Кураминских отрогов Тянь-Шаня. Горное эхо повесило над хребтами гусеничный гром экскаваторов.

От низин Сазлыкская на высоты, бесконечно петляя по склонам и скатам, взбираются серые ленты дорог. По ним без передышки катят машины. Газуют тяжелые ЯАЗы, десятитонные лесовозы, высокие самосвалы. Голова кружится от их непрерывного могучего движения. У водителей дочерна опаленные горным загаром лица, а в апреле непременно свежий тюльпан под козырьком кепки. Тюльпаны горят на холмах, на обочинах дорог две недели подряд и зажигают сердца.

Над ущельями и пропастями повисли воздушные канатные дороги. Сорокаметровые стальные ажурные опоры тянутся в небо, меж ними дугой изогнулись плетеные пилы тросов. Снизу, со дна ущелий, тросов не видно, и кажется, что вагонетки парят в небе, подобно бескрылым птицам. Похожи они на грачей.

Звенит на ветру листва молодых тополей, а над ними развóрачиваются стрелы башенных и мостовых кранов. Тополя, тополя... Краны, краны, краны...

Десять лет назад здесь было голо и пусто. Тоги Сазлыкся, унылые отроги и увалы, каменные зловеще покойные стены. В летний зной горы и доли выцветали, тоскливые грязные пятна покрывали их, точно парша. По осени все чернело в туманах. Зимой сюда не было пути. Протяжно, лицемерно вздыхали обвалы, и на путников смотрели, как на саперов.

Ныне здесь город, юный город.

Я пою его рождение.

ПОИСК И РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ

Аскад Мухтар как прозаик пришел в литературу в послевоенные годы. Это было трудное время восстановления разрушенного войной хозяйства, когда вернувшиеся с фронта солдаты заняли свои места на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, заполнили университетские и институтские аудитории.

К тому времени узбекская литература стала достоянием широкого круга читателей. Книги Хамзы и Айбека, Хамида Алимджана и Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара и Камиля Яшена были переведены на многие языки народов Советского Союза.

В 1946 году была напечатана поэма А. Мухтара «Сталевар», принесшая автору широкую известность. В поэме четко определилось стремление Мухтара создать образ нашего современника, рабочего человека.

В другом своем произведении — поэме «На большом пути» поэт продолжает разговор о радости творческого труда, о сложности человеческих отношений, о силе трудового коллектива.

Для воплощения своего замысла — показать героя-современника — писатель избрал жанр повести.

«Там, где сливаются реки» — первая проза писателя. В основу легли впечатления от поездок по Узбекистану в качестве корреспондента республиканских газет и журналов. У каждого журналиста есть мечта рассказать о людях, с которыми познакомился, которых полюбил, тревоги и радости которых стали близкими. Такими людьми для Мухтара стали строители Беговатского металлургического комбината, которым он решил посвятить свое первое прозаическое произведение. Казалось, ничего не надо продумывать, все лежит на поверхности и просится в повесть. Но книга не удалась. Критика отметила надуманность, нежизненность конфликта, схематичность образов, духовную обедненность героев. Об этом же написал автору в открытом письме, напечатанном в журнале «Дружба народов», А. Пантиелев, постоянный переводчик на русский язык произведений А. Мухтара.

Неудача огорчила молодого прозаика, но он не отказывается от своего замысла показать формирование нового человека. Мухтар обращается к истории родного края, к годам, когда закладывались основы нового, социалистического Узбекистана, создавались условия для рождения нового человека. Так появился роман «Сестры».

О восточной женщине народ веками слагал достаны, легенды, песни и притчи. Поэты воспевали «луноликую» красоту восточной гурии, а народ плакал над горестной и бесправной участью своих дочерей. И только в первых произведениях советской узбекской литературы прозвучал отчаянный голос узбечки. «Накажи всех баев! Подожди этот несправедливый мир!» — просит мужа перед смертью Джамиила — героиня знаменитой пьесы Хамзы «Бай и батрак». Десятки лет не сходят со сцены «Гульсара» и «Нурхон» Яшена, многие годы волнует узбекских зрителей трагическая история жизни женщин, бросивших смелый вызов шарияту и вековым предрассудкам.

«Сестры» Аскада Мухтара — это книга о ломке старых феодальных отношений, о новой жизни узбекской женщины, поверившей в свои силы и отстаивающей свои права.

Двадцатые годы были для Узбекистана годами борьбы за утверждение завоеваний Великого Октября, за превращение бывших национальных окраин царской России в край передовой индустрии. За этими привычками сегодня для нас понятиями писатель увидел необычайное мужество узбекской женщины, сумел показать сложность обстановки тех лет.

Велика была опасность превратить страницы героической истории узбекского рабочего класса в чисто производственный роман. Мухтар счастливо избежал ее. Положительным героям повествования противостоит коварный враг. Тем важнее победа над ним.

В романе проявилось умение писателя проникнуть в психологию героев, создать полнокровные художественные образы, убедительно показать неизбежность и глубину происходящих в советском Узбекистане процессов.

Старейший украинский прозаик Иван Ле писал: «Роман «Сестры» является одним из замечательных произведений советской прозы на острую тему современности в узбекской литературе и, мне кажется, должен бы занять одно из первых мест в ряду лучших романов наших дней».

Своих новых героев Аскад Мухтар опять находит в грозные дни революции. О них рассказывает писатель в одном из самых поэтичных произведений — «Каракалпакской повести».

Тернистым был путь, который выбрал для себя Жапак из далекой каракалпакской деревни. Гражданская война смела тяжелый, но

привычный, сложившийся веками уклад жизни. Через многие испытания проходит юный герой повести, прежде чем осмысливает существо происходящих событий. Писатель очень убедительно показал, как меняется психология человека, задавленного такими понятиями, как «кровная месть», «честь племени». Умело используют баи растерянность народа перед грядущей революцией, пытаясь разжиганием родовой вражды помешать приходу Советской власти в деревню. Не сразу понимает Жапак, что родной по крови человек может быть врагом. В повести нет мгновенных превращений. В результате глубоких раздумий юноша приходит к убеждению о необходимости революционных преобразований в родном краю и возглавляет борьбу народа за укрепление в ауле Советов. С большим тактом А. Мухтар показывает людей, которые помогли Жапаку стать большевиком.

Формирование нового человека, новой советской Азии самым тесным образом связано с проблемами утверждения социалистической морали. Героиня «Каракалпакской повести» юная Сулув по праву стоит в одном ряду со свободолюбивыми узбечками из романа «Сестры». Она восстает против брака с нелюбимым человеком, мужественно отстаивает свое право на счастье.

В «Каракалпакской повести» дарование писателя открылось в каком-то новом качестве: произведение согрето мягким лиризмом, романтикой, как бы пронизано поэзией восточной легенды.

И в «Сестрах» и в «Каракалпакской повести» проявилось умение писателя создавать острые жизненные ситуации, сложные человеческие характеры.

Оба эти произведения — важные этапы в творческой биографии писателя. Но трудно было предположить, что Мухтар-прозаик останется в поисках своего героя на рубеже становления социалистического Узбекистана. Ведь все поэтическое творчество писателя обращено в современность, в наш сегодняшний день. Жизнь показала, что и «Сестры», и «Каракалпакская повесть» подготовили почву для появления «главной» книги А. Мухтара — романа «Рождение». В 1961 году с новым произведением узбекского прозаика смогли познакомиться и русские читатели. Впервые в переводе А. Пантиелева «Рождение» было напечатано в журнале «Дружба народов».

В самом названии романа заключен основной смысл повествования: рождение комсомольского города, рождение рабочего коллектива, рождение и становление современного молодого поколения. Это было главной целью писателя, воплощением его заветной мечты — показать героя наших дней.

Роман «Рождение» — о молодежи пятидесятых годов, идущей по призыву партии на великие стройки.

Это время было наполнено, как и каждый предыдущий год, напряженным трудом и не менее напряженными раздумьями о смысле жизни, о вере в человека, о доверии к нему.

Писатель знакомит нас на первых же страницах романа почти со всеми своими героями — и положительными, и отрицательными. Но в этой незамысловатости избранной формы и сказалось мастерство А. Мухтара. Как бы стирая грань между романом и драматургическим произведением, автор представляет нам своих героев — «действующих лиц».

«Молодость ездит в открытых кузовах грузовиков, в общих вагонах для курящих.

В общем вагоне вся жизнь на виду. Тесно, шумно, весело. Легко знакомишься, люди откровенны, особенно, если людям чуть больше или чуть меньше двадцати и многие твои ровесники. Соль и табак здесь, как у солдат, из общего котла.

...Затем *строители* собрались в одном вагоне.

Строителями они назывались потому, что ехали на стройку. Ехали со всех четырех сторон света, из самых отдаленных районов республики. Но никто из этих парней еще ничего не построил в своей жизни, если не считать песочных крепостей и бумажных кораблей детства».

За этими согретыми мягким юмором строками автор спрятал свое восхищение непритязательностью юности к жизненным удобствам. Столь же ироничен Аскад Мухтар и при описании внешности своих героев. Правда, не все прощает писатель своим малоопытным в жизни персонажам, и тогда ирония переходит в злую насмешку (Халдар, ворочающийся на скамье, как буйвол в вязкой топи; Потчаев, у которого во взгляде что-то неверное, опасливое, ищущее). За скупыми характеристиками читатель четко определяет отношение автора к тому или иному герою. Единственный образ, где авторская сдержанность сменяется восторженностью, это Лукмонча, юноша из Бухары. Не случайно Мухтар своего любимого героя причислил к такому прозаическому производственному цеху: Лукмонча — парикмахер. Ничто не предвещает в этом нескладном человеке подлинного героя романа. Лукмонча и ростом мал, и на носу у него толстые роговые очки, и тощ он, костляв и нескладен, как куст саксаула. Но у него выпуклый и чистый лоб, как у ребенка, на висках блестят капельки пота от жары и вдохновения, а в серых глазах бездымный пламень, и перед этим бездымным пламенем не могут устоять люди самых разных характеров.

Поначалу немного настораживает несколько лобовая законченная характеристика «действующих лиц», к которой, казалось бы, уже нечего и прибавить. Но конфликты романа настолько остры, а по-

ворот действия хотя и закономерен, но подчас настолько неожидан, что внимание читателя не ослабевает на всем протяжении романа.

Прямолинейные, на первый взгляд, характеристики Аскада Мухтара оборачиваются «характеристиками-эмоциями», в которых ярко проступают симпатия или антипатия автора. Отношение автора к героям, его моральная позиция и эстетическая оценка событий настолько незавуалированы и принципиальны, что автор становится незримым и не названным участником драмы. Эта писательская активность, страстная заинтересованность в судьбах своих героев, то, что, пожалуй, можно назвать «эффектом присутствия» автора, и убеждает читателя в жизненности происходящего.

Подлинным героем книги стал коллектив. В поезде его еще нет. Есть просто попутчики. Им предстоит прошагать рядом не один километр, не один день, не один год. В общем горе и общих радостях, в трудностях и лишениях сложится большой трудовой коллектив. Уверенной рукой лепит Аскад Мухтар портрет-мозаику этого коллектива. Мозаика щедра и многокрасочна.

События романа охватывают годы, которые стали во многом этапными для всей нашей страны, для каждого человека. Это был канун XX съезда партии, годы восстановления ленинских принципов демократии, развертывания инициативы масс.

Герои Аскада Мухтара всегда сложны. Часто у них — нелегкая судьба, трудное детство. С большой любовью и теплотой показывает писатель распрямление характера, исковерканного жизненными невзгодами, превращение «социально-дефективного элемента» — маленького беспризорника Бека — в личность, способную к творческому труду. Это превращение отнюдь не волшебное. Бесспорно, Бека «выравнивает» коллектив. В конце романа Бек становится частью этого коллектива. Но в том-то и дело, что это не какой-то абстрактный коллектив, обладающий чудодейственной силой исцеления. Беку помогают, прежде всего, внимание и доброта Джумана, его высокая требовательность и вера в человеческое достоинство этого маленького оборвыша. Джуман и его друзья преподносят Беку урок честности, братства и настоящего коллективизма.

Совершенно иная человеческая категория — Халдар. Жажда наживы, охота за «длинным рублем» превратили его в бездушного человека-копилку. Не случайно писатель постоянно говорит о розовой мясистой пасти Халдара, все время пережевывающей пищу. Именно Халдар, этот мелкий собственник, который больше всего на свете боится быть обкраденным Беком, становится настоящим вором. И этому вору нет места в коллективе, и коллектив выбрасывает его, понимая, что Халдар неисправим.

Халдар выступает растлителем душ не только по отношению

к Кимсану, но, прежде всего, по отношению к доверчивой Садбар. Не ей, неопытной деревенской простушке, заплетающей свои волосы в сорок наивных традиционных косичек, а «в груди лелеющей сорок страхов перед кланом мужчин», разгадать истинную сущность Халдара. И только верная, преданная любовь Лукмончи возвращает Садбар радостное ощущение бытия и веру в людей.

Аскад Мухтар проводит в романе своеобразную антитезу. «Что такое Халдар? Подумать спокойно. Легче всего на бумаге сажать его в лепрозорий или ставить к позорному столбу — на два часа, в полдень, ежедневно... Мстительная и мелкая мысль. Сегодня я подумал: насколько же я сильнее его! Почему это сразу не пришло мне в голову? Смотрел на его жирные кулаки и не догадывался, что мои кулаки куда тяжелее», — записывает в своем дневнике Лукмонча. И читатель очень внимательно следит за поединком жирного крепыша Халдара и слабого физически, но сильного духом Лукмончи.

Как и в каждом коллективе, на строительной площадке будущего металлургического комбината рождаются свои герои. Читая роман, мы становимся невольными свидетелями столкновения двух характеров людей, страшно далеких друг от друга по своему профессиональному положению: подсобный рабочий Лукмонча и начальник строительного управления Рахманкулов. На этом противопоставлении и строится весь роман. Одному из героев предстоит совершить подвиг во имя общего дела, другому — понять, что в жизни, кроме этого дела, существуют люди, требующие заботы и внимания, любящие и ненавидящие, радующиеся и горюющие.

Только один раз мы видим Лукмончу в непосредственном общении с Рахманкуловым, а как верно прочитал этого уже немолодого, опытного хозяйственника комсомолец, только начинающий свой трудовой путь: «...Болен тяжело, но боится не своей болезни, а здоровых людей. ...Я бы ему, как говорится, своего ребенка нести на руках не доверил...» Это тоже из дневника Лукмончи, который не знал того, что узнаем мы к концу повествования о жизни Рахманкулова.

Лукмонча прожил очень недолгую жизнь, но как много он успел сделать для людей, которые тянулись к этому нескладному парню с горячим сердцем, потому что он понимал: «Для того, чтобы осчастливить человека, нужна целая жизнь, а для того, чтобы сделать его несчастным, достаточно двух-трех вечеров».

Перед нежностью души Лукмончи растерялся Рахманкулов, потому что не знал, что нежность и самоотверженность могут идти рядом. Всю жизнь Рахманкулов служил одному богу — администрированию и потерпел крах.

Лукмонча силен прежде всего потому, что он постоянно ощущает себя частицей коллектива. Более того, он — один из его запевал. Писатель несколько не приподнимает Лукмончу над массами, не противопоставляет его товарищам. Герой Мухтара идет на подвиг так же просто и естественно, как и живет. Пожалуй, это характер героя будущего, складывающийся в настоящем. Вот почему Лукмонча остается со своими товарищами даже после своей смерти.

«Мы вам покажем парня по имени Самади. Мы вам покажем девушку по имени Садбар», — говорит Джуман матери Лукмончи, приехавшей на похороны сына. «Их он тоже, можно сказать, строил. И, как говорят каменщики, вывел под крышу». Эти слова Джумана определяют самую сущность характера юноши. Лукмонча остается со строителями города своей мечты потому, что его мысли, его светлое, радостное видение мира, его вера в человеческое достоинство помогают Садбар и Беку, Самади и Потчаеву. Помогают по-разному. Но конечный результат этой помощи один. И озлобленный, голодный карманник Бек, и подло обманутая Садбар, и тщеславный позер Самади, решивший во что бы то ни стало прославиться, даже если ради этого нужно пойти на мошенничество, и трусливый Потчаев, рискнувший наконец-то прыгнуть со своего «тигра», чтобы стать человеком, становятся полноправными членами большого рабочего коллектива, обретают чувство локтя и большой товарищеской помощи.

Высокая нравственная чистота Лукмончи, щедрость его сердца делают маленького парикмахера победителем в его не высказанной вслух, но постоянной полемике с Рахманкуловым.

Роман «Рождение» впервые был напечатан в 1960 году в республиканском журнале «Шарк юлдузи» и сразу же, еще в журнальном варианте, нашел широкую читательскую аудиторию.

О романе много спорили. Писатель получил десятки писем от студентов, молодых рабочих, солдат. И Аскад Мухтар прислушивался к советам и пожеланиям своих корреспондентов. Роман, вышедший отдельным изданием, был уже во многом доработан.

И тем не менее, строго говоря, к писателю можно было бы предъявить определенные требования. Роман порою грешит досадной сентиментальностью, порою — излишней прямолинейностью. Слишком большая нагрузка ложится на хрупкие плечи Адолят. Иногда создается впечатление, что автор балансирует где-то на грани с ирреальным, неправдоподобным. Можно упрекнуть писателя и в несколько нарочитом, искусственном закручивании сюжетной колли-

зни. Появление в финале романа первой жены Рахманкулова в роли следователя и обличителя духовной нищеты начальника строительства — дань легковесному детективу. А от сцены свидания Рахманкулова со своим сыном, которым оказывается беспризорник Бек, остается чувство досады. Явный мелодраматизм ситуации, театральность позы и жестов героев нередко вредят произведению.

Этот спор с писателем можно было бы продолжать и дальше. Но это — спор не по существу: он о частностях. «Рождение» — один из лучших романов о молодежи узбекской литературы последних лет.

Острого глубокого чувства современности у Аскада Мухтара не отнять. Оно пронизывает все книги писателя. Последний роман писателя «Время в моей судьбе» продолжает тему «Рождения». В центре внимания художника — становление молодого человека, нашего современника, радостная тревога за него и глубокая вера в его будущее.

Поиск продолжается.

М. ПРОТАСОВА, М. СУЛТАНОВА

К Р А Т К И Й П О Я С Н И Т Е Л Ь Н Ы Й С Л О В А Р Ь

Авиценна (Ибн Сина, Абу Али) (ок. 980—1037) — выдающийся таджикский философ, естествоиспытатель, врач, математик, поэт.

Айван — открытая галерея, веранда.

Ака — *буквально*: старший брат; почтительное обращение к старшему.

Акведук — мост, служащий для перевода водопроводных труб, оросительных и гидроэнергетических каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек, железные и шоссейные дороги.

Аксакал — у народов Средней Азии почтенный, уважаемый человек; староста, глава рода; форма вежливого обращения.

Апа — *буквально*: старшая сестра; почтительное обращение к женщине.

Ата (атахон) — отец, папаша; прибавляется к имени пожилых мужчин при почтительном обращении к ним.

Базилка (базилк) — тропический кустарник, некоторые сорта которого возделываются как пряные, лекарственные и ароматические растения.

Байбача — сын бая, купеческий сынок.

Батыр — богатырь, смельчак.

Бедиль, **Мирза Абдулкадыр** (1644—1721) — выдающийся таджикский поэт и философ; творчество его оказало огромное влияние на развитие художественной таджикской и узбекской литературы.

Бек (бей) — феодальный титул в странах Ближнего и Среднего Востока; составная часть мужских имен, придает оттенок уважения.

Бекасам — специальный легкий шелк для халатов.

Белкй — *здесь*: распространенное в Сибири местное название некоторых горных хребтов, в течение всего года покрытых снегами; самые пятна снега, лежащие на горах.

Бремсберг (рудничный) — наклонная галерея, служащая для спуска породы с вышележащего горизонта, оборудованная тормозным устройством.

Визирь — правительственный сановник в странах Ближнего Востока.

Гультадж — узбекская игра в карты.

Гюрза — крупная ядовитая змея из рода гадюк.

Деррик — грузоподъемный кран с поворотной стрелой.

Дехканин — крестьянин.

Джида — кустарник или деревце со сладкими мучнистым плодами; сами плоды.

Див (дэв) — демоническое существо, исполин с рогами, персонаж народных сказок и мифов.

Дувал — глинобитный забор.

Дутар — народный щипковый инструмент с двумя струнами.

Ичиги — мягкие сапожки без каблуков, на которые одевались башмаки или калоши.

Ишан — духовный сан у мусульман.

Коран — «священная книга» мусульман, сборник религиозно-догматических, мифологических и правовых материалов,

Курбаши — предводитель басмачей.

Мазар — кладбище на Востоке; могила, гробница.

Медрес (медресе) — школа при мечети; духовное учебное заведение.

Мекка — город на западе Саудовской Аравии. Родина Магомета, основателя религии мусульман, главное место паломничества мусульман.

Муэдзин — служка в мечети, призывающий к молитве с минарета.

Опáлубка — деревянная форма будущего сооружения, наполняемая бетоном.

Проран (прорана) — узкий проток в косе, отмели, в дельте реки или спрямленный участок реки, образовавшийся в результате прорыва излучины в половодье.

Пшлак — молодой сыр из кислого молока с резким запахом.

Рамазан — девятый месяц магометанского лунного года; мусульманский пост.

Сайль — народное гулянье.

Сула — глиняное возвышение в саду или во дворе, место чаепития и отдыха.

Суюнчи — подарок за добрую весть.

Тандыр — земляная печь для выпечки чуреков, лепешек.

Той — торжественный пир в честь какого-нибудь события.

Хауз — небольшой искусственный водоем.

Хирман — ток, гумно.

Хоп — хорошо.

Чапан — халат, который носили бедняки.

Чекмень — крестьянский кафтан; верхняя мужская одежда.

Шурпа — суп с острой приправой.

Эмир — титул правителя области, князя в мусульманских странах Востока.

Ядгар — память.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Абдулла Каххар. ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА. Повесть	3
Аскад Мухтар. РОЖДЕНИЕ. Роман	207
Абдулла Каххар из Ферганской долины. <i>Послесловие</i> В. Смирновой	483
Поиск и рождение героя. <i>Послесловие</i> М. Прогасовой и М. Султановой	501
Краткий пояснительный словарь. Составитель В. Харькова	509

Абдулла КАХХАР
ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА
Аскад МУХТАР
РОЖДЕНИЕ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1967, 512 стр. с илл.
Редактор приложений **Л. Шиловцева**
Редактор **В. Харькова**
Художеств. редактор **В. Селиванов**
Технический редактор **Н. Карнаушкина**
Корректор **Л. Сухоставская**

●
Подписано в печать 1/IV 1968 года. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бум. печ. № 1. Бум. л. 8+0,5 бум. л. накидок. Печ. л. 16+1,00
печ. л. накидок. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 27,66.
Заказ № 988. Тираж 100 000 экз. Цена 1 руб 21 коп.

●
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся
СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц в полиграфкомбинате им. Я. Коласа
Государственного комитета Совета Министров БССР по печати.
Минск, Красная, 23.